

Возрождение в Италии, Том 2 (из 7).
Возрождение образования

Джон Аддингтон Саймондс

JOHN ADDINGTON SYMONDS

*The Revival
of Learning*

Электронная книга проекта "Гутенберг" о Возрождении в Италии, том 2 (из 7)

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Возрождение в Италии, Том 2 (из 7)

Автор: Джон Аддингтон Саймондс

Дата выхода: 26 января 2013 г. [Электронная книга № 41924]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

В титрах: Продюсерами выступили Тед Гарвин, Линда Кантони и команда онлайн-редакторов, распространяющих корректуру по адресу <http://www.pgdp.net>

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ", ТОМ 2 (ИЗ 7) ***

Примечание переписчика: Эта электронная книга была подготовлена на основе перепечатки Г.П. Патнэмом и сыновьями издания 1900 года "*Возрождение обучения*", первоначально опубликованного издательством Smith, Elder, & Co., Лондон, в качестве второго тома серии "*Возрождение в Италии*" Джона Аддингтона Саймондса. Другими томами серии являются "*Эпоха деспотов*" (том I), "*Изящные искусства*" (том III), *Итальянская литература, часть I* (том IV), *Итальянская литература, часть II* (том V) и "*Католическая реакция, части I и II*" (тома VI и VII). Ссылки в этой электронной книге на эти и другие работы по проекту "Гутенберг" не гарантированно будут работать вечно.

Очевидные ошибки принтера исправлены без примечания. Другие ошибки отмечены подчеркиванием красной точкой и всплывающим примечанием переписчика. [Список](#) этих заметок можно найти в конце этой электронной книги. Более старые варианты написания итальянских имен (например, "Лионардо" вместо "Леонардо") были сохранены в том виде, в каком они представлены в оригинале.

Эта электронная книга содержит отрывки на древнегреческом языке, которые могут отображаться некорректно во всех браузерах, в зависимости от установленных пользователем шрифтов. Наведите указатель мыши на греческий текст, чтобы увидеть всплывающую транслитерацию, например, βίβλος.

Содержание

ДЖОН АДДИНГТОН САЙМОНДС

Возрождение обучения

At tibi fortassis, si, quod mens sperat et optat,
Es post me victura diu, meliora supersunt
Secula; non omnes veniet lethaeus in annos
Iste sopor; poterunt, discussis forte tenebris,
Ad purum priscumque jubar remeare nepotes.
Tunc Heliconâ novâ revirentem stirpe videbis,
Tunc lauros frondere sacras; tunc alta resurgent
Ingenia atque animi dociles, quibus ardor honesti
Pieridum studii veterem geminabit amorem.

Petrarchæ *Africa*, lib. ix

ПРЕДИСЛОВИЕ [1]

Этот том о "Возрождении образования" следует за томом о "[Эпохе деспотов](#)", опубликованным в 1875 году, и предшествует тому, о "[Изящных искусствах](#)", который теперь также предлагается публике. Говоря о "Возрождении образования" и "Изящных искусствах", я старался помнить, что мне нужно было не столько заново написать историю этих предметов, сколько рассмотреть их связь с "Возрождением в Италии". Другими словами, я рассматривал каждый раздел моей темы как подчиненный общей культуре большого исторического периода. Работа над томом "[Итальянская литература](#)", который все еще находится в стадии разработки, призвана завершить эту работу.

Обращаясь к теме итальянского Возрождения, я выбрал такие моменты и подчеркнул такие детали, которые, по моему мнению, были важны для биографии нации в самую блестящую эпоху ее интеллектуальной деятельности. Историк культуры жертвует многим из того, что историк политики сочтет существенным, и привлекает внимание к вопросам, которые рядовой читатель иногда может счесть излишними. Он должен смириться с упреками в том, что сделал одновременно слишком мало и слишком много. Он должен довольствоваться тем, что в одно время идет по хорошо наезженной местности, а в другое - занимается сухими или запутанными расспросами. Он не должен бояться, по-видимому, умалять славу компилятора; и, если только его способности не высочайши, он не может надеяться полностью избежать повторений, утомительных как для читателя, так и для писателя. Его главная цель - нарисовать портрет национального гения, идентичного во всех проявлениях; и в той мере, в какой он твердо придерживался этой точки зрения, он может надеяться на успех.

Что касается истории возрождения образования, то я постоянно обращался к "Истории итальянской литературы" Тирабоски. Эта работа до сих пор является основой всех

исследований, касающихся этого предмета. Кроме того, я в особом долгу перед "Жизнью Уомини Иллюстри" Веспасиано, "Вирджилио нель Медіо Эво" Компаретти, "Жизнью филельфо" Розмини, "Жизнью Витторино да Фельтре" и "Жизнью ди Гуарино да Верона" Шепарда, "Жизнью Поджо Браччиолини" Деннистоуна, "Герцогами Урбино" Шульце, "Гемистос Плетон", "Альде Мануче" Дидо, "Жизнью Гуарино да Верона" Дж. Фон Роймона "Лоренцо Медичи", Буркхардту "Культура Возрождения в Италии", Фойгту "Видербелебунг классических альтернатив" и Грегоровиусу "История города Рима". Фойгту и Буркхардту, волей-неволей пройдя тот же путь, что и они, я чувствую себя в особом долгу. В то же время, какпокажут примечания к этой книге, я взял за правило высказывать собственное мнение об изучении оригинальных источников. Подробно перечислять все издания работ гуманистов и ученых, с которыми я консультировался, было бы излишним.

Для меня было большим трудом записать даже простые имена тех достойных итальянцев, которые вернули нам в четырнадцатом и пятнадцатом веках "вечные утешения" греческой и латинской классики. Мысль о том, что я прослеживаю историю достижения, приносящего одни из самых весомых результатов для современной цивилизации, поддерживала меня в выполнении задачи, которая иногда была утомительной. Коллективное величие Возрождения примирило мой разум со многими тривиальными деталями. Прозаические подробности малоизвестных биографий и давно забытых литературных трудов были прославлены тем, что кажется мне поэзией и романтикой всей темы. Не в моей компетенции и не в моей власти приносить моим читателям сколько-нибудь адекватные извинения за те недостатки, которые могли возникнуть из-за моего собственного недостатка мастерства в изложении или трудности преобразования живым светом и теплом предмета, столь далекого от нынешних интересов. Я должен оставить этот том в их руках, надеясь, что, по крайней мере, некоторые из них будут воодушевлены тем же чувством благодарности к тем бывшим работникам в области образования, которые поддерживали меня.

Клифтон: март 1877 г..

Содержание

ГЛАВА I

СТРАНИЦА

ЛЮДИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Формирование сознательной личности в Италии—Интеллектуальная аристократия—Самообразование как цель—Недостаток национальной архитектуры—Недостаток национальной драматургии—Возвышение скульптуры и живописи—Особая склонность к литературе—Ученость—Многогранные гениальные люди—Их отношение к эпохе—

1

Конфликт между средневековой традицией и гуманизмом—Петрарка—Смысл начатого им Возрождения—Космополитическая философия—Терпимость—Интеллектуальная империя—Светскость—Смещение импульсов и вдохновений—Коперник и Колумб—Христианство и классика—Неспособность итальянцев к религиозной реформации—Свобода мысли принимает форму вседозволенности—Попытки найти гармонию между христианством и античной философией—Флорентийская академия—Физические качества итальянцев—Портреты двух периодов—Физические упражнения—Стремление к учености—Древние воспоминания о Риме—Кульτ античности—Желание славы—Известность в литературе—Кульτ интеллекта—Кульτ характера—Озабоченность личными подробностями—Биография—Идеальные наброски—Посмертная слава—Энтузиазм к эрудиции—Пьеро де Пацци—Флоренция и Афины—Язычество—Реальная ценность итальянского гуманизма—Пико о достоинстве человека

ГЛАВА II

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ГУМАНИЗМА

Важность возрождения образования—Средневековый романс—Легенда о Фаусте — Ее значение для эпохи Возрождения—Преданность Италии науке—Итальянская предрасположенность к этому Труду—Ученость в темные века—Двойственное отношение к Церкви—Благочестие к Вергилию—Скудное знакомство с латинской классикой—Отсутствие изучения греческого—Духовные условия средневековья, неблагоприятные для чистой литературы—Италия не исключение среди остальной Европы—Данте и Петрарка—Определение гуманизма—Концепция Петрарки о нем—Его эстетический темперамент—Его кульτ для Цицерона Усердие в собирании рукописей, Понимание важности изучения греческого языка —Борьба с педантизмом и суевериями—

Идеал поэзии и риторики—Критика юристов и схоластов—С. Августин—Петрарки
тщеславия—жажда славы—раздор между его жизнью и своей профессией—его литературный темперамент—фантазер патриотизм—его влияние—его преемники—Боккаччо и греческого языка—перевод Гомера—философия литературы—чувственности
Боккаччо вдохновение—Джованни да Равенна—странствующий профессор—его ученики, в Латинской учености—Луиджи Марсильи—в монастыре Санто-Спирито—гуманизм в политике—Coluccio-de-апартаменты salutati—Gasparino da Barzizza—улучшен стиль написания писем—
Возрождение греческого языка—Как Manuel Chrysoloras—его ученики—Лионардо Бруни—значение греческого Ренессанса

Глава III

первый период гуманизма

состояние университеты, в Италии—Болонья— 83
школы создана с он—Неаполь под Фридриха II.—Под домом Анжу—Феррара—Пьяченца—Перуджа—Рим—Пиза—Флоренция—императорских и папских грамотах—иностранные студенты—преподаватели—дисциплин, которые преподаются в вузах—место присваивается гуманизм—платные преподаватели красноречия—и Francesco Filelfo—гуманистов менее мощные в университетах—метод гуманистического учения книжного рынка перед печатью—то средневековой библиотеки—стоимость рукописи—'Stationarii' и 'Peciarii'—небрежность переписчиков—Открытие классических кодексов—Боккаччо под Монте-Кассино—Поджио в Констанс—монастырь с. Галлен—Бруни письмо Поджо—рукописей обнаружен Поджо—Николай Тревес—коллекция греческих рукописей—Aurispa, Filelfo, и Гуарино—развалины Рим—их влияние на гуманизм—Данте и Виллани—Риенс,—его идеалистический патриотизм—тщеславие—политической некомпетентности—Петрарки

отношения с Риенс—повреждение памятников
в Риме—Погжио по Римской топографии—
сентиментальные чувства к развалинам
древности—Ciriaco Анкона

Глава IV

второй период гуманизма

115
сложность предмета—деление на четыре
периода—место Флоренции—социальных
условий, благоприятных для культуры—Палла
дельи Строцци—его поддержку греческого
языка—План публичная библиотека—его
изгнание Козимо Медичи—его
покровительствообучения—политического
характера—любовь Дом—щедрость для
студентов—основа библиотеки—Веспазиану и
Томас Сарцана—Никколо Де' Niccoli—его
коллекция рукописей—описание его способ
жизни—его известность как Латинистом—
Лионардо Бруни—его биография—перевод с
греческого—латыни трактаты и притчи и
истории—его захоронения в городе Санта-
Кроче—Карло Аретино—известность в
качестве лектора—Флорентийской
канцелярии—Маттео Пальмиери—Giannozzo
Манетти его изучению иврита—свою
общественную карьеру—его красноречие—
Манетти разрушен Медичи—его жизнь в
изгнании в Неаполе—оценить его таланты—
Амброджо Traversari—изучение греческих
отцов—общие образом того,—гуманизм и
монашество—Совет Флоренции—
Флорентийская отзыв о греках—Gemistos
Plethon—его жизнь, его философия—его
влияние во Флоренции—Козимо Медичи и
Флорентийской Академии—изучение
Платона—Plethon сочинения—Платоники и
Aristotelians в Италии и Греции—Виссарион,—
его покровительством греческих беженцев в
Риме—гуманизм в небольших республик—в
Венеции

глава V

второй период гуманизма

Переход из Флоренции в Рим—превратности 155

обучения при папском дворе—
дипломатический гуманисты—Protonotaries—
Апостольской книжники—церковный
софисты—безнравственность и
искусственность стипендию в Риме—Поджио,
Бруни, секретарей—Евгений IV.—Его
покровительство ученым—Флавио Бьондо—
солидную эрудицию—Николай Васильевич—
его собственная история—природа его
таланта—его неожиданное возвышение
Римской увидеть,—ликование гуманисты—его
защита ученых мужей в Риме—мастерская
эрудиция—Фабрика переводов—высокую
оплату литературного труда—Поджо-
Фьорентино—его ранней жизни—его
поездках—Его Высокопреосвященство как
литератора—его отношение к
священнослужителей—его выпады—
гуманистической гладиаторы—Погжио и
Filelfo—Погжио и Гуарино—Поджио и Валла—
Погжио и Перотти—Погжио и Георгиос
Trapezuntios—литературные скандалы—
Погжио коллекций древностей—канцлера
Флоренции—кардинал Виссарион,—его
библиотека—диетология—Апология Платона—
греки в Италии, гуманизм в Неаполе—хочу,
чтобы Культуры в Южной Италии обучения
экзотический—Альфонсо великолепный—
ученых в лагерь литературные диалоги в
Неаполь—Антонио Beccadelli—в 'обитают'—
Лоренцо Валла—эпикурец—критик—
оппонент Церкви—Бартоломео Фацио—
Giannantonio Porcello—суд Милана Филиппо
Мария Висконти—Dicembrio описание его
хозяин—Франческо Filelfo—его ранней
жизни—визит в Константинополь—место при
дворе,—брак—возвращение в Италию—
Венеция—Болонья—его притязания на роль
профессора—Флоренция—распри среди
флорентийцев—погружение в политике—
Сиена—поселяется в Милане—его слава—
частной жизнью и общественными
интересами, реверансы в Рим—Filelfo под
Сфорца тирания—литературный Разбой—
смерть во Флоренции—Filelfo как
представитель класса—Витторино да

Фельтре—начале обучения—структура
обучения подростков, как ученые—
проживание в Падуе—проживание в Мантуе—
его школа князя—щедрость к бедным
студентам—подробности его жизни, и
судебную систему—Феррара—Гуарино да
Верона—Дом репетитор Лионелло д'Эсте—
Джованни Aurispa—небольших судов—
"Карпи"—Падуя—Римини и тиранов
Малатеста—Чезена—Пезаро—Урбино и
герцога Фридриха—Веспасиано да Bisticci

Глава VI

третьем периоде гуманизма

Улучшение вкуса и критики—Кружки и
академии—Возрождение итальянской
литературы—Книгопечатание—Флоренция,
столица образования—Лоренцо Медичи и его
окружение—Государственная политика
Лоренцо—Литературное покровительство—
Разнообразие его дарований—Собрания
Платонического общества—Марсилио
Фичино—Его обучение платоноведению—
Переводы Платона и неоплатоников—
Гармония между Платоном и христианством—
Джованни Пико—Его первое появление во
Флоренции—Его Тезисы, предложенные в
Риме—Порицание Церкви—Его изучение
каббалы—Широкая концепция обучения—
Оккультные науки—Кристофоро Ландино—
Профессор изящной литературы—
Виргилианские исследования—
Камальдозеские диспуты—Лео Баттиста
Альберти—Его разносторонность—
Бартоломмео Скала—Неясное
происхождение—Канцлер Флоренции—
Анджело Полициано—Ранняя жизнь—Перевод
Гомера—"Homericus Juvenis"—Истинный гений
Полициано—Владение латынью и греческим—
Возрождение античности в его лице—Его
профессорская работа—"Сборник"—
Отношение к Медичи—Римская наука того
периода—Пий II.—Помпоний Лет—Его
академия и образ жизни—Преследования при
Павле II.—Гуманизм в Неаполе—Понтан—Его

Академия—Его труды—Академии,
учрежденные во всех городах Италии—
Введение книгопечатания—Свейнхайм и
Паннарц—Ранняя венецианская пресса—
Флоренция—Ченнини—Гомер Алопы—
Изменения в науке, вызванные
книгопечатанием—Жизнь Альдо Мануцио—
Княжеский дом Пио в Карпи—Греческие книги
до Альдо—Альдинская пресса в Венеции—
История ее деятельности—Альдо и Эразмус—
Альдо и греческие беженцы—Смерть Альдо—
Его семья и преемники—Неакадемия—
Спасение греческой литературы

ГЛАВА VII

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД ГУМАНИЗМА

Падение гуманистов—Ученость пронизывает общество—Новый идеал жизни и манер—
Латинизация имен—Классические
перифразы—Латинские эпосы на
христианские темы—Язычество—Двор Льва
X.—Почести Церкви ученым—Духовные лица
мира—Меценаты в Риме—Папский и
Императорский Рим—Моральное
разложение—Социальная утонченность—
Римская академия—Пьетро Бембо—Его жизнь
в Ферраре—В Урбино—Приезжает в Рим—
Работает у Льва—Уходит на пенсию в Падую—
Его диктатура писем—Якопо Садолето—
Более серьезный гений, чем Бембо—Паулюс
Джовиус—Латинский стилист—Его истории—
Бальдассаре Кастильоне—Жизнь в Урбино и
Риме—Придворный ученый—Его
дипломатические миссии—Альберто Пио—
Джан Франческо Пико делла Мирандола—
Превратности его жизни—Джером Алеандр—
Востоковедение—Библиотека Ватикана—Его
миссия в Германию—Ингирами, Бериальдо и
Аччиуоли—Римский университет—Джон
Ласкарис—Изучение древностей—
Происхождение "Corpus Inscriptionum"—
Топографические исследования—
Формирование Ватиканской скульптурной
галереи—Открытие Лаокоона—Любовь к
статуям в Италии эпохи Возрождения—

Венецианские посланники в Бельведере—
План Рафаэля по раскопкам Древнего Рима—
Его письмо Льву—Влияние антикварных
исследований на искусство—
Интеллектуальное превосходство Рима в этот
период—Падение—Адриан VI.—Разграбление
Рима—Описание страданий ученых Валериано

ГЛАВА VIII

ЛАТИНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Особые причины практики латинского
стихосложения в Италии—Отсутствие
итальянского языка—Множество поэтов—
Беккаделли—"Филодокс" Альберти—
Полициано—"Сильве"—"Нутриция",
"Рустикус", "Манто", "Амбра"—Второстепенные
стихотворения—Понтано—Санназаро—
Элегии и эпиграммы—Христианский эпос—
"Христиада" Вайды—"Поэтика" Вайды—
Фракасторо—"Сифилис"—
.....-Барокко Лесть—
Бембо—Безнравственные элегии—
Подражания Овидию и Тибуллу—"Бенакус"—
Эпитафии—Наваджеро—Эпиграммы и
эклоги—Молса—Поэма о собственной
смерти—Кастильоне—"Алкон" и "Ликидас"—
Стихи общества—Апофеоз пап—Поэма об
Ариадне Ватиканской—Стихи Садолето о
Лаокооне—Фламинио—Его жизнь—Любовь к
Родине—Ученые друзья—Ученые-Поэты
Ломбардии—Исчезновение образования во
Флоренции—Упадок итальянской эрудиции

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий обзор—Роль, которую сыграли в
Возрождении главные города—Озабоченность
ученостью, несмотря на войны и завоевания—
Место гуманистов в обществе—
Распространители похвалы и порицания—
Лесть и клевета—Сравнение с софистами—
Форма, предпочитаемая Литературе—Идеал
культуры как самоцели—Подозрение к
ревностным церковникам—Вторжение
гуманизма в Церковь—Безбожие гуманистов—

История Джиральди "Прогимназма"—
Ариосто—Богемная жизнь—Личная
безнравственность—Отсутствие твердых
принципов—Профессиональное тщеславие—
Литературная гордость—Оценка
гуманистической литературы—Изучение
стиля—Влияние Цицерона—"Эlegantные"
Валлы—Стилистические ребячества—
Ценность, придаваемая риторике—
"Ораторе"—Моральные эссе—
Эпистолография—Истории—Критические и
антикварные исследования—Высокая оценка
античности—Либеральный дух—Поджо и
Иероним Пражский—Гуманистический тип
образования—Его распространение по
Европе—Перспективы на будущее—Упадок
образования в Италии

РЕНЕССАНС В ИТАЛИИ

ГЛАВА I ЛЮДИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Формирование сознательной личности в Италии—Аристократия интеллекта—Самокультура как цель—Недостаток национальной архитектуры—Недостаток национальной драматургии—
Возвышение скульптуры и живописи—Особая способность к литературе—Ученость—
Разносторонне одаренные люди—Их отношение к эпохе—Конфликт между средневековой традицией и гуманизмом—Петрарка—Смысл начатого им Возрождения—Космополитическая философия—Терпимость—Интеллектуальная империя—Светскость—Путаница импульсов и вдохновений—Коперник и Колумб—Христианство и классика—Итальянская неспособность к религиозной реформации—Свобода мысли принимает форму распущенности—Попытка найти гармонию между христианством и античной философией—Флорентийская академия—
Физические качества итальянцев—Портреты двух периодов—Физические упражнения—
Стремление расы к учености—Древние воспоминания о Риме—Кульτ античности—Желание славы—Известность в литературе—Кульτ интеллекта—Кульτ характера—Озабоченность личными подробностями—Биография—Идеальные зарисовки—Посмертная слава—
Стремление к эрудиции—Пьеро де Пацци—Флоренция и Афины—Язычество—Реальная ценность итальянского гуманизма—Пико на достоинство человека.

Политические, социальные, моральные и религиозные условия, описанные в первом томе этого труда, сформировали у итальянцев тип характера, которого больше нигде в Европе не встретишь. Этот персонаж, в высшей степени самосознательный и умственно зрелый, был

необходим интеллектуальному движению эпохи Возрождения. Италия доказала свою неспособность сформировать единую нацию или обеспечить соблюдение принципа федеративного единства, сохранить мощную военную систему или выстоять против французов и испанцев. За эти недостатки были в равной степени ответственны ее коммуны и ее деспоты, папство и Неаполитанское королевство, теории средневековых доктринеров и энтузиазм гуманистов; хотя большая доля принадлежит Риму, решительно враждебному монархическому принципу и ревностно поддерживавшему фракцию гвельфов, чтобы поддерживать раздор в нации. В то же время сами причины политической разобщенности благоприятствовали интеллектуальному росту итальянцев. Каждое государство, будь то республиканское или деспотическое, в последние годы средневековья сформировало смешанное общество знати, торговцев и ремесленников, окруженное городскими стенами и сильно отличающееся своеобразием своего родного края. Каждый город был центром деятельности и промышленности, страстно конкурировавшим со своими соседями, гордившимся своими местными особенностями, стремившимися выделить горожан, достигших высот благодаря гениальности или практическим способностям. Партийные распри в республиках, хотя и нарушали их внутренний покой, обостряли интеллект и укрепляли личность бюргеров. Изгнание и проскрипция, обычная кульминация гражданской войны, сделали их еще более самоопределяющимися и полагающимися на собственные силы, заставив каждого полагаться на свои собственные ресурсы. Деспоты, опять же, из-за незаконного удержания своей власти были вынуждены максимально развивать индивидуальный характер, поскольку все их состояние зависело от их человеческих качеств. Заговоры и контрзаговоры подданных, жаждущих смены правительства, и соседей, стремящихся вторгнуться на их территорию, поддерживали атмосферу при их Дворах в постоянном напряжении. Одному типу способностей способствовали дипломатические отношения между несколькими городами, что давало работу множеству секретарей и послов; другому способствовала система ведения войны кондотьерами, предлагавшая блестящую карьеру амбициозным авантюристам. Во всех областях, открытых для талантливого человека, рождение имело меньшее значение, чем природные дарования, поскольку социальных барьеров и ступеней феодализма либо никогда не существовало в Италии, либо были поколеблены и сведены на нет в ходе борьбы двенадцатого и тринадцатого веков. Ряды тиранов пополнились сыновьями пап и капитанами, вышедшими из пролетариата. Правящий класс в республиках состоял из людей, заработавших себе на торговле; и здесь, по крайней мере, имя Пополо было суверенным. Из этого следовало, что людей повсеместно оценивали по тому, какими они себя показали; и таким образом, аристократия гениальности и характера выросла в Италии в тот период, когда остальная Европа представляла собой лишь редкие экземпляры личностей, выделившихся из общего стада. Как и в Древней Греции, нация имела меньшее значение, чем город, и в пределах города личные способности имели подавляющее значение. Итальянская история Возрождения возобновляется в биографии людей, более великих, чем их раса, духовных деспотов, которые впитали в себя ее силы.

Интеллектуальная и моральная среда, созданная множеством эгоцентричных, культурных личностей, была необходима для эволюции того духа интеллекта, тонкого, пронизательного и гибкого, который составлял движущую силу Возрождения. Работа, совершенная Италией для мира в ту эпоху, была не столько работой нации, сколько работой людей власти, не столько коллективным и спонтанным триумфом могущественного народа, сколько совокупностью индивидуальных усилий, воодушевленных единой душой свободной деятельности, общим

стремлением к славе. Это заметно с самого начала. У итальянцев не было национального эпоса: их "Божественная комедия" - поэма отдельного человека. Петрарка возводит самокультуру в ранг идеала и предлагает изменить мир с точки зрения своего исследования, пронизывая светом своего духа всю пустоту вокруг и превращая мысль в силу.

Успех и неудача итальянцев в равной степени связаны с их политическим устройством и с этим сильным развитием их личности. Мы уже видели, как им не хватало национального единства и военного величия. Даже в сфере искусства и литературы те же условия были сильны. Некоторые из главных достижений человечества, по-видимому, требуют сотрудничества целых народов, сочувственно работающих ради общей цели. Главными среди них являются архитектура и драматургия. Самые великолепные триумфы современной архитектуры во французской и английской готике были достигнуты полусознанным стремлением национального гения на протяжении нескольких столетий. Имена строителей соборов неизвестны: сами соборы несут на себе отпечаток не столько индивидуальной мысли, сколько народного инстинкта; их слава принадлежит расе, которая их создала, духу времени, которое их породило. Таким образом, мы ожидаем, что итальянцы, разделенные на маленькие соперничающие государства и отличающиеся ярко выраженным субъективизмом, продемонстрируют свою силу не в архитектуре. Такие люди, как Никкола Пизано, Арнольфо дель Камбио, Альберти, Брунеллески и Браманте, были одарены индивидуальностью, слишком важной для создания более чем грандиозных экспериментов в архитектуре. Они не подчинялись никаким традициям, но следовали диктату своего собственного изобретательского порыва, выбирая те типы, которые им подходили, и свободно обращаясь с формами, которые находили вокруг себя. Вместо того чтобы стремиться к воплощению стиля, не созданного, но прочувствованного и постигнутого их гением, они стремились создавать новые и характерные шедевры — знаки и символы их собственного своеобразного склада ума. Италия полна великолепных, но несовершенных памятников личного мастерства, прекрасных произведений, не отображающих непрерывной генеалогии неизвестных мастеров, но свидетельствующих о мастерстве знаменитых художников. Для практичного архитектора ее дворцы и церкви могут по этой причине быть менее поучительными и менее привлекательными, чем общественные здания Франции. Тем не менее, для исследователя национальных и личностных особенностей, который любит проследивать физиономию народа в его зданиях, открывать ум художника в его работах, их интерес не имеет себе равных. В каждом городе определенные *genius loci* встречаются с нами лицом к лицу: из каждой ратуши или собора душа великого человека высовывается, чтобы поприветствовать нашу собственную. Эти преимущества компенсируют частую экстравагантность, дерзость, приправленную невежеством, и неловкость при принятии и модификации несочетаемых стилей. Более того, всегда следует помнить, что в Италии архитектор не мог забыть окружающие его памятники римского и византийского искусства. Классические модели должны были соответствовать требованиям современной жизни и христианским ритуалам; и когда немцы привезли свою готику из-за Альп, она пострадала из-за адаптации к южному климату. Результатом стало то, что в Италии не сложилось великих национальных традиций в архитектуре, и что свободный простор был предоставлен прихотям и причудам отдельных дизайнеров. Когда, наконец, в конце шестнадцатого века итальянцы достигли единообразия вкуса, это произошло за счет того, что они пожертвовали своей оригинальностью. Педантизм классического возрождения нанес больше вреда архитектуре, чем литературе, и псевдоримский пуризм вытеснил добродушные капризы предыдущих веков.

Если можно сказать, что архитектура в Италии пострадала от преобладания местных особенностей и личного гения, превалировавшего над традициями и препятствовавшего эволюции национального стиля, то с другими видами искусства дело обстояло совершенно иначе. Живопись и скульптура требуют от художника высочайшей независимости и подвержены гораздо более многостороннему обращению, чем архитектура. Они не могут быть обычным продуктом деятельности одного народа, но требуют сознательного применения особых способностей к задаче воплощения мыслей и чувств в форму. Как художники итальянцы занимают первое место среди цивилизованных наций современного и древнего мира; и их неполноценность как скульпторов по сравнению с греками объясняется главным образом их мастерством в живописи, по сути романтическом искусстве. Чувства нового века жаждали более эмоционального и взволнованного выражения, чем подобает скульптуре. Еще во времена Гиберти и Донателло стало ясно, что итальянские скульпторы следовали методам родственного искусства в своих проектах, в то время как только Микеланджело обладал достаточной силой, чтобы превратить мрамор в носитель мыслей, которые по праву относятся к живописи или музыке. Обратное, вероятно, устраивало греков. То, что осталось от их работ на фресках и мозаике, по-видимому, показывает, что они довольствовались группами и фигурами, выполненными по образцу барельефов и статуй; точно так же флорентийцы вырезали из камня изображения архитектуры и пейзажа. Здесь нет необходимости говорить больше на эту тему, поскольку достижения итальянцев в живописи и скульптуре составят основную часть моей истории.

Что касается литературы, то разделение Италии на множество маленьких государств и энергичное самоутверждение личности были явно благоприятными. Хотя отсутствие широкой публики, какую только можно найти в столице свободной, объединенной нации, может быть причислено к числу многих причин, помешавших итальянцам развивать драматургию, все же соперничество города с городом и бюргера с бюргером, придворная жизнь с ее разнообразными возможностями для проявления таланта и муниципальная жизнь с ее неугомонным соперничеством в торговле и общественных делах поощряли активность студентов, историков, статистиков, критиков и поэтов. Культура в самом высоком и широком смысле этого слова была тем, что Италия эпохи Возрождения приобрела и дала Европе; и эта культура подразумевает полностью сформировавшуюся личность в людях, которые к ней стремятся. Именно высокоразвитая индивидуальность итальянцев позволила им впервые вырваться из средневекового рабства и стать апостолами гуманизма в современном мире. Можно сожалеть о том, что их силы были потрачены на распространение знаний и совершенствование стиля, вместо того чтобы быть сосредоточенными на создании национальных шедевров. Мы тщетно ищем равного Данте среди поэтов эпохи Возрождения. "Орландо Фуриозо" - всего лишь жалкое подобие "Божественной комедии"; и все те научные произведения, которые казались нашим предкам *совершенством*, ныне отправлены на свалку эрудиции, которая была вытеснена, или литературной изобретательности, которая утратила свой смысл. Теперь, когда достояние культуры, с таким трудом завоеванное студентами пятнадцатого и шестнадцатого веков, стало общим достоянием Европы, не всегда легко объяснить духовное величие итальянцев того времени. И все же мы не смогли бы признать их заслуг, если бы не понимали, что именно благодаря этому использованию своего гения в задаче Возрождения они принесли человечеству самые длительные блага. Невозможно даже представить, каким был бы современный мир, если бы итальянская нация не посвятила свою

энергию восстановлению либерального образования. История этого благочестия составит основную тему моей настоящей книги.

Всесторонние и многогранные натуры, часто встречавшиеся в Италии эпохи Возрождения, были специально приспособлены для распространения нового духа. Появление на сцене эпохи Возрождения таких людей, как Лео Баттиста Альберти, Лионардо да Винчи, Лоренцо де Медичи, Брунеллески и Буонарроти, Полициано и Пико делла Мирандола, является не менее захватывающим из ее явлений. Мы можем найти параллели, только вернувшись к эпохе Перикла. Но проблема, стоявшая перед флорентийцами, отличалась от той, которая стояла перед афинянами. В Греции, стране зарождения цивилизации, требовались гениальные люди, каждый из которых был совершенен в своих способностях. Необходимо было создать стандарты для будущего руководства миром во всех сферах искусства и мысли. Поэтому нас меньше поражает многогранность, чем концентрация работ Фидия, Пиндара, Софокла, Сократа. С другой стороны, перед Италией стояла задача реабсорбции ушедшей культуры. Ее призванием было возродить античность, заново собрать произведения классического прошлого и таким образом смешать их со средневековым духом, чтобы создать то, что является специфически современным. Было необходимо, чтобы люди, которыми выполнялась эта работа, отличались не менее широтой ума, разнообразием приобретений, быстротой сочувствия и чувствительной восприимчивостью, чем полным развитием какой-либо одной способности. Великие персонажи греческой эпохи были тем, что Гегель называет пластичным, насквозь пронизанным особым качеством. Те, что были в итальянскую эпоху, были всеобъемлющими и энциклопедическими; интенсивность их воздействия в какой-либо одной сфере менее примечательна, чем их пригодность для всех. Они были созданы для того, чтобы синтезировать, интерпретировать, воспроизводить и формировать заново — подобно Клеону мистера Браунинга, с добавлением сознания молодой и мощной энергии внутри них. Следовательно, случается, что, за исключением сферы изящных искусств, мы склонны недооценивать героев Возрождения. Впечатление, которое они оставляют в нашем сознании в любой момент, незначительно по сравнению с той оценкой, которую мы составляем о них, рассматривая каждого человека в целом. Мы также не можем указать на монументальные и колоссальные произведения в доказательство их творческих способностей.

Биографии универсальных гениев, таких как Лео Баттиста Альберти или Лионардо да Винчи, столь разнообразных по своим способностям и столь творческих по своей интуиции, побуждают нас задаться вопросом, какова связь между духом эпохи и людьми, в которых он воплощен. Недаром мы вынуждены олицетворять эпоху Возрождения как нечто внешнее по отношению к ее величайшим персонажам. В этом столетии есть интеллектуальная сила за пределами них, наследие власти, уготованное им при рождении. Атмосфера, в которой они дышат, настолько насыщена ментальной жизнестойкостью, что малейшее проявление их особой энергии приводит их в соприкосновение с силами, более могущественными, чем те, которые присущи отдельным натурам. В более слабые периоды ретроспективы и критики мы можем только удивляться сочетанию столь разнообразных способностей и столь легко совершаемым чудесам. Эти периоды ясновидения и интеллектуального магнетизма, когда кажется, что гениальные личности движутся подобно вибрионам в поддерживающей жизнь жидкости, специально приспособленной к их потребностям, редки в мировой истории; и наша наука еще не пришла к анализу их причин. От этого они не становятся менее реальными. Объяснять их с помощью гипотезы *омировоззрения*, коллективном духе человечества, проходящем в своей эволюции через последовательные фазы и переходящем от стадии к стадии путем чередования

энергии и покоя, - значит просто восстанавливать, другими словами, тайну, которая находит свою конечную и действенную причину в Боге. [2]

Одаренные мощной индивидуальностью, которую я пытаюсь описать, люди эпохи Возрождения получили свое первое религиозное образование в Средние века, второе - в школах Греции и Рима. Именно многогранная борьба личного характера с освященными веками традициями, с одной стороны, и с новыми идеалами - с другой, придавала их целям столько непоследовательности и противоречий. Данте оставался в рамках средневековых мыслей и дал им полное поэтическое выражение. Ему, в более прямом смысле, чем какому-либо другому поэту, принадлежит двойная слава: он увековечил в стихах столетия, прошедшие с тех пор, как он открыл новую эпоху. "Новая жизнь" и "Божественная комедия" современны в той мере, в какой одна представляет собой первый полный анализ личных эмоций, а другая - эпос о душе, понимаемой как конкретная личность. Но форма и цвет, материал и структура, направление мысли и гав фантазии не современны. Петрарка открывает новую эру. Его не удовлетворяет совокупность средневековых верований и интеллектуальных концепций. Античность представляет собой более увлекательный идеал для его духа, и он чувствует в себе достаточно сильную субъективность, чтобы усвоить то, что подходит ему в настоящем и прошлом. Возрождение образования, начатое Петраркой, было не просто возрождением интереса к классической литературе. Это было освобождение разума в расе людей, нетерпимых к контролю, готовых критиковать общепринятые каноны поведения, восторженных в восхищении античной свободой, недавно пробудившихся к чувству прекрасного и превыше всего стремящихся обеспечить себе свободу действий в сферах за пределами области власти. Люди, такие энергичные и независимые, чувствовали радость исследования. Не было проблемы, с которой они боялись столкнуться, не было формулы, которую они не стремились бы переделать в соответствии со своими новыми убеждениями. Эта свобода суждений с необходимостью не привела к беззаконию; и ни в коем случае она не вызвала того восстания против католической ортодоксальности, которым была отмечена немецкая реформация. Тем не менее, она придала характерное качество мыслям и действиям. Люди были и осмеливались быть самими собой во благо или во зло, не слишком заботясь о том, что думают о них их соседи. В то же время они были терпимы. Культура Возрождения предполагала философское принятие разнообразия в моде, вере и поведении; и эта терпимость, без сомнения, была одной из причин, по которой итальянский скептицизм принял форму цинизма, а не религиозной революции. Контакт с исламом на юге и востоке, дипломатические отношения с турками, знакомство со смешанными расами Испании и торговля с народами севера расширили симпатии итальянцев и научили их относиться к человечеству как к одной большой семье. Либеральные умы эпохи Возрождения могли бы процитировать Марка Аврелия с небольшими изменениями: "Я не скажу "Дорогой город Святого Петра", но "дорогой город человека"!" И точно так же, как их моральные и религиозные чувства были притуплены, патриотизм для них перестал быть инстинктом. Вместо патриотизма итальянцы воспылали рвением к космополитической культуре.

По мере того, как Италия год за годом теряла надежду стать единой нацией, по мере того, как военные инстинкты умирали в ней, а политические инстинкты были подавлены деспотизмом, в точно таком же соотношении она все глубже осознавала свое интеллектуальное призвание. То, что было всеобъемлющим в духе средневековой Церкви, претерпело трансмутацию в гуманизм пятнадцатого века. Как будто осознавая безнадежность быть итальянцами в том же смысле, в каком уроженцы Испании были испанцами, а уроженцы Франции - французами, гиганты Возрождения делали все возможное, чтобы стереть свою национальность, чтобы они

могли более эффективно восстановить космополитический идеал человеческой семьи. С этой целью трудились как художники, так и ученые, хранители истинного величия Италии той эпохи; художники создавали идеал красоты, несущий послание и смысл для всей Европы, ученые восстанавливали для Европы бюргерство греческой и римской цивилизации. Несмотря на вторжения и потрясения, разрушившие Италию в период с 1494 по 1527 год, художники и гуманисты продолжали выполнять свою задачу, как будто судьба Италии их не касалась, как будто судьбы современного мира зависели от их деятельности. После того, как Венеция была опустошена армиями Камбрейской лиги, Альд Мануций преподнес мирный дар Платона врагам принятого им города; и когда лютеране ворвались в мастерскую Пармеджано в Риме, даже они были поражены спокойным величием Девы Марии на его мольберте. Подобные истории напоминают нам, что Италия эпохи Возрождения обрекает себя на рабство и деградацию в духе древней Эллады, повторяя истории, рассказанные об Архимеде в его кабинете, и о Павле Эмилии лицом к лицу с Зевсом Фидиасом.

Поскольку патриотизм уступил место космополитическому энтузиазму, а терпимость заняла место серьезности, подобным же образом конфликт средневековой традиции с возрожденным язычеством в умах этих уверенных в себе людей, приученных к снисходительности благодаря своей обширной торговле с миром и приученных к нечестию из-за вездесущего представления антихристианской Церкви, привел, как я уже намекал, скорее к безрассудству и мирским порокам, чем к реформированной религии. Довольные собой и своим окружением, они не испытывали ни малейшей неудовлетворенной тяги к бесконечному, ни одной из таинственных интуиций и аскетических восторгов, самоуничтожения и преображения, стигматов и блаженных видений средневековья. Изобилие жизни внутри них, казалось, оправдывало их инстинкты и импульсы, какими бы разнообразными и противоречивыми они ни были. Шумный поток окружающего мира заглушал голос совести, намек на религиозные угрызения совести. Только так мы можем объяснить себе поведение таких людей, как Сикст и Александр, безмятежно порочных в глубокой старости. Удовлетворение их эгоизма было настолько полным, что исключало самоосуждение по правилам и стандартам, которые они применяли в профессиональной деятельности; их личность была слишком требовательной, чтобы допускать колебания, когда дело касалось их инстинктов; в силу своего возраста они потеряли из виду все, кроме мирских целей и интересов. В качестве иллюстрации к этим замечаниям можно процитировать три афоризма, по отдельности приписываемых трем типичным итальянцам. "Вы следуете бесконечным целям; я следую конечному", - сказал Козимо Медичи. "Вы возносите свои лестницы на небеса; я - на землю, чтобы не стремиться так высоко и не падать так низко". "Если мы сами не благочестивы, - сказал Юлий II. - почему мы должны мешать другим людям быть такими?" "Давайте наслаждаться папством, - сказал Лев X., - теперь, когда Бог дал его нам".

Религиозное чувство, заглушенное мирской суетой и эгоистичной философией, дало о себе знать только под влиянием какого-то внешнего террора - чумы, опустошительной войны, неминуемой опасности для нации. В такие периоды целые города с головой бросались в яростное возрождение, в то время как люди с бурной или распутной жизнью видели видения и обрекали себя на покаяние. В этом отношении мемуары Челлини являются ценным отражением эпохи, в которую он жил. Ясно, что его экстаз благочестия в застенках С. Анджело был так же искренен, как и пламенные порывы, которым он подчинялся с таким самодовольством. Какими бы страстными и искушенными ни были люди типа Челлини, они не могли избавиться от ассоциаций, которые связывали их с прошлым. Энергия их яркой индивидуальности поочередно принимала форму и окраску аскетического благочестия и языческой

чувственности; и временами эти сильные контрасты эмоций казались граничащими с безумием. Неуправляемые натуры, не подчиняющиеся никаким определенным принципам и стремящиеся заново переделать мир мысли в соответствии со своими собственными желаниями, стали марионетками астрологических суеверий, игрушками безумной похоти. Многие, что кажется необъяснимым и противоречивым в эпоху Возрождения, может быть отнесено к этому несовершенному сочетанию церковной традиции и идеализированного язычества в натурах, достаточно сильных, чтобы быть оригинальными и своенравными, но еще не укрощенных опытом от полудикости к покорности. Опыт пришел к итальянцам в рабстве под пятой Испании.

Смешение влияний, классических и средневековых, христианских и языческих, в ту эпоху не является наименее экстраординарным из ее явлений. Даже новые мысли, озарявшие умы великих первооткрывателей, казались им отражениями древности; и пока они открывали новые миры, их сердца были обращены к Святой Земле Крестовых походов. Колумб и Коперник, два человека, которые больше, чем кто-либо другой, произвели революцию в менталитете человечества, апеллировали к своим современникам, опираясь на тексты Аристотеля и Филолая. Сознывая, что догадки греческих космографов пробудили в них самих то любопытство, благодаря которому они сделали движение земли достоверным и нашли путь через волны к новому континенту, эти могущественные умы забыли, насколько незначительным в действительности был их долг перед инертными спекулянтами классической эпохи. Истина заключалась в том, что в них пульсировала сила предприимчивости и всепобеждающих открытий, дух решительного и выносливого исследования, в котором отказывали древним.

Насколько этот новый и плодотворный настрой современного ума был обусловлен христианством, является проблемой для самых глубоких размышлений. Представление о Боге, который не напрасно создавал Свой мир, о Христе, который Своей кровью купил все семя Адама и который возложил проповедь веры на Своих последователей как обязанность, сильно подействовало на Колумба. Крестовые походы, опять же, приобщили народы к далеким целям и идеальным поискам; в то время как рыцарство было по сути антагонистично позитивным и эгоистичным целям. Дух человечества прошел долгий этап развития в Средние века. Согласно Аристотелю, сейчас невозможно представить Бога как спокойное размышление о мысли. Не было Августа, который устанавливал бы произвольные границы мировой империи в интересах нации-завоевателя или делал два слова *сферы* и *города* синонимичными. Когда Страбон рискнул высказать мнение, что в другом полушарии могут быть густонаселенные острова, он добавил с возвышенным безразличием римлянина: "Но эти предположения не имеют ничего общего с практической географией; и если такие острова существуют, они не могут содержать народы того же происхождения, что и мы". Такой язык был невозможен для человека, воспитанного христианской вере и проникнутого инстинктами романтизма. Поэтому, хотя изучение Страбона и Птолемея в Павии произвело на Колумба впечатление определенности нового маршрута через океан, мужеством, которое поддерживало его, он был обязан убежденности в том, что Бог ведет его к великой цели. "Когда я впервые взялся отправиться на открытие Индии, - говорит он в своем завещании, - я намеревался просить короля и королеву выделить Иерусалиму все деньги, которые можно было бы получить в этих королевствах". Религиозное стремление средневекового паломника усилило убежденность студента, который, рассуждая на основе древних текстов, разгадал величайшую тайну, о которой известно миру. В то же время в Колумбе было нечто большее, чем могли дать античность или средневековье. Современный дух отличается от обоих; и хотя в эпоху Возрождения творение

носило облик имитации, а новые силы использовали органы, которым было суждено пережить и уничтожить, все же мы должны признать, что львиная доля в таких достижениях, как достижение Колумба, принадлежит туземной личности. Именно разнообразие духовных элементов в сочетании и решениях, которые он иллюстрирует, делает психологию Возрождения одновременно такой увлекательной и такой сложной для анализа.

В то время как в Италии царила такая свобода мысли, можно задаться вопросом, почему Возрождение, чрезвычайно плодотворное в областях искусства и культуры, принесло лишь скудные плоды в областях религии и философии. Немецкая реформация была Возрождением христианства; и итальянцы в этом не участвовали, хотя следует помнить, что без их предыдущих трудов в области науки группа, возглавлявшая Реформацию, вряд ли смогла бы придать движению тот высокий интеллектуальный характер, который сделал его новой отправной точкой в истории разума. Ожидать от Италии этического возрождения современного мира было бы неверным пониманием ее истинного призвания; искусства и эрудиции было достаточно, чтобы задействовать ее духовную энергию. Церковь снова, хотя и ни в коей мере не выступала против распущенности в нравах, ревниво относилась к иноверчеству. Пока вольнодумцы ограничивали свою дерзость такими вопросами, которые составляют тему "Лицедеяний" Поджо, "Гермафродита" Беккаделли или "Капитолия дель Форно" Ла Каса, Римская курия смотрела на это и одобрительно улыбалась. Самые непристойные книги, какие только можно найти в какой-либо литературе, избежали папского порицания, и Аретино, печально известный своим сквернословием, не без оснований стремился к алому одеянию кардинала. Но даже в пятнадцатом веке налет ереси был опасен, и эта опасность усилилась, когда лютеранский раскол пробудил папство к осознанию своего положения. Таким образом, под покровительством духовенства, в порочной атмосфере Рима свободомыслие итальянцев превратилось в распущенность; это соответствовало нраву народа, очарованного язычеством и мало склонного поднимать споры по вопросам, не имеющим практической пользы. Те, кто размышлял на религиозные темы, держались своего мнения. Насколько чисто политическими были взгляды глубоких мыслителей Италии по всем церковным вопросам, можно понять из наблюдений Гвиччардини и Макиавелли; насколько мало самый ярый противник нечестивых священнослужителей мечтал нарушить католическую церковную систему, ясно видно из биографии Савонаролы. [3] Первая сатира Ариосто может быть указана как воплощение мнений здравомыслящих и либеральных интеллектуалов Италии об отношении Папского Рима к нации. В нем нет и следа тевтонского бунта против власти, благочестивого стремления к более чистой вере. Точка зрения критика, хотя и твердая и искренняя, житейская.

Верные культуре как своей главной заботе, итальянские мыслители стремились философизировать веру, приводя христианство в гармонию с античными умозрениями и формируя для себя теизм, который должен охватывать системы платоников и стоиков, еврейскую каббалу и Нагорную проповедь. В системах, разработанных этими пионерами современного эклектизма, есть многое, что поражает нас одновременно грубостью и педантичностью, инфантильностью и напыщенностью. Им не хватает энергичной простоты, которая придавала силу интуиции Лютера, возвышенного единства выводов Спинозы. Шлак эрудиции смешивается с чистым золотом личной убежденности; в то время как языческие фразы, плохо подходящие для выражения христианских понятий, придают вид нереальности самым искренним попыткам следовать рациональной теологии. Флорентийская платоновская академия была центром этих поисков веры в культуру, подлинным достоинством которой была оригинальность, а истинная сила заключалась в убеждении, что человечество едино и

неделимо. Его апостолами были Пико делла Мирандола и Фичино. Это нашло лирическое выражение в стихах, подобных следующим, переведенных мной с греческих гекзаметров Полициано: —

О Отец, Господь, восседающий на золотом троне, обитающий на высоких небесах,
О Царь всего сущего, бессмертный Бог, Ты всемогущий, небожитель!
Который видит все, и движет всем, и все с наибольшей силой поддерживает,
Древнее старейших времен, из всех первых, последних и бесконечных!
Небесный свод благословенных душ, небесное великолепие звезд,
Само гигантское солнце, луна, которая сияет в своем круге,
А также ручьи и фонтаны, земля и море - все это Твое творение,
Ты даешь жизнь всему; все это Ты наполняешь Своим Духом.
Силы земли и силы небес, и они, страдающие от адской боли,
Которые томятся под корнями земли, все они повинуются Твоему приказу.
Вот, я взываю к Тебе сейчас, Твоему созданию, живущему на земле,
Бедному, лишенному жизни, О Боже, глиняному, ничтожному, недостойному смертному,
Горько Кающемуся в своих грехах и проливающему слезы скорби.
О Боже, бессмертный Отец, услышь! Я взываю к Тебе; будь милостив,
И изгони из моей груди этого суетного мира поработавшую душу страсть,
Козни демона, своевольную похоть, которая проклинает нечестивых!
Омой все мое сердце обильным дождем Твоего чистого Духа,
Чтобы я мог любить Тебя, Господь, одного, Тебя, Царя царей, вечно.

Это всего лишь плохая замена молитве Господней. Ад и чистилище неуместны в его теизме. Χρισόθρονος и αἱ θεοὶ καίων - безвкусовые эпитеты для обозначения "Отче наш, иже еси на небесах". Однако именно в этих противоречиях и путанице мы прослеживаем искренность духа Возрождения, стремящегося соединить жизненную силу старой веры и формы новой культуры, поклоняющегося Божеству, созданному по образу его собственного разума, сложному и непоследовательному.

Физически итальянцы эпохи Возрождения были способны справиться с любой задачей, которую они решали перед собой. Нет большей ошибки, чем предположить, что, поскольку летний климат Италии жарче, чем у нас, ее дети должны быть вялыми, любящими удовольствия и расслабленными. Двенадцати месяцев, проведенных в Тоскане, было бы достаточно, чтобы рассеять иллюзии по поводу изнуряющего итальянского воздуха, даже если бы история древнего Рима не была доказательством того, что самая стойкая раса воинов и завоевателей, которую когда-либо видел мир, выросла между Соракте и морем. После падения Империи то, что осталось от исконной энергии в латинских городах, нашло убежище в лагунах Венеции и других природных цитаделях. Города-крепости в целом сохранили римское население. Примитивные итальянские расы все еще существовали в долинах Апеннин, в то время как лигурийцы владели Генуэзской Ривьерой; этруски не вымерли и в Тоскане. Верно, что Рим объединил эти расы в народ, говорящий на одном языке. И все же этнолог вряд ли допустит, чтобы различия, заметные между несколькими районами Италии, не были связаны с первоначальными разновидностями племени. К народу, каким его создал Рим, свежую кровь прилили готы, лангобарды и германцы, пришедшие с Севера. Греки, арабы, норманны и, со

временем, франки оказали влияние на Юг. В средние века благодаря сочетанию этих разнообразных элементов возникла новая и могущественная порода людей, причем каждый район приобрел особые качества благодаря различным пропорциям, в которых смешивались основные составляющие. Примечательно, что там, где римско-этрусская кровь была наиболее чистой, вероятно, от смешения, в долине реки Арно, современный итальянский гений нашел свой дом. Флоренция и ее города-побратимы сформировали язык и искусство Италии. Этой расе, совместно с уроженцами Ломбардии и Центральной Италии, была передана цивилизация Европы в пятнадцатом веке. Только к югу от Рима, где жестокие традиции римских *латифундий* так и не уступили средневековому импульсу создания городов, итальянцы оказались непригодными для выполнения своего великого долга. На эти южные государства Восточная империя, сарацинские мародеры и нормандские завоеватели, французская и испанская династии последовательно оказывали пагубное влияние; так же как и имперская политика Фридриха II. оставались в действии достаточно долго, чтобы добиться радикального улучшения состояния людей. Даже в Неаполе культура всегда была экзотикой. По всему полуострову итальянцы нового времени были благородной нацией, одаренной физическими, эмоциональными и умственными способностями в великолепной гармонии. В некоторых районах, особенно во Флоренции, обстоятельства и климат были исключительно благоприятны для появления на свет таких замечательных людей, каких мир редко видел. Красота лица, сила тела и вежливость манер сочетались у людей этого благодатного края с интеллектуальными способностями высшего порядка: эти дары природы не ограничивались отдельной кастой; все население составляло гениальную аристократию.

Чтобы понять величие этого итальянского типа в эпоху Возрождения, достаточно изучить картинные галереи Флоренции или Венеции с особым вниманием к содержащимся в них портретам. Когда мы сравниваем этих сенаторов и мудрецов с героями произведений Дюрера и Крахера, мы ощущаем физическое превосходство итальянцев. Подобным образом сравнение людей пятнадцатого века с людьми шестнадцатого показывает, насколько утрачено это физическое величие. На этом пути критики легко сбиваются с пути, создавая изоцированные теории. Однако то, что портрет кардинала де Бентивольи, выполненный Вандиком во дворце Питти, так сильно отличается от портрета кардинала Ипполито де Медичи работы Понтормо или Тициана, не может быть простой случайностью. Медичи - итальянец эпохи Возрождения, с его властной оригинальностью и пренебрежением к условностям. Он отказался изображаться как священнослужитель. Тициан изобразил его в венгерском костюме из темно-красного бархата, с усами и мечом, как у солдата; на картине Понтормо он одет в кольчугу и кладет левую руку на большую белую гончую. Бентивольи - итальянец того типа, который был создан Контрреформацией. Его изящные кружевные оборки, кокетство алой мантии и тонкие черты дипломатического лица подчеркивают новый дух. [4] Несомненно, физические качества расы меняются вместе с изменениями в их мыслях и чувствах. Красота Тассо более женственна и меланхолична, чем у Ариосто, в котором еще был жив либеральный гений Возрождения. Среди хмурых фехтовальщиков семнадцатого века вы не найдете лица, подобного "Гаттамелате" Джорджоне; [5] дворянам, которые так гордо держатся на полотнах Вандика в Генуе, не хватает учтивости Кастильоне Рафаэля; ученики Морони в черных одеждах более измождены и иссушены, чем Пико из Генуи. Уффици. Не стоит напрягать такие моменты. Достаточно их предложить. Что остается, однако, несомненным, так это то, что итальянцы пятнадцатого века — и к ним следует отнести тех, кто жил в первой половине шестнадцатого века, — обладали физической силой и характером, соответствующими их сильной индивидуальности. До

довольно позднего периода Возрождения даже в Италии сохранилось так много от феодальных обычаев, что верховая езда, обращение с копьем и мечом и все спортивные упражнения составляли часть образования, не менее необходимую, чем тренировка ума. В больших городах были открытые площадки, отведенные для турниров и игр; в тосканских городах по праздникам устраивали *палио*, а майским утром флорентийские юноши-подмастерья склонялись перед улыбками девушек, которые с наступлением темноты танцевали на площади Санта-Тринита. Кровавые сражения на улицах были частым явлением. Малейшая провокация заставляла мужчину обнажать кинжал. Бои *стаккато кьюзо* были среди развлечений, которым папа мог оказывать свое покровительство. Следовательно, умение владеть мечом было необходимостью. В остальном, мы узнаем от Кастильоне, что идеальный джентльмен должен был быть опытным танцором, смелым наездником, искусным борцом, быстрым бегуном, метко стрелять в цель, изящно метать копье и квойт, а также играть в теннис и *паллоне*. Кроме того, он должен выполнить какое-то спортивное упражнение в таком совершенстве, чтобы превзойти профессоров того же самого на их собственной земле. Чезаре Борджиа гордился тем, что свалил быка одним ударом, и продемонстрировал свою меткость стрелка, расстреливая осужденных преступников во внутреннем дворе Ватикана.

То, что такие люди посвятили свою энергию интеллектуальной культуре в то время, когда английская знать едва умела читать и писать, а рыцарство Франции относилось к учености с презрением, было доказательством их богатых природных дарований. Стремление расы к знаниям ни в коем случае не было случайным. По всей Италии воспоминания о древнем величии побуждали ее детей к подражанию. Призраки римских патриотов и поэтов, казалось, витали над их могилами и взывали к потомкам вернуть им жизнь снова. Если мы не можем вернуть Грецию и Рим, давайте, по крайней мере, превратим Флоренцию во вторые Афины и вернем Муз в авзонийские долины. Это был клич. Именно созерцая руины Рима, Виллани почувствовал побуждение написать свою хронику. Павия почитала Боэция как святого. Мантуя чеканила монеты с головой Вергилия, а Неаполь указал на его могилу. Падуя хвасталась Ливием, а Комо - Плиниями. "Сульмона, - восклицал Боккаччо, - скорбит, потому что в ней нет праха Овидия; а Парма рада, что Кассий покоится в ее стенах". Такое почитание великих людей древности сохранялось на протяжении всего средневековья, создавая мифы, будоражившие воображение, и формируя в массовом сознании предчувствие приближающейся эпохи. Есть что-то трогательное в том, что сохранились старые римские титулы, в причудливом воображении, создающем легенды, которое придало Орландо стиль римского сенатора, во вспышке энтузиазма в адрес Риенци, когда он назвал себя Народным трибуном Румынии. С началом эпохи Возрождения эта привязанность к прошлому превратилась в страсть. Пий II амнистировал жителей Арпино, потому что они были согражданами Цицерона. Альфонсо Неаполитанский получил в качестве самого ценного подарка из Венеции кость, предположительно принадлежавшую ноге Ливия. Все патриции Италии изобрели классические родословные; и даже Павел II, поскольку его звали Барбо, утверждал, что происходит от Агенобарби. Подобные примеры можно множить до бесконечности. Однако здесь более уместно отметить, что в Италии это преклонение перед античным миром было общим для всех классов; не только студенты, но и люди в целом считали мертвое величие классической эпохи своим особым наследием. Возродить эту похороненную славу и воссоединиться с прошлым было серьезной целью итальянцев как нации. Преобладало убеждение, что современный мир никогда не сможет быть таким лучезарным, как старый. Это нашло свое выражение в высказывании о том, что главными памятниками Рима были его руины; в вере в то, что труп

Юлии, обнаруженный на Аппиевой дороге, превосходил всех ныне живущих дев; в замечании Матараццо о том, что тело Асторре Бальони было достойно древнего римлянина. В своем восхищении древностью ученые были слепы к особой славе современного гения. Лионардо Бруни, например, воскликнул, что "древние греки намного превосходили нас, итальянцев, в человечности и мягкости сердца". И все же, какое греческое стихотворение можно сравнить по нежности с "Новой жизнью" Данте, с "Канцоньерой" Петрарки или со сказкой о Гризельде Боккаччо? *Джентилецца ди куоре* была наиболее характерным произведением рыцарства, а "Четвертая Энейда" - единственный классический шедевр с чистым романтическим пафосом. Это смирение ученичества, однако, не было настолько сильным, чтобы помешать подражанию. Напротив, тяга к древности действовала как мощный стимул для личных устремлений, порождая острое стремление к славе, жгучее стремление быть причисленным к могущественным людям древности. Когда Вергилий представил Данте в компании Гомера и ему подобных, звание *sesto tra cotanto senno* вознаградило его за весь его труд над рифмой, который помогал ему худеть на протяжении половины жизни. Петрарка, превзошедший Данте в жажде литературной славы, отвернулся от людей своего поколения, чтобы беседовать в длинных посланиях с погребенными святыми латинской культуры. Людям с меньшими амбициями было достаточно почувствовать, что они могут поднять свою душу через учебу к общению с величественными духами древности, переходя, подобно Макиавелли, от тривиальных дел в свою каморку, где они надевали мантии для чтения и пожимали руку через столетия Цицерону или Ливию. Универсальной целью гуманистов было обрести сознание того, что они отличаются от вульгарного стада, и достичь этого, присоединившись к великому сообществу бардов и мудрецов, слава которых не могла угаснуть.

Всякий, кто чувствовал в себе душевное волнение под любой формой, искренне стремился к славе; и таким образом в Италии формировалась новая социальная атмосфера, неизвестная народам Средневековья. Широкое и либеральное признание, признающее способности всех видов, независимо от ранга, благочестия или воинской доблести, вытеснило более узкие суждения о Церкви и феодализме. Джотто, сын крестьянина, пользовался большим уважением, чем Чимабуэ, гражданин Флоренции, потому что его произведение искусства было более достойным. Петрарка занимал свое место не в официальном качестве, а как почетный равный на брачных пирах принцев. Полициано переписывался с королями, обещая бессмертие в качестве более чем королевской милости. Помпоний Лет мог позволить себе отразить заигрывания Сансеверини, чувствуя, что эрудиция ставит его выше, чем у его знатных родственников. Не только богатство или политика поднимали Медичи среди деспотов так высоко над Бальони из Перуджи или Петруччи из Сиены. Этим отличием они были обязаны скорее пониманию тяги своего века к культуре. Таким образом, хотя рождение требовало уважения само по себе, был установлен новый стандарт выдающегося положения, и личные заслуги были паспортом, который приводил самых ничтожных в самое прославленное общество. Люди всех состояний и всех квалификаций встречались на общей почве интеллектуального общения. Темы, которые они обсуждали, можно почерпнуть из предисловий к романам Фиренцуолы, из "Асолани" Бембо и "Кортегиано" Кастильоне, из "Диалога о Флоренции" Гвиччардини или из "Камальдозских бесед" Ландино. Общества такого рода больше нигде в Европе не существовало. Италии принадлежит гордый приоритет в том, что она изобрела искусство вежливой беседы и предвосхитила французский *салон* в своей собственной оригинальной и изысканной манере.

В этих условиях в Италии возник подлинный культ интеллекта. Князья и народ разделяли общее стремление преклоняться перед умственным превосходством людей, которые не претендовали ни на что, кроме их гениальности. Именно в духе этого поклонения герою грозный Джисмондо Пандольфо Малатеста перенес в Рим кости Плетона и написал свою страстную эпитафию на саркофаге у церкви Альберти. Биографии гуманистов изобилуют историями об исключительных почестях, оказываемых влиятельным людям не только князьями, которые радовались их обществу, но и городами, принимавшими их с одобрением публики. И поскольку часто случается, что пародия раскрывает природу искусства, которое она пародирует, такой свет проливает на нашу тему мерзкий Пьетро Аретино, который, будучи талантливым человеком и беспринципным в своем применении, держал королей и властителей под копытом своего сатира. Однако нет необходимости заходить так далеко в поисках примеров. Несколько строк нашего собственного поэта Уэбстера точно описывают католицизм эпохи Возрождения, который сначала возник в Италии для людей с выдающимися способностями, а затем в некоторой степени возобладал в целом по Европе:

Добродетель - это вечный посев своих семян:
в окопах для солдата; в прилежном изучении
Для ученого; в морских бороздах
Для людей нашей профессии: из всего, что
Возникает и возвращает честь.

Описанная здесь добродетель имеет итальянское значение *virtù*, латинское *virtus*, греческое *ἀρετή*, то, что делает человека человеком. Это могло проявляться тысячей способов; но все они одинаково приносили честь, а к чести обязан стремиться каждый человек. Стандарт, по которому итальянцы оценивали эту добродетель, был скорее эстетическим, чем моральным. Они были слишком ослеплены блестящим достижением, чтобы испытать его в горниле этики. Это истинный ключ к критике Макиавелли Каструччо Кастракане, Джанпаоло Бальони, Чезаре Борджиа и Пьеро Содерини. Как и представители его расы, он был очарован характером и придавал чрезмерное значение силе, которая заставляла людей добиваться успеха даже с помощью преступлений.

Жажда славы и преклонение перед способностями побудили итальянцев раньше, чем какую-либо другую нацию, отмечать то, что казалось им примечательным в их собственной жизни и в жизни их современников. Данте в рамках средневековья проложил путь в обоих этих направлениях. Его "Новая жизнь" - это глава автобиографии, ограниченная рамками совершенного искусства. Его портреты Святого Франциска и Святого Доминика (не говоря уже о других медальонах и камнях предшественников или современников — Фаринаты, например, или Бонифация VIII.) отражают особые качества, благодаря которым эти герои веры выделялись из толпы окружающих их людей. "Жизнь Данте" Боккаччо - это еще один шаг в направлении чисто современной биографии. Затем ознакомьтесь с коллекциями Филиппо Виллани, Джованни Кавальканти, Веспасиано, Платины, Декабрио, Беккаделли, Караччоло и Паоло Джовио. "Жизнь художников" Вазари уникальна в своей попытке охватить в рамках одного произведения все, что показалось их автору наиболее характерным в карьере определенного класса людей. С точки зрения исторической точности портреты, написанные Макиавелли, Гвиччардини, Варчи, Питти и многими второстепенными летописцами, не оставляют желать

лучшего. Такие автобиографии, как автобиографии Петрарки, Челлини, Кардано и Корнaro, являются образцами в своем роде; независимо от того, было ли их целью простое самовосхваление или научная и дидактическая цель легла в основу хроники жизни, результат одинаково яркий и интересный. Поклонение героям побудило Джана Франческо Пико написать "Жизнь Савонаролы", а Кондиви - "Жизнь Микеланджело". Презрение и ненависть побудили Платину передать облик Павла II. потомкам в карикатуре, ирония которой настолько сдержанна, что может сойти за искренность. "Биография Каструччо" Макиавелли - политический роман, проникнутый философским замыслом. Какой мотив, помимо восхищения, породил анонимные "Мемуары Альберти", такие лаконичные в своих портретах, такие спокойные по стилю, мы не знаем; но и они, как и "Жизнь Витторино да Фельтре" Прендилаквы, являются шедевром естественного изображения. Для этих биографий, несомненно, образцами послужили труды Плутарха и Светония. Однако это не делает озабоченность итальянцев феноменами личности менее примечательной.

Другая фаза того же импульса привела к созданию специальных трактатов об идеальных характерах. Образ идеального домохозяина был нарисован Альберти, образ придворного - Кастильоне, образ принца - Макиавелли. Да Винчи рассуждал о физических пропорциях человеческого тела. Фиренцуола и Луиджини проанализировали женскую красоту; Пикколомини взялся описать манеры благовоспитанной леди; а Ла Каса изложил правила вежливого поведения в обществе. Названия трактатов, подобных этому описанию, можно было бы легко умножить. Однако было сказано достаточно, чтобы показать склонность итальянского интеллекта заниматься выдающимися качествами, независимо от того, проявляются ли они в отдельных людях или идеализируются и абстрагируются рефлексивной фантазией. Вся эта литература подразумевает сильное самосознание нации, горячий интерес к людям как таковым из-за особых добродетелей, которые можно найти в каждом. Таким образом, дух, в котором эти авторы эпохи Возрождения подходили к своей задаче, полностью отличался от того, который побуждал средневековых летописцев регистрировать чудеса святых, вести хронику принцев какой-либо династии или настоятелей монастыря. Не имело это и большого отношения к мифологизирующему энтузиазму поэтов-романтиков. Стремление к назиданию и огонь фантазии уступили место импульсу более строго научному, любопытству более позитивному.

Внимание, направленное в литературе и общественном общении на великих людей, подразумевало соответствующую жажду посмертной славы как субъективное качество характера эпохи Возрождения. Увековечить имя и славу было самой пылкой страстью, которую разделяли в равной степени художники и принцы, литераторы и генералы. Человеку было недостаточно проявить силу, которая была в нем, или заслужить аплодисменты своих современников. Он должен выйти за пределы идеального мира и вырвать для себя что-то постоянное, что переживет наши преходящие усилия. Когда Альфонсо Великодушный нанял Фацио для составления своей хроники, когда Франческо Сфорца дюжинами платил Филельфо за свои стихи, когда Козимо Медичи сожалел, что не потратил больше денег на строительство, когда Бартоломео Коллеони распорядился возвести свою часовню в Бергамо и свою статую на городской площади Венеции, эти люди, такие разные во всем остальном, стремились, каждый на свой лад, купить бессмертие, которого его собственные достижения на поле боя или в Сенате, возможно, не принесут. Данте, здесь, как и везде, первым произнесший слово

современности, выразил эту жажду длительных воспоминаний в своих строках о планете Меркурий: [6]—

Questa picciola stella si corredda
De' buoni spirti, che son stati attivi,
Perchè onore e fama gli succeda.

В то же время Данте, проникнутый мистическим духом средневековья, ощущал антагонизм между мирскими амбициями и идеалом христианской жизни. Есть и другие отрывки, где слава упоминается им как мимолетное дуновение, цветок, который распускается и увядает. [7] По правде говоря, страстное стремление к славе было частью мирского ренессанса, почерпнутого из общения с классическим прошлым и связанного с тем ярким пониманием человеческой жизни, которое придало силы эпохе пробужденных импульсов и позитивных амбиций. Этот мир был так близок им, так важен для них, что эти люди не утратили бы своего понимания его после смерти и добровольно не променяли бы его на загробный рай надежд.

Увлечение древностью окрасило это стремление к славе, навязав итальянцам убежденность в том, что культура - это истинное право на вечность. Как бы они могли войти в духовное царство греков и римлян, если бы не рукописи и произведения искусства? Поэтому стало модным искать бессмертия через литературу. Изучение классики тогда не ограничивалось людьми с особыми наклонностями. На всех одинаково, даже на женщинах, давила вера в то, что быть ученым - это самый надежный способ спасти что-то от крушения, которое является обреченностью человеческих поступков. [8] Только через редкие промежутки времени и у редких натур типа Микеланджело христианский идеал возобновлял свое влияние. Устав от сияния искусства или учености, они обратились к Кресту Христову и называли свои мирские достижения тщетными и никчемными. Однако еще не пришло время, когда отвращение к культуре и истощение интеллекта снова сделали бы приемлемыми аскетизм и монашеский экстаз. Это относилось к эпохе испанской тирании и к тому, что называется Контрреформацией. Для настоящего Ренессанса памятная *санкция* Лео, выданная редакторам "Тацита", попала в самую точку; в то время как торжественные строки Сафо, предостерегающие друга, равнодушного к литературе, можно перефразировать, чтобы выразить чувства Полициано:

Вот, ты умрешь,
И будешь лежать
Немой в безмолвной могиле;
И имени твоему
Не будет славы
Ни В грядущие века, ни в грядущие годы:
Ибо розы,
Которой веет Пиерия,
Тебе не достанется;
Но в доме печального Гадеса,
Неизвестный, бесславный,
Среди блуждающих там тусклых теней,
Будешь ты порхать и парить в прозрачном воздухе.

Эти слова нашли несомненный отклик в Италии эпохи Возрождения, где юноши с длинными темными волосами и влажными глазами оставили свою любовь, чтобы слушать лекции педанта, где Никколо де'Никколи увел Пьеро де'Пацци от жизни удовольствий, пообещав духовное царство в мире книг. Пьеро был "человеком, рожденным с твоим лицом и шеей, Лирический Аполлон!" Его единственной целью было наслаждаться — *darsi buon tempo*, как говорят во Флоренции. И все же эти слова студента: "Видя, что ты сын такого человека и привлекательной особы, стыдно, что ты не посвящаешь себя изучению латыни, которая была бы для тебя большим украшением; и если ты не выучишь ее, тебя не будут уважать; однажды расцвет юности пройдет, и ты окажешься лишенным добродетели" — эти слова имели такой вес и так глубоко запали в сердце молодого человека, что, охваченный любовью к учености, он оставил своих приятных товарищей, наняв Понтано в качестве домашнего учителя. -репетитор с жалованьем в сто золотых флоринов, а свободное время проводил за изучением Ливия и "Энеиды" наизусть. [9] То, к чему он стремился, он получил; его имя все еще записано, теперь, когда не только расцвет юности, но и сама жизнь ушла, и он почти четыре столетия проспал во флорентийской земле. И все же мы, не менее уставшие от эрудиции, чем Фауст, когда он держал в руке чашу с настойкой опия и слушал пасхальные голоса, вполне можем спросить себя, что Пьеро унес с собой в могилу больше, чем Сарданапал, над которым греки начертали свои горькие эпитафии. Как бы мы ни были разочарованы этими четырьмя веками обучения, музыкальный плач Дидоны и величественные периоды латинской прозы для нас, рассматриваемых в качестве духовной пищи, немногим лучше, чем шелуха, которую съели свиньи. Как мы можем представить себе условия эпохи, когда ученость была благовестием, заставлявшим флорентийских Леви своей неотразимой красотой покидать столы менял, соблазнявших молодых людей с большим состоянием продавать все и отдавать Музам, превращавших саму Лукрецию Борджиа в Магдалину изящной словесности? К счастью для цивилизации современного мира, люди эпохи Возрождения, не обремененные избытком знаний, не предавались ни одному из этих размышлений. Это был век искренней веры в доброту и величие интеллекта, раскрываемого искусством и литературой. Когда мы читаем рассказ Веспасиано о седовласом Никколо, пристававшем к молодому Пацци на ступенях Барджелло, наш разум инстинктивно обращается к более ранним зачаткам разума в Древней Греции; мы думаем о том очаровании, которое Сократ оказывал Критию и Алкивиаду; и если бы в Италии появился Аристофан, мы представляем, как он мог бы критиковать это увлечение молодежи от гражданства и оружия к спокойным размышлениям и космополитическим интересам культуры.

Эти эллинские параллели не лишены реальной причины, с которой мы сталкиваемся при изучении итальянского Возрождения. Флоренция позаимствовала свой свет у Афин, как луна сияет лучами, отраженными от солнца. Возрождение было серебряным веком того старого золотого века Греции. В буквальном, а не просто метафорическом смысле пятнадцатый век стал свидетелем нового рождения классического духа. И что же, давайте спросим себя, поскольку здесь, наконец, находится животрепещущая точка нашего исследования, какова была истинная нота этого духа в той мере, в какой его возрождение касалось итальянской расы? Поверхностные наблюдатели будут говорить о язычестве эпохи Возрождения, его беззастенчивой распущенности, его мирскости, его самодовольной чувственности, как будто это все, как будто эти качества не были присущи человеческой природе, готовые в любой момент проявиться, когда напряжение более благородного энтузиазма ослабнет или инстинкты самосохранения общества ослабнут. В этом грубом и готовом ответе действительно есть доля

правды, которую необходимо высказать с порога. Контакт современности с древним миром действительно поощрял расточительный и безбожный образ жизни у людей, которые предпочитали Петрония Святому Павлу и меньше тосковали по Галилее, чем по Коринфу. Гуманисты выделялись даже среди римского духовенства открытым беспорядком в своей жизни. Они развили непристойную речь как особую отрасль риторики и исповедовали науку о непонятных и устаревших непристойностях. Именно эта мода ученых классов заставила Эразма с недоверием отнестись к распространению науки на Севере. "Одно сомнение все еще терзает мой разум, - писал он, - как бы язычество под покровом возрожденной литературы не попыталось поднять голову, поскольку среди христиан есть люди, которые, признавая имя Христа, вдыхают в свои сердца дух язычников". Христианство, особенно в Италии, где зрелище Святого Престола вызывало отвращение, было превращено Церковью в проституцию для самого низменного служения. [10] Вера ассоциировалась с безумием, суевериями, невежеством, нетерпимостью и жестокостью. Нравы духовенства находились в вопиющем противоречии с Евангелием, и Антихрист нашел более подходящее воплощение в Родриго Борджиа, чем в Нероне. В то время как сущность религии была, таким образом, принесена в жертву ее приверженцами, на горизонте современного мира, подобно какой-то яркой пылающей звезде, возник идеал той языческой цивилизации, против которой в период ее упадка боролась восходящая сила христианства. Не было ничего противоестественного в том, что теперь, когда Церковь была признана недостающей, последовала реакция в пользу язычества или что страсти человечества оправдывали свое потакание своим желаниям, апеллируя к прецедентам Греции и Рима. Хорошее и плохое смешивались в классической традиции. Пороки, достаточно отвратительные в папе, который ввел порицание прессы, казались простительными в сочетании с мужественностью Адриана или утонченным обаянием Катулла. Сам Грех утратил половину своего зла, пришедшего из новообретенной Святой культурной Земли. И все же это так называемое язычество эпохи Возрождения, каким бы реальным оно ни было, имело лишь поверхностную связь с классическими исследованиями. Разложение Церкви и политическое вырождение содружества имели к этому такое же отношение, как и возврат к языческим стандартам. Ренессанс также не мог бы стать великой всемирно-исторической эпохой, какой он действительно был, если бы такая деморализация была неотъемлемой частью его сути. Преступления и пороки не являются рассадником искусства и литературы: похотливые священники и жестокие деспоты не были нужны живописи Рафаэля или поэзии Ариосто. Ошибки итальянцев в эпоху Возрождения не были ни следствием их высоких достижений, ни, наоборот, следствием стремления интеллекта к античным формам культуры. Историк отмечает синхронизмы, взаимозависимость которых он не обязан доказывать и между которыми, по его мнению, нет причинно-следственной связи.

Более того, не похоже, что деморализация итальянского общества, какой бы она ни была, привела к физическому или интеллектуальному вырождению народа. Коммерческое процветание, действительно, сделало их более слабыми в грубой силе по сравнению с их полуварварскими соседями; в то время как космополитические интересы культуры уничтожили энергию национальных инстинктов. Но было бы неправильно обвинять только их неоязычество в результатах, причины которых были столь сложными.

Между тем, что придало глубокое значение классическому возрождению, так это освобождение разума, последовавшее за открытием, что лучшими дарами духа обладали народы древности. Идеал существования, отличный от того, который навязывала Средневековая Церковь, проявился во всей своей светской привлекательности. Новая

ценность была придана желаниям и целям, удовольствиям и деятельности человека, который рассматривался как благородный участник всеобщей жизни, а не как болезненный нарост в мире, который он помог испортить. Вместо монастырского служения "Подражания Христу" уже сформировалась концепция общения через знание с Богом, проявляющимся в Его трудах и в душе человека, которая образует нерушимую религию науки и разума. Интеллект, пролежав заколдованным долгую ночь, когда мысли были такими же сновидениями, а движение - сомнамбулизмом, возобновил свою активность, исследовал природу и наслаждался удовольствиями беспрепятственной энергии. Не переставая быть христианами (ибо моральные принципы христианства являются неотъемлемым достоянием человечества), люди Возрождения снова осмелились проявлять свою мысль так же смело, как это делали греки и римляне до них. Более того, теперь они могли, так сказать, реанимировав утраченную способность, делать это свободно и трезво. Прикосновение к ним классического духа было подобно пальцу божества, дарующему жизнь мертвым.

То, что не было сделано большего и благородного применения новому свету, озарившему мир в эпоху Возрождения; что гуманисты отказались от высокой точки зрения Петрарки ради более низкого и литературного уровня; что общество усвоило гедонизм с большей готовностью, чем стоицизм древних; что ученые больше занимались формой, чем содержанием классики; что все эти недостатки в разной степени не позволили итальянцам возглавить интеллектуальное движение шестнадцатого века в религии и философии, как ранее они руководили умами Европы в открытиях и литературе, — вызывает глубокое сожаление автора. те, кто ревнует к своей чести. В остальном, невозможно найти слов, более достойных для выражения их высокой концепции человека, рассматриваемого как свободная, но ответственная личность, посланная в мир формировать свою собственную природу и благодаря этой силе самоопределения отделенная как от животных, так и от ангелов, чем следующий отрывок из "Речи о достоинстве человека" Пико делла Мирандолы. В нем античная свобода мысли сочетается с христианской верой в стиле, характерном для Ренессанса в его лучших проявлениях; также в нем нет упоминания средневековой космологии, нехарактерной для эпохи, которая пока еще больше, чем твердо знала. постиг реалии современной науки. Здесь, как нигде, можно приветствовать Прозрение современного духа, противопоставляющего Бога и человека в отношениях, непостижимых для древних, непостижимых во всей полноте для Средних веков. Затем Верховный Создатель постановил, что Человеку, которому Он не мог даровать ничего особенного, должно принадлежать общее все, что было дано другим Его созданиям. Поэтому Он взял человека, созданного по Его собственному индивидуальному образу, и, поместив его в центр мира, обратился к нему так: "Ни постоянного жилища, ни формы по твоему собственному подобию, ни какого-либо дара, присущего только тебе одному, мы не дали тебе, о Адам, для того, чтобы то, какое жилище, какое подобие, какие дары ты выберешь, могло принадлежать тебе. Природа, данная всем другим существам, в рамках законов, установленных нами самими, сдерживает их. Ты, не ограниченный узкими рамками, согласно своей собственной свободной воле, во власть которой Я отдал тебя, сам определишь свою природу. Я поместил тебя в середине мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. И мы не создали тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным для того, чтобы ты, будучи, так сказать, сам себе свободным творцом и формовщиком, придавал себе ту форму, которая тебе больше всего нравится. У тебя будет сила опуститься до низших или грубых созданий. У тебя будет сила возродиться к высшему, или божественному, в соответствии с приговором твоего интеллекта".

Таким образом, Человеку при его рождении Отец дал семена всего многообразия и зародыши всех форм жизни".

Из подобных мыслей, если бы Италия только могла быть свободной, если бы ее общество могло быть неповрежденным, если бы ее Церковь могла вернуться к основным истинам христианства, мог бы прорасти, как из семени, самый благородный рост человеческой науки. *Butdis aliter visum est*. Пролог к этой истории культуры — подробное описание эгоистичных тиранов, порочного духовенства и неспособных республик в моей "[Эпохе деспотов](#)" — призван прояснить, почему условия, при которых началось Возрождение в Италии, сделали его осуществление несовершенным.

ГЛАВА II

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ГУМАНИЗМА

Важность возрождения образования—Средневековый роман—Легенда о Фаусте— Ее значение для эпохи Возрождения—Преданность Италии науке—Предрасположенность итальянцев к этому труду—Ученость в темные века—Двойное отношение Церкви—Благочестие к Вергилию—Скудное знакомство с латинской классикой—Отсутствие изучения греческого—Духовные условия средневековья, неблагоприятные для чистой литературы—Италия не исключение среди остальной Европы—Данте и Петрарка—Определение гуманизма—Концепция Петрарки о нем—Его эстетический темперамент—Его культ для Цицерона Усердие в собирании рукописей, Понимание важности изучения греческого языка —Борьба с педантизмом и суевериями—Идеал поэзии и риторики—Критика юристов и схоластов—С. Августин—Тщеславие Петрарки—Жажда славы—Разлад между его жизнью и профессией—Его литературный темперамент—Дальновидный патриотизм—Его влияние—Его преемники—Боккаччо и изучение греческого языка—Перевод Гомера—Философия литературы—Чувственность вдохновения Боккаччо—Джованни да Равенна—Странствующий профессор—Его ученики по латыни—Луиджи Марсигли—Монастырь Святого Спирито—Гуманизм в политике—Колуччо де Салютати—Гаспарино да Барцицца—Улучшенный стиль письма—Возрождение об изучении греческого языка —Мануэль Хрисолорас—Его ученики—Лионардо Бруни—Значение греческого языка для эпохи Возрождения.

Я уже отмечал, что было бы неточно отождествлять все движение Возрождения с процессом, посредством которого европейские нации восстанавливали и присваивали шедевры греческой и латинской литературы. В то же время это отвоение классической мировой мысли было, безусловно, самым важным достижением пятнадцатого и шестнадцатого веков. Это поглотило почти всю умственную энергию итальянцев и в значительной степени определило качество всей их интеллектуальной продукции в период, который я взялся проиллюстрировать. Благодаря их деятельности в области науки современной интеллигенции была дана надлежащая отправная точка. Откровение о том, кем были люди и что они творили под влиянием других верований и других импульсов в далекие века с другими идеалами для достижения своей цели, не только расширило узкий горизонт Средневековья, но и вернуло уверенность в разуме человечества. Научные исследования и критика начали занимать место схоластических спекуляций. Интуитивные догадки идеалистов и мечтателей были заменены

позитивным знанием. Интересы этого мира получили должную долю внимания, и *гуманитарная литература* студента узурпировала божественное познание теологов.

На протяжении всего средневековья тревожные и несовершенные воспоминания о Греции и Риме преследовали Европу. Александр, великий завоеватель; Гектор, благородный рыцарь и любовник; Елена, подожгшая город Трои; Вергилий, волшебник; Богоматерь Венера, задержавшаяся на холме Херсель — эти фантомы, положительная историческая правда о которых была утрачена, остались, чтобы волновать души и возбуждать желания в мифах и сагах. Лишенное реальных знаний, воображение превратило то, что оно помнило о классической эпохе, в романтику. Очарование, которое эти сны о полузабытом прошлом оказывали на средневековое воображение, выразилось в легенде о докторе Фаустусе. Эта легенда рассказывает нам, чего жаждали люди накануне Пробуждения и чего они боялись, когда обращали свои мысли к прошлому. Секрет наслаждения и источник силы, которыми обладали древние, привлекали их; но они верили, что смогут вернуть это утраченное сокровище только через самоубийство своей души. Искушение было так велико, что Фауст заплатил за это. Впитав все знания своего времени, он продал себя дьяволу, чтобы утолить свою жажду опыта, укрепить свое представление о мире и развеять скуку от бездействия. Его первым применением этой дорого купленной силы было заставить слепого Гомера петь для него. Амфион настраивает свою арфу в согласии с Мефистофелем. Александр восстает из мертвых по его приказу со всеми своими легионерами; и Елена отдается ему в жены. Таким образом, "Фауст" — это притча о бессильных стремлениях духа Средневековья - его страстном стремлении, его мучимом совестью желании, его скованном любопытстве в тесных рамках несовершенного знания и иррационального догматизма. То, за что Фауст продал свою душу, свобода, которую он приобрел с помощью магии, чувство красоты, которое он удовлетворял с помощью видений, знания, которые он получил, допрашивая демонов, были отданы миру бесценно во времена Возрождения. Гомер, уже не благодаря вмешательству дьявола, а благодаря труду ученого, воспел новую эпоху. Великолепие империй старого света было восстановлено на страницах историков. Нерушимая красота греческого искусства, символом которого была Елена, стала, благодаря открытию классической поэзии и скульптуры, достоянием современного мира. Средневековье взяло эту Елену в жены, и их отпрыск, Эйфорион драмы Гете, является духом современного мира. Но как это было осуществлено? Долгим и кропотливым изучением, накоплением рукописей, изучением мертвых языков, уединенным трудом грамматистов, лекциями странствующих профессоров, переписчиками, печатным станком, самоотверженностью великолепной Италии эрудиции. Таким образом, Возрождение осуществило мечту Средневековья, а гений итальянцев упорным трудом создал то, что мифотворческое воображение немцев воплотило в поэме.

Невозможно преувеличить пользу, принесенную Европе итальянцами в ту эпоху. Культура классиков должна была быть перенята заново, прежде чем могло начаться движение современного разума: прежде чем нации смогли начать новый путь прогресса, необходимо было преодолеть пропасть между старым и новым светом. Эту задачу по повторному присвоению итальянцы выполнили в одиночку, пожертвовав своей литературной независимостью и политической свободой. История литературы эпохи Возрождения в Италии - это история национального гения, свернувшего с пути саморазвития в русло науки и антикварных исследований. Язык, созданный Данте как инструмент силы, отшлифованный Петраркой как предмет красоты, обученный Боккаччо как инструмент мелодичной прозы, был оставлен даже тосканцами в пятнадцатом веке ради возрожденной латыни и недавно открытого

греческого. Приобретение патентов заменило гордую изобретательность; кропотливое подражание классическим авторам подавило оригинальность стиля. Сила ума, которая в четырнадцатом веке создала "Божественную комедию" и "Декамерон", в пятнадцатом была израсходована на толкование кодексов, приведение текстов в соответствие, перевод греческих книг на латынь, изучение древностей, составление комментариев, энциклопедий, словарей, эфемерид. Хотя мы сожалеем об этом переходе от творческой литературы к литературе приобретения, мы должны иметь в виду, что те ученые, которым следовало бы стать поэтами, достигли не чего иного, как цивилизации, или, используя их собственное выражение, гуманизации современного мира. [11] В критический момент, когда Восточная империя была разрушена турками, и когда другие европейские нации были еще непригодны для развития культуры, Италия спасла искусство и науку Греции и Рима и интерпретировала дух классики. Посвятив себя тому, что кажется рабским трудом компиляции, она передала человечеству бесценное сокровище; и хотя на какое-то время прекрасный итальянский язык был вытеснен жаргоном мертвых языков, все же литература Возрождения в конце концов породила поэзию Ариосто, политическую философию Макиавелли, истории Гвиччардини и Варчи. Тем временем вся Европа получила основное интеллектуальное образование.

Необходимо повторить наблюдение, что такое посвящение энергии научным занятиям было не менее естественным для итальянцев, чем необходимо для мира в целом. Итальянцы не были такой новой нацией, как франки и немцы. Нет ничего более примечательного в средневековой истории Италии, чем ощущение, одинаково разделяемое поэтами и юристами, лидерами народных восстаний и основоположниками философской мысли, что центр национальной жизнеспособности существовал в Римской империи. Именно эта решимость смотреть назад, а не вперед, доверять прошлому, а не настоящему нейтрализовала силы Ломбардской лиги и помешала коммунам отстаивать свою независимость лицом к лицу с иностранцами, которые называли себя представителями цезаря. Итальянцы, в отличие от любого другого европейского народа, пожертвовали реальностью политической свободы ради идеи величия и славы, которые должны быть восстановлены путем восстановления Империи. Гвельф и гибеллины совпадали в этом заблуждении, что Риму, будь то папский или имперский, суждено по-прежнему возводить старый итальянский род на трон цивилизованного человечества. Когда появились три великих автора XIII века, каждый из них, в свою очередь, обратил свой взор на древний Рим как на истинный источник национального величия. Язык современной Италии, как было известно, произошел от латинской речи, и итальянцы называли себя *латини*. Поэтому попытка привести их литературу в соответствие с римским типом воспринималась как возвращение к ее истинному стандарту; "Энеида" Вергилия была их *ложью о Нибелунгах*. Таким образом, гуманистический энтузиазм пятнадцатого века приобрел почти патриотический характер. Более того, в нем доктрина, господствовавшая в Средние века, нарушая политическую сплоченность, не приобретая последовательности фактов, достигла, наконец, надлежащей сферы развития. Идеал Данте в "О монархии" оказался беспочвенной мечтой; ни одному императору не суждено было занять свое место в Риме и править миром. Но идеал Петрарки был реализован; ученые, воодушевленные его порывом, вновь приобрели первородное право на культуру, которое издревле принадлежало Италии, и сделали ее интеллектуальной императрицей Европы. Не политическое, а духовное превосходство было истинным наследием этих новых римлян.

В качестве введения в историю Возрождения и для того, чтобы можно было точно оценить работу, которую предстоит выполнить итальянским студентам, необходимо будет кратко

коснуться состояния науки в темные века. Недооценивать достижения того периода, особенно в логике, теологии и праве, слишком легко, учитывая, что Возрождение придало новое направление европейскому уму и что с начала пятнадцатого века мы непрерывно двигались по другим направлениям, к другим объектам. Средневековая мысль была острой и напряженной в своей собственной области деятельности. Чего ей не хватало, так это материала за пределами спекулятивной сферы, которым можно было бы питаться. Культуры в нашем понимании этого слова не существовало, и интеллект был вынужден тонко оперировать очень ограниченным классом концепций.

Задолго до падения Римской империи стало ясно, что и изобразительное искусство, и литература постепенно приходят в упадок. Скульптура в эпоху Константина утратила различие стиля; и хотя практика стихосложения сохранилась как риторическое упражнение, оригинальных гениальных произведений создано не было. Авзоний и Клавдиан, незадолго до раздела Империи и вторжения варварских рас, произнесли последнюю лебединую ноту классической поэзии. Тем временем истинный вкус и критика исчезли. [12] Церковь, сражаясь с язычеством, признавала своих самых смертельных врагов в литературе. Греческие и латинские шедевры были не только оплотом мифологии, которую следовало стереть из массового сознания; не только их мораль противоречила принципам христианской этики: в дополнение к этим основаниям для ненависти и недоверия классики идеализировали форму человеческой жизни, которую новая вера считала бесполезной. Что такое культура по сравнению со спасением души? Зачем тратить время на мечты поэтов, когда каждую минуту можно с пользой потратить на обдумывание евангельских заповедей? Какой был смысл делать эту жизнь утонченной и приятной с помощью учебы, когда она была всего лишь незначительной прелюдией к вечности, в которой простое мирское обучение не имело бы никакой ценности? Зачем поднимать вопросы о положении человека на этой земле, когда должны были быть определены и разъяснены вероучения, когда должна была быть установлена природа Бога и отношение человеческой души к ее Создателю? От такого состояния ума было легко перейти к убеждению, что обучение само по себе нечестиво. [13] "Давайте избегать лживых басен поэтов, - восклицает Григорий Турский, - и откажемся от мудрости мудрецов во вражде с Богом, чтобы не навлечь на себя гибель от вечной смерти по приговору нашего Господа". Даже Августин сожалел о времени, проведенном за чтением Вергилия, оплакивая смерть Дидоны от любви, когда все остальные в то время как сам он был морально и духовно мертв. Алкуин сожалел, что в детстве предпочитал Вергилия легендам о Святых и клеймил красноречие латинских писателей эпитетом распутный. Такие фразы, как *poetarum figmenta, gentilium figmenta sive deliramenta* (вымысел или безумный бред языческих поэтов), обычно используются христианскими авторами Житий святых, чтобы подчеркнуть неполноценность Вергилия и Овидия по сравнению с их собственными более назидательными сочинениями. Полагаясь на свои духовные притязания, монашеские книжники превозносились в невежестве и выставляли недостаток грамматики напоказ как признак благодати. "Я предупреждаю любознательного читателя, - пишет некий Вольфгард в "Жизни святой Вальпургии", - не обращать внимания на массу варварств в этом небольшом произведении; я предлагаю ему обдумать то, что он найдет на этих страницах, и искать жемчужину в навозной куче". Григорий Великий идет дальше и бросает вызов педантизму педагогов. "Место предлогов и падежи существительных я совершенно презираю, поскольку считаю неуместным ограничивать слова небесного оракула правилами Доната". "Пусть философы и нечистые на руку знатоки Доната, - пишет фанатик из Кордовы, - решают свои ветреные проблемы с лаем собак, хрюканьем свиней, рычанием с ободренным

горлом и зубами; пусть отпрыгивают пенящиеся грамматики, в то время как мы остаемся евангельскими слугами Христа, истинными последователями деревенских учителей". противостояние Церкви язычеству, убежденность в том, что христианство чуждо культуре, и поглощение интеллектуального интереса богословскими вопросами способствовали разрушению того, что осталось от здоровой учености в последние годы существования империи. Более того, задачей Церкви в Средние века было не столько поддерживать жизнь науки, сколько воспитывать дикие расы, которые распоряжались Европой в свое удовольствие. Чистая латинизация, даже если бы ее можно было привить народам Севера, имела меньшее значение, чем элементарная дисциплина в манерах и религии. Не следует забывать, что литература древнего Рима в лучшие свои дни была искусственной, доступной лишь немногим избранным и зависела в своей поддержке от столицы. После распада Империи вся Европа оказалась открытой для действий духовных сил, которым пришлось использовать неграмотных варваров в качестве своих слуг и миссионеров. Предоставить это обширное поле классической культуре в то же время, когда распространялось христианство, было бы выше сил Церкви, даже если бы она решила взять на себя эту задачу и если бы жизненные силы античности не были исчерпаны.

В этот момент неизбежная реакция, иллюстрирующая компромисс, навязанный Церкви ее особым положением, стала очевидной. По мере того, как опасность язычества уменьшалась, духовенство, на которое возлагалась двойная обязанность по просвещению и морализации общества, начало ощущать необходимость остановить распространение невежества. Знание латыни требовалось для церковных нужд, для толкования Священного Писания, для изучения Отцов Церкви и для установления общего языка между многими различными национальностями. Следовательно, необходимо было выбрать средний путь между фанатизмом, который считал классическую литературу никчемной и нечистой, и мирскостью, которая могла бы поощряться энтузиазмом к древним. Грамматика преподавалась в школах, а там, где преподавалась грамматика, невозможно было исключить Вергилия и некоторых других латинских авторов. Неизбежным следствием этого был конфликт в сознании монахов. Поскольку только классика передавала здравый смысл, изучение ее составляло необходимую часть образования; и все же эти авторы были некрещеными язычниками, обреченными на вечную смерть из-за своего нечестия и безнравственности. Поэты, которые до сих пор считались смертельными врагами, теперь были приняты как вспомогательные силы в битве Церкви с варварством. Переписывая элегии Овидия, сострадательный переписчик стремился представить их в выгодном свете и придать им назидательный характер ценой противоречия их простому смыслу. [14] Вергилию приписывали аллегорическое значение; и сильное сочувствие, которое он вызывал у тех, кто чувствовал красоту его стиля, породило веру в то, что, если не совсем, он был почти христианином. Благочестие и жалость к Вергилию как к нежной душе, которая только что упустила спасение, предложенное Христом, нашли выражение в службе на День Святого Павла, используемой в Мантуе: [15]—

Ad Maronis mausoleum
Ductus, fudit super eum
Piæ rorem lacrymæ;
Quem te, inquit, reddidissem
Si te vivum invenissem,
Poetarum maxime!

Тем временем полная неразбериха, последовавшая за падением Римской империи и вторжением германских рас, вызвала, благодаря простой грубой силе обстоятельств, постепенное угасание науки, слишком могущественной, чтобы ее можно было остановить. Преподавание грамматики в церковных целях было недостаточным для того, чтобы сдержать влияние многих причин, приведших к такому ниспровержению образования. Студентам, оторванным от классической традиции, для которых предшествующая история Рима была мертвой буквой, было невозможно передать нечто большее, чем просто крупицу знаний. Значение латинских слов, происходящих от греческого, было утрачено. Грамматик Смарагд ошибочно принял *Евнуха Комедия* и *Ореста Трагидия*, упомянутых Донатом, за имена авторов. Ремигий Осерский объяснял поэму через *positio*, а эмблему через *habundantia*. Предполагалось, что Гомер и Вергилий были друзьями и современниками, в то время как латинское воплощение "Илиады", носящее имя Пиндара, было создано фиванским лириком. Богословские понятия, гротескные и ребяческие, не поддающиеся описанию, нашли свое отражение в этимологии и грамматике. Три лица Троицы были обнаружены в глаголе, а мистические числа - в частях речи. Таким образом, аналитические исследования, подобные языковым, стали рассматриваться как открытое поле для фантазии мифологизаторов, а этимология была сведена к системе остроумных каламбуров. *Voluntas* и *voluptas* были выделены, например, как относящиеся к природе *Deus* и *diabolus* соответственно; и, чтобы сделать список полным, *voluntas* был изобретен как атрибут *homo*. Ясно, что на этом пути словесных перебранок интеллект утратил такт, вкус и здравый смысл вместе взятые.

Когда умы ученых были захвачены этими абсурдами, исключая здравый метод, мы не можем удивляться, что античность сохранилась лишь как странный и призрачный сон в народном воображении. Вергилий, единственный классик, сохранивший отчетливую и живую индивидуальность, прошел путь от поэта к философу, от философа к Сивилле, от Сивиллы к магу, пройдя последовательные стадии превращения, по мере того как правда о нем становилась все более тусклой, а способность воспринимать его ослабевала. Составляя основу образования в школах грамматистов и превращенный вульгарным сознанием в волшебника, [16] он ждал на краю темных веков, чтобы взять Данте за руку и провести его, как образец человеческого разума, через царства Ада и Чистилища.

Что касается реальных знаний о латинской литературе, которыми обладали в средние века, то можно вкратце сказать, что Вергилия постоянно изучали и что определенное знакомство с Овидием, Луканом, Горацием, Ювеналом и Статием никогда не было утрачено. Среди прозаиков отрывки из Цицерона использовались в учебных целях; но более широко использовались сборники Боэция, Присциана, Доната и Кассиодора. В двенадцатом веке изучение римского права было возрождено, и схоластический склад ума нашел простор для утонченности в обсуждении дел и составлении пояснений. Однако общих знаний и интеллектуальной симпатии, необходимых для понимания подлинной классики, не хватало; и таким образом случилось, что их место заняли эпитомы и рефераты, а также официальные сборники Западной империи в период ее упадка. Эта безжизненная литература лучше соответствовала скудным интеллектуальным условиям Средневековья, чем шедевры эпохи Августа и Серебряного века.

От греческого языка не осталось абсолютно никаких традиций. [17] Когда средневековые авторы цитируют имена греческих поэтов или философов, это заимствовано из латинских источников; а аристотелевская логика схоластов пришла через латинские переводы,

сделанные евреями из арабских рукописей. Иногда могло случиться так, что западный ученый овладел греческим языком в Константинополе или на юге Италии, где на нем говорили; но это не означало эллинской культуры, и такие знания не были неотъемлемой частью его эрудиции. Греческий был едва ли менее утерян для Европы того времени, чем санскрит в первой половине восемнадцатого века.

Скудость средневековых знаний была, однако, менее серьезным препятствием для развития культуры, чем привычка мышления, частично порожденная христианством, а частично присущая новым расам, которая мешала студентам оценить истинный дух классики. В то время как мистицизм и аллегория господствовали безраздельно, четко очерченная человечность греков и римлян не могла не быть неправильно понята. То немногое, что было известно о них, доходило до студентов туманным и дезориентирующим способом. Такие стихи, как четвертая эклога Вергилия, ценились за то, чего автор не имел в виду, когда писал их; в то время как его истинными интересами совершенно пренебрегали. Против этого ментального заблуждения, этой изначальной косности видения, этой радикальной лжи в интеллекте восстановителям учености приходилось бороться по меньшей мере так же энергично, как против грубого невежества и тупости. Недостаточно было умножать количество книг и открывать кодексы; они должны были научить людей читать их, объяснять их вдохновение, защищать их от предрассудков, защищать их от ложных методов толкования. Очистить разум от фантазий и басен, доказать, что поэзия, помимо ее предполагаемого пророческого значения, восхитительна сама по себе и что историю древних народов, несмотря на язычество, можно использовать для извлечения выгоды и обучения, было первым шагом, который должны были сделать эти пионеры современной культуры. Короче говоря, они должны были создать новую ментальную чувствительность, установив истину о том, что чистая литература напрямую способствует достоинству и счастью людей. Достижением этой революции в мышлении стало великое выступление итальянцев в четырнадцатом и пятнадцатом веках.

В темные века Италия ни в коем случае не обладала культурным превосходством над остальной Европой. Напротив, первая неудачная попытка возрождения образования была предпринята Карлом Великим в Эксе, вторая - императором Фридрихом в Апулии и Сицилии; и хотя романские народы утратили классическую традицию, она все еще в некоторой степени сохранялась мусульманскими династиями. Чем больше мы изучаем историю средневековой учености, тем больше осознаем долг цивилизованного человечества перед арабами за их сохранение и передачу греческой мысли в измененной форме в Европу. Тем не менее, хотя итальянцы сравнительно поздно вышли на поле, их действия были решающими. Ни Карлу Великому, ни Фридриху, ни философии арабских мудрецов, ни не по годам развитой литературе Прованса не удалось сделать для воспитания современного интеллекта то, что сделали Данте и Петрарка — один создал монументальное произведение искусства в стихах, другой привил студентам новый интерес к античности.

Данте ни в каком строгом смысле не принадлежит к истории возрождения науки. "Божественная комедия" завершает средневековые и сохраняет его дух. Она возвышается перед преддверием современной литературы, как одинокая гора у входа в страну, богатую всевозможными ландшафтами. Чтобы познакомиться с его величием, мы должны покинуть знакомые нам поля и леса, подняться на высоты и привыкнуть к более суровому климату. Несмотря на эту изоляцию, влияние Данте было мощным на последующие поколения. Современный ум впервые нашел в нем свой размах и осознал свою свободу; впервые

осмелился и сделал то, что поставило его в один ряд с античностью в искусстве. Более того, многие идеи, которым суждено было сыграть важную роль в грядущем веке, получили от него свое первоначальное выражение. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Данте положил начало движению современного интеллекта во всей его полноте, хотя он и не руководил Возрождением, рассматриваемым как отдельный момент в этой эволюции. Эта служба предназначалась Петрарке.

На центральном водоразделе Европы есть места, где в тишине летнего полудня путешественник может прислушаться к журчанию двух потоков — один спешит вниз, образуя Рейн, другой впадает в Дунай или По. Рожденные под звуки голосов друг друга и вскормленные одними и теми же облаками, которые покоятся на окружающих их утесах, они отныне обречены на все большую разлуку. В то время как один устремится к Северным морям, другой достигнет берегов Италии или Греции и смешается со Средиземным морем. С этими двумя ручейками мы могли бы сравнить Данте и Петрарку, оба родом из Флоренции, оба воспитывались в школах и на знаниях о рыцарской любви. И все же насколько иной была их миссия! Петрарка отмечает начало той великой реки интеллектуальной энергии, которая текла на юг, чтобы возродить культуру древнего мира. Течение гения Данте приняло противоположное направление. Уносимые его могучим потоком, мы посещаем земли и города Средневековья, плывя к бесконечностям, которые средневековый дух разгадал и сделал достоянием человеческой природы.

Говоря здесь о Петрарке, необходимо сосредоточить внимание на его притязаниях считаться апостолом науки, инициатором гуманистического импульса пятнадцатого века. Мы не имеем никакого отношения к его итальянской поэзии. *Стихи*, посвященные мадонне Лауре, затмили славу латинского эпоса, философских рассуждений, посланий, речей, инвектив и диссертаций, которые сделали Петрарку Вольтером его эпохи и на которых, как он думал, будет покоиться его бессмертие. И все же именно эти последние творения его гения, а не *Канцоньерка*, интересуют нас сейчас; и нельзя слишком категорично утверждать, что его оригинальность проявилась в откровении гуманизма современному миру даже в большей степени, чем в стихах, которые наложили свой отпечаток на итальянскую литературу. Предвидеть совершенно новую фазу европейской культуры, истолковать ее дух и определить своей собственной деятельностью направление, по которому она должна развиваться, — это, по правде говоря, более высокое право на славу, чем сочинение даже самых совершенных сонетов. Художник, однако, имеет то преимущество перед пионером интеллектуального прогресса, что его тонкие творения неразрушимы и что его творчество не может быть объединено с творчеством продолжателя. Поэтому Петрарка живет и будет жить в памяти миллионов как поэт Лауры, в то время как только студенты знают, сколь многим мир обязан его гуманистическому пылу.

Поскольку я не могу обойтись без слова "гуманизм" в этой части моей работы, возможно, будет неплохо закрепить смысл, который я буду вкладывать в него. [18] Суть гуманизма заключалась в новом и жизненно важном восприятии достоинства человека как разумного существа, независимо от теологических определений, и в дальнейшем понимании того, что только классическая литература отражает человеческую природу во всей полноте интеллектуальной и моральной свободы. Отчасти это была реакция против церковного деспотизма, отчасти попытка найти точку единства для всего, что было продумано и сделано человеком, в разуме, восстановленном к осознанию своей собственной суверенной способности. Отсюда беззаветная преданность литературе Греции и Рима, характерная для всей эпохи Возрождения. Отсюда и лозунг той эпохи — *Litteræ Humaniores*. Отсюда страсть к древности, овладевающая

мыслящими людьми и заменяющая традиции Церкви новым авторитетом. Отсюда так называемое язычество, на протяжении веков стремившееся поглотить и ассимилировать дух, с их точки зрения, не менее животворящий, чем само христианство. Отсюда настойчивые усилия философов найти точку соприкосновения двух расходящихся вдохновений. Отсюда также крайний антагонизм между гуманистами, или профессорами новой мудрости, и теми бескомпромиссными христианами, которые, подобно Святому Павлу, предпочитали оставаться глупцами ради Христа.

Гуманизмом в этом, самом широком, смысле слова Петрарка обладал интуитивно. Это было так же свойственно его натуре, как музыка Моцарту; так что казалось, что он послан в мир для того, чтобы чистым проявлением врожденных способностей поднять планку для будущих работников. Физически и эстетически, благодаря тонкости своего слуха к словесным гармониям и утонченности своей чувствительности, он был способен угадать то, на проверку чего ушли столетия. Еще мальчиком, задолго до того, как он смог постичь смысл классической латыни, он читал вслух прозу Цицерона, восхищаясь звучной интонацией и сбалансированными периодами стиля мастера. [19] Моральные качества трудолюбия и настойчивости, необходимые для дополнения этих природных дарований, также не были ущербными. Достигнув зрелости, он не жалел сил на сбор рукописей Цицерона, иногда переписывая их собственноручно, иногда нанимая переписчиков, отправляя в дальние уголки Европы, где, как он слышал, можно было найти отрывок из его любимого автора. [20] Его величайшим литературным разочарованием стала потеря трактата Цицерона о Славе, темы, чрезвычайно важной для эпохи Возрождения, которую он одолжил своему наставнику Конвенневолю и которую старик заложил. [21] Хотя он не умел читать по-гречески, он с глубочайшим почтением приветствовал рукописи Гомера и Платона, присланные ему из Константинополя, и призвал Боккаччо посвятить свой гений переводу софокловского поэта на латынь. [22] В этой восприимчивости мелодиям риторической прозы, в этом особом культе Цицерона, в страсти к коллекционированию рукописей и в интуиции, что будущее науки зависит от возрождения изучения греческого языка, Петрарка положил начало четырем наиболее важным моментам классического Возрождения. Он, опять же, был первым, кто понял ценность публичных библиотек; [23] первым накопил монеты и надписи как источники точной исторической информации; первым проповедовал обязанность сохранения древних памятников. Казалось бы, инстинктом гения он предвидел будущее по крайней мере на три столетия и постиг высшую пользу, на которую способна наука.

Пока затронута только внешняя сторона гуманистического инстинкта Петрарки. Насколько полно он обладал ее широким и либеральным духом, показывает неустанная война, которую он вел против формализма, традиций, педантизма и суеверий. Все, что могло помешать свободной игре интеллекта, вызывало у него самую ожесточенную ненависть. Против узких взглядов теологов-схоластов, против бесплодных забот материалистов средневековья, против модных юристов, врачей и астрологов он заявлял о непримиримой враждебности. [24] Эти люди своим ребячеством и лживостью препятствовали естественной деятельности ума; поэтому Петрарка нападал на них. В то же время он распознал освободителей разума по своего рода такту. Хотя он не мог интерпретировать имевшиеся у него шестнадцать диалогов Платона на греческом, он интуитивно понимал, что Платон, в отличие от Аристотеля, станет святым либеральной философии, рассматриваемой им как с точки зрения Фасги. Его энтузиазм по отношению к Цицерону и Вергилию был двояким; в обоих отношениях он доказал, насколько способен формировать вкус и направлять умственные силы своих преемников. Как художник, он различил в их стиле гармонию звука и правильность дикции, благодаря чему латынь могла бы снова стать

языком тонких мыслей и нежных эмоций. Как поборник интеллектуальной независимости, он видел, что, изучая их обширные рассуждения обо всем, что может быть воспринято разумом и воображением, мыслители современной эпохи могли бы сбросить схоластические оковы и вступить в права наследования духовной свободы. Поэзию и риторiku он рассматривал не просто как изящные литературные искусства, но как два главных инструмента, с помощью которых гениальный человек достигает самовыражения, увековечивает качества своей души и накладывает отпечаток своего характера на эпоху. Поскольку реализация личности в высоком и могущественном произведении искусства казалась ему самой благородной целью человека на земле, из этого следовало, что вдохновенная речь поэта и красноречие оратора стали для Петрарки вершиной честолюбия, двуперстным Парнасом, за восхождение на который он боролся всю свою жизнь. [25] Идеалом была литература; но литература подразумевала для Петрарки нечто большее, чем слова и фразы. Недостаточно было сочинять мелодичные стихи или волновать аудиторию хорошо звучащими периодами. Гексаметры эпоса и абзацы речи должны были содержать прочную мысль, быть подлинным выражением души поэта или риторика. Писатель был обязан быть проповедником, открывать истину и делать те истины, которые, по его мнению, были приятны миру. [26] Более того, его жизнь должна была находиться в совершенной гармонии со всем, чему он стремился научить. [27] От чистоты его энтузиазма, искренности его вдохновения зависело будущее благополучие мира, ради которого он трудился. [28] Таким образом, по крайней мере для этого человека искусство письма было священством; и серьезность его призвания сделала его пригодным для того, чтобы стать учителем последующих эпох. Нам нелегко оценить смелость и искренность этих концепций. Многие из них, начиная со времен Петрарки, были преувеличены и сделаны смешными из-за ложных претензий. Кроме того, вся точка зрения была заимствована, а люди неизменно недооценивают то, что, по их мнению, они не могут потерять. Только сравнивая собственную философию литературы Петрарки с тупостью схоластов в период их упадка и со стилистической поверхностностью последующих ученых, мы начинаем понимать, насколько ярким и новаторским был тезис, который он поддерживал.

Имея такое представление о литературе, Петрарка получил стандарт для оценки бесплодной культуры своего века. Он обставлял споры врачей безжизненным повторением бессмысленной болтовни. Один ученый за другим были заняты формальными мелочами. Эрудиция юриста и богослова не открывала ничего плодотворного для сердца или интеллекта; и все было бесполезно, что не исходило прямо из души человека, не обращалось к душе того, кто его слышал. В то же время он читал Отцов Церкви и Священное Писание в новом свете. Августин, некоторые из фраз которого использовались в качестве связующих звеньев в догматической ортодоксии, казался Петрарке уже не простым магистром богословия, а человеком, беседующим с ним через пропасть в восемь веков. В "Исповеди", "исходящей потоком слез", воклюзский поэт угадал родственную натуру; того, кто использовал возвышенное красноречие для выражения жизненных мыслей и страстных эмоций; того, кто, более того, достиг вершины человеческого счастья в единении с Богом. [29] Не менее реальным было понимание им пророков и апостолов Библии. Все слова, которые несли послание его сердцу, были словами авторитета и мощи. *Ipse dixit* Аристотеля или серафического врача не имели для него никакого значения, если только это не касалось его как мужчины. [30] Даже Цицерона и Сенеку, святых философской древности, он осмелился критиковать за то, что они практиковали меньше мудрости, чем проповедовали. [31]

Считая Петрарку первым и, в некоторых отношениях, величайшим из гуманистов, мы обязаны признавать как недостатки, так и хорошие качества, которые он разделял с ними. Останавливаться на них в деталях было бы неблагодарной задачей, если бы не убежденность в том, что его личность произвела слишком сильное впечатление на XIV век, чтобы избежать нашей критики. Мы не можем позволить себе оставить неизученными даже слабости человека, который дал образец своему поколению. Главными среди них можно считать его тщеславие, его стремление заполучить корону поэта, его склонность к лести, его беспокойные переезды с места на место в поисках новых поклонников, его самодовольную болтливость. Это тщеславие, возможно, было неотделимо от положения, которое он занял на пороге современного мира. Едва ли было возможно, чтобы пророк новой фазы культуры не смотрел с презрением на необразованные массы и не верил, что ученость превращает человека в полубога. Изучение классики научило его презирать свой возраст и стремиться к бессмертию; но уверенность в почестях, которых он добивался, могла прийти к нему только из уст его современников. Находясь в конфликте со скукой и мраком предыдущих веков, он почувствовал потребность в новом мотиве, непризнанном церковью и изгнанном из монастыря. Этим мотивом была жажда славы, стремление сделать свою личность вечной в умах людей. Тем временем он был один в мрачной глуши преходящих интересов и низменных целей, где человеческая жизнь была призрачной, и где, когда придет смерть, не останется никаких воспоминаний о том, что было. Мрачность настоящего, контрастирующая со славой прошлого, которое он изучал, и славой будущего, которого он желал, подтверждала его эгоизм. Его имя и известность зависели от его самоутверждения. Стремление добиться известности писательским путем, еще при жизни отвоевать для себя прочное место среди бессмертных стало его лихорадочным побуждением к действию. Он сознавал, насколько глубоко укоренилась в его натуре страсть к известности; и нередко он говорит об этом как о болезни. [32] Христианин внутри него энергично боролся с возрождающимся язычником. Религия научила его отказываться от того, за что его побуждали ухватиться амбиции. И все же он продолжал обманывать себя. Сочиняя диссертации о бесполезности похвал и тщетности славы, он убирал паруса, чтобы поймать ветер народных аплодисментов; и по мере того, как росла его репутация, его желания становились все сильнее. Последние годы его жизни были потрачены на написание посланий к великим людям прошлого, в которых он единственный признавал себе равных, и к потомству, в котором он надеялся наконец встретиться с судьями, достойными его.

Это почти болезненное тщеславие, свойственное темпераменту Петрарки и поощряемое обстоятельствами его жизни, привело к разделению между его практикой и профессией. Он никогда не устал восхвалять одиночество и многие годы своей зрелости фактически провел на пенсии в Воклюзе. [33] Однако он любил уединение только как контраст с Придворным обществом и был бы самым несчастным, если бы мир, принимая его по его собственной оценке, оставил его в покое. Никто не писал более красноречиво о равной дружбе и не проявлял большего рвения к откровенной критике. И все же он допускал к себе немногих, но мнимых поклонников и считал своих литературных противников личными недоброжелателями. Тот же чувствительный эгоизм заставил его принизить славу Данте, в котором он не мог не признать поэта, в высшем смысле превосходящего его самого. [34] Опять же, хотя он жаловался на знаменитость как на препятствие для прилежной работы, он проявлял самый острый интерес, когда задавались вопросы о деталях его жизни. [35] Ничто, если бы мы записали его философские трактаты, не доставило бы ему большего удовольствия, чем жить незамеченным.

Из его писем становится ясно, что он верил, что взоры всего мира прикованы к нему, и что он с жадным аппетитом добивался этого внимания публики.

Эти качества и противоречия характеризуют Петрарку как человека литературы, а не действия. Он принадлежал, по существу, *к роду раздражающих людей*, для которых сфера мыслей, выраженных на бумаге, более ярка, чем мир фактов. Мы можем проследить соответствующую слабость в его главных увлечениях. Неспособный отличить реальность существования от страны грез своего исследования, он приветствовал в Риенци реставратора старого Рима, в то время как своих друзей Колонези клеймил как незваных гостей-варваров. [36] Рим, о котором он читал на страницах Ливия, казался воображению этого провидца все еще живым и могущественным; и при этом он не чувствовал абсурдности обращения к средневековому сброду римлян в высокопарных для Гракха выражениях. [37] В то время как он добивался близости к Корреджи и жил в качестве гостя у Висконти, он осудил этих принцев как тиранов и обратился к императору с просьбой взять бразды правления и подчинить всю Италию своему игу. [38] Следует подчеркнуть, что Петрарка всего лишь разделял заблуждение, характерное для его эпохи. Это верно; но следует обратить внимание на противоречие между его теориями и привычками его жизни. Он не был сторонником гибеллинов, но верил в невозможные идеалы. Его патриотизм был не менее литературным, чем его темперамент. Та же склонность мерить все студенческими мерками заставляла его преувеличивать простое словесное красноречие. Слова, по его мнению, были силой. Цицерон занимал самое высокое место в его глазах, потому что его декламация была самой обильной. Аристотеля, несмотря на его глубокую философию, порицали за недостаток риторики. [39] Во всех изученных произведениях Петрарки мы можем проследить этот недостаток стилистического идеала. Хотя он никогда не пишет без какого-либо твердого зародыша мысли, он любит играть фразами, создавая эффект нереальности и кажущийся подражателем казуистической ловкости. [40]

Приведенный выше анализ был необходим, поскольку Петрарка стал, так сказать, образцом для своих последователей в области науки. Итальянский гуманизм никогда не терял мощного впечатления от его гения, и ценность его влияния можно будет оценить только тогда, когда придет время подводить итоги общего достижения Возрождения. [41] Остается сожалеть, что слабостям его характера, его личным претензиям и литературному идеализму было легче подражать, чем его силе. Эгоизм Петрарки сильно отличался от наглого тщеславия Филельфо и педантичного хвастовства Альчиато. Его энтузиазм по отношению к древности также не вырожден, как у них, в простое некритичное и раболепное поклонение. Его гуманизм был одновременно возвышеннее и масштабнее. Он никогда не забывал, что христианство было шагом вперед по сравнению с язычеством и что опытный литератор должен овладеть культурой древних, не теряя добродетелей и не принося в жертву надежды христианина. Если бы только гуманисты эпохи Возрождения могли сохранить эту точку зрения в неприкосновенности, они избежали бы худшего зла того времени и обеспечили бы более благородное освобождение современного разума. Петрарка создал для себя символ веры, состоящий из римского стоицизма и христианской доктрины, адаптировав заповеди Евангелий и учение Отцов Церкви, а также этику Цицерона и Сенеки, к своим собственным потребностям. Здесь он продемонстрировал свободу своего гения и проложил путь самым блестящим мыслителям грядущих столетий. Ошибкой его преемников была тенденция отступать от этой высокой позиции, принимать общепринятую веру с циничной легкостью, в то время как втайне они склонялись к небрежности, заимствованной из изучения классики. Отделяя себя от традиции, не проявляя высокомерного духа бунта против авторитета, Петрарка установил принцип,

согласно которому люди должны направлять свои души с помощью двойного света культуры и совести. Его последователи были слишком готовы создавать культуру вообще и тем самым упустили возможность обосновать рациональную философию жизни на прочной основе для современного мира. Петрарка поставил своей искренней целью быть как морально, так и интеллектуально самим собой; и хотя он часто терпел неудачу на практике — если он поддавался плотской слабости, восхваляя трезвость — если он стремился к дурной славе, заявляя о своем безразличии к славе - если он принимал мечты за реальность, а слова за факты — все же идеал, который он предлагал себе и красноречиво проповедовал своим современникам, был новым и возвышенным. По прошествии пяти столетий мало кто еще вышел за его пределы. Даже Гете, например, не может претендовать на превосходство гуманизма над Петраркой, разве что по праву своего участия в научном духе.

Поэтому мы вправе приветствовать Петрарку как Колумба нового духовного полушария, первооткрывателя современной культуры. То, что он не знал греческого, что его латинские стихи были безжизненными, а стиль его прозы далек от чистоты, что его вклад в историю и этику был вытеснен и что его послания теперь читают только антиквары, не может умалить его притязаний на этот титул. От него исходило вдохновение, необходимое для того, чтобы пробудить любопытство и стимулировать рвение к знаниям. Если бы не его вмешательство в четырнадцатом веке, возможно, Возрождение Образования и всего, что оно подразумевает, было бы отложено слишком поздно. Петрарка умер в 1374 году. Греческая империя была разрушена в 1453 году. Между этими датами Италия вернула себе греческую классику; но взялись бы итальянцы за этот труд, если бы Петрарка не проповедовал привлекательность свободных наук или если бы он не создал школу учеников во Флоренции, остается более чем сомнительным. Таким образом, мы узнаем в нем одного из тех героев, о чьем отношении к духу веков Гегель рассуждал в своей "Философии истории". Петрарка, предвосхитив тенденции Возрождения, создал интеллектуальную среду, необходимую для его эволюции. [42] Поэтому мы не вправе утверждать, что он сам не был продуктом уже существующих духовных сил своего века. Огромное влияние, которое он сразу же оказал, в то время как Данте, хотя и был одарен гораздо более сильной индивидуальностью, оставался сравнительно бездействующим, доказывает, что эпоха была специально подготовлена к восприятию его вдохновения.

То, что остается сказать о первом периоде итальянского гуманизма, почти полностью касается людей, которые непосредственно или косвенно ощутили влияние гения Петрарки. [43] Его тень простирается на целую эпоху. Подстрекаемый своей блестящей известностью, Боккаччо, будучи еще молодым человеком, начал читать классических авторов, оплакивая годы, которые он потратил впустую на коммерцию и изучение права, чтобы угодить своему отцу. Из того, что сам поэт "Декамерона" рассказал нам о происхождении своего литературного энтузиазма, следует, что пример Петрарки был решающим в определении его курса. Однако есть еще одна история, переданная его согражданином Виллани, настолько характерная для той эпохи, что опустить ее в этом месте значило бы пожертвовать одной из самых привлекательных легенд в истории литературы. [44] "После долгих странствий по многим странам, то здесь, то там, когда ему, наконец, исполнилось двадцать восемь лет, Боккаччо, по настоянию своего отца, поселился в Неаполе в Беседке. Случилось так, что однажды он прогулялся в одиночестве ради удовольствия и пришел к тому месту, где похоронен прах Вирджила. При виде этой гробницы он надолго впал в задумчивое восхищение человеком, чьи кости она покрывала, с задумчивой душой размышляя о славе поэта, пока его мысли не нашли выход в сетованиях на собственную завистливую судьбу, из-за которой он был вынужден против своей воли посвятить себя

коммерции, которую он ненавидел. Внезапная любовь к пиерийским музам пронзила его сердце, и, вернувшись домой, он оставил ремесло, с жаром посвятив себя изучению поэзии; в чем очень скоро, чему в равной степени способствовали его благородный гений и горячее желание, он добился замечательных успехов. Когда его отец заметил это и понял, что небесное вдохновение в его сыне сильнее отцовской воли, он, наконец, согласился на его учебу и помогал ему, как мог, хотя сначала пытался заставить его обратить свои таланты к каноническому праву".

Преклонение Боккаччо перед героем не только августейшего Вергилия, но и Данте, учителем его юности и кумиром зрелого возраста, является самой приятной чертой характера, которая своей сердечностью и мягкостью не может не вызывать симпатии. [45] Когда обстоятельства свели его с Петраркой в личных отношениях, он перенес все почтение своей пылкой души на единственного живого человека, который казался ему достойным наследником древней славы. [46] Петрарка стал руководителем своей совести, мастером своих исследований, формирователем своих мыслей по самым важным вопросам философии литературы. Дружба, установившаяся между поэтом из Воклюза и возлюбленным Фьяметты, длилась более двадцати лет и была прервана только смертью первого. На протяжении всего этого долгого промежутка времени Боккаччо сохранял позицию скромного ученого, в то время как в своих опубликованных работах "Генеалогия Деорум" и "Сопрано и первые седины Капитолия", "Ад Данте" он неизменно отзывался о Петрарке как о своем отце и учителе, чуде века, божественном поэте, которого лучше причислить к гигантам прошлого, чем к пигмеям бесплодного века. Слава, которой пользовался Петрарка, почести, которыми его осыпали короли и принцы, его собственное тщеславие и даже расхождения между его привычками и теориями не вызвали горечи в более скромной натуре Боккаччо. Ученику было достаточно использовать свои таланты для распространения взглядов своего учителя; и таким образом влияние Петрарки передалось Флоренции, где Боккаччо продолжал проживать. [47]

Следуя совету Петрарки, Боккаччо в зрелом возрасте занялся изучением греческого языка. Петрарка так и не овладел этим языком по-настоящему, хотя он получил несколько уроков в Авиньоне у Варлаама, калабрийца, который поселился в Византии и пытался преуспеть в Италии и Греции, поочередно совершая акты отступничества, а затем в Венеции у Леонтия Пилата. [48] Возможности изучения греческого языка, которыми пользовался Боккаччо, также были очень скудны, и его владение идиомой было поверхностным. Тем не менее, он значительно продвинулся вперед по сравнению с любым из своих предшественников, так что он заслуживает того, чтобы его называли первым греком современного мира. Леонтий Пилат, южный итальянец и ученик Варлаама, который, как и его учитель, переехал в Византию и отрекся от латинской веры, прибыл в Венецию по пути в Авиньон в 1360 году. Боккаччо уговорил его посетить Флоренцию, принял в своем доме и добился назначения профессором греческого языка в университете. Затем он всерьез принялся за работу над текстом Гомера. Однако невежество учителя было едва ли меньшим, чем у его ученика. В то время как Леонтий неплохо владел византийским греческим, его владение латынью было очень ограниченным, а его природная глупость могла сравниться только с его дерзкими претензиями. О классических обычаях он, по-видимому, ничего не знал. Глупость его учителя вряд ли могла ускользнуть от внимания Боккаччо. Действительно, и он, и Петрарка описывали Леонтия как грязного циника с грязной бородой и спутанными волосами, угрюмого по характеру и отвратительных личных

привычек, который скрывал бычье невежество под львиной шкурой хвастовства. Однако необходимо было извлечь из него максимум пользы, поскольку греческого языка в Северной Италии больше нигде нельзя было добыть, а Боккаччо, похоже, и не думал о поездке в Византию в поисках того, чего он хотел. [49] Боккаччо, соответственно, с ненасытной жадностью пил мутный поток псевдоучения и лжи, который лился из уст этого человека. Бессмыслица, которую ему навязывают для удовлетворения его жажды знаний, лучше всего может быть понята из следующих этимологий. Ἀχλλεύς произошло от ἄ и χιλός, "без корма". [50] Имена Муз дали толчок к этим необычным объяснениям: [51]— Мельпомена происходит от *Мелемпио комена*, что означает *пристальный взгляд на медитацию*; Талия - это то же самое, что *Титонлия* или *познание козы жермини*; Полигимния - через *Polium neetan* - это то же самое, что *дело чьей памяти*; Эрато становится *Еврокоменом* или *трубадуром сравнения*, а Терпсихора описывается как *любительница любовных утех*.

Таков был батос, достигнутый эрудицией в Византии. И все же Боккаччо использовал, насколько мог, свои презренные материалы. Под диктовку Леонтия он написал "Илиаду" и "Одиссею" на латыни; и это был первый перевод Гомера для современных читателей. Рукопись, отправленная Петрарке, была, как мы уже видели, встречена с энтузиазмом. [52] Этот момент в истории науки настолько запоминающийся, что я могу быть извинен за заимствование выдержки Бальделли из древней копии автографа Боккаччо. [53] Ликаон обращается к Ахиллесу со своей последней молитвой:—

Genu deprecor te Achilles: tu autem venerare et me miserere.
Vada Servus. Jove genite venerabilis.
Penes enim te primo gustavi Cereris farinam,
Die illo, quando me cepisti in bene facto viridario;
Et me transtulisti procul ferens patreque amicisque
Lemnon ad gloriosam. Hecatombium autem honorem inveni,
Nunc autem læsus ter tot ferens. Dies autem mihi est
Hæc duodecima, quando ad Ilion veni
Multa passus. Nunc iterum me in tuis manibus posuit
Fatum destructibile. Debeo odio esse Jovi patri,
Qui me tibi iterum dedit, medio cuique, me mater
Genuit Lathoi, filia Altai senis.

Только твердо помня о том, что такие люди, как Петрарка и Боккаччо, два главных мастера итальянской литературы, ценили этот жалкий материал как бесценное сокровище, мы можем справедливо представить, насколько полностью был утрачен греческий язык и каких усилий потребовалось, чтобы вернуть его современному миру.

Неутомимое трудолюбие было большой заслугой Боккаччо в студенческие годы. Он переписал все сочинение Теренса своими собственными руками и продемонстрировал реальное понимание преимуществ, которые можно получить от критического сравнения текстов. В своих мифологических, географических и исторических сборниках он завещал потомкам любопытную массу разнообразных знаний, составив, так сказать, первые словари биографии и античности для современных ученых. [54] Он был далек от того, чтобы разделять оригинальность гуманистического идеала Петрарки, в лучшем случае он оставался кропотливым летописцем

фактов и анекдотов. Автор "Декамерона", столь богато одаренный юмором, пафосом и поэтической фантазией, когда он облачился в студенческую мантию, стал кропотливым пионером антикварных исследований.

Боккаччо красноречиво поддержал одну очень важную часть программы Петрарки. Четырнадцатая и пятнадцатая книги "Генеалогии бога" образуют то, что можно назвать первой защитой поэзии, составленной в честь своего собственного творчества поэтом современного мира. В них Боккаччо излагает теорию, уже набросанную в общих чертах Петраркой. Мы видели, что худшее препятствие на пути к гуманистической культуре кроется не столько в невежестве, сколько в неправильных представлениях, основанных на предрассудках и щепетильности. Понятие изящной литературы как возвышающего и очищающего воздействия было утрачено. Восстановить его было целью этих первых гуманистов. Под поэзией, утверждает Боккаччо, мы должны понимать все, что весомое в аргументации, глубокое в доктрине и живое в воображении гениальный человек может создать с сознательным искусством в прозе и стихах. Поэзия - это наставление, передаваемое с помощью аллегорий и художественной литературы. Богословие само по себе, рассуждает он, является формой поэзии; даже Святого Духа можно назвать Поэтом, поскольку Он использовал проводник символа в видениях пророков и Откровении Святого Иоанна. [55] К таким натянутым аргументам апостол культуры прибегал, чтобы убедить своих слушателей и вытащить литературу из Аверна средневекового забвения. Однако мы не должны воображать, что Боккаччо сам был выше столь ребяческой точки зрения. Аллегория казалась ему необходимым условием искусства: только безумец мог отрицать скрытый смысл "Георгики" и "Энеиды"; [56] в то время как стихи Данте и Петрарки были обязаны своей ценностью христианским тайнам, которые они окутывали. Поэт, согласно этой средневековой философии литературы, был мудрецом и учителем, облакающим свои величественные смыслы в восхитительные вымыслы. [57] Хотя простые люди презирали его как лжеца и фабриканта лжи, на самом деле он был пророком, произносящим свои мрачные речи в притчах. Как глупы, следовательно, рассуждает апологет, враги поэзии — софистические диалектики и алчные юристы, которые никогда не ступали на Фебийский холм и которые презирают источники Геликона, потому что в них не течет золото! Гораздо хуже положение тех монахов и лицемеров, которые обвиняют божественное искусство в безнравственности и грубости, вместо того чтобы читать между строк и искать смысл, донесенный до понимания под покровом аллегии. Поистине, продолжает Боккаччо, мы поступаем правильно, избегая заблуждений язычников; нельзя отрицать и того, что поэты древности писали стихи, отвратительные христианскому духу. Но, хвала Иисусу Христу, вера восторжествовала. Будучи сильным в доктринах Евангелия и Церкви, ученик может смело приближаться к шедеврам классической литературы, не опасаясь соблазнов Сирены.

Этот аргумент, составляющий суть "Апологии поэзии" в "Генеалогии бога", повторяется в "Комментарии к Данте". Он вдвойне интересен, поскольку показывает популярное мнение о поэзии и предрассудки, которые Боккаччо считал необходимым опровергнуть, а также содержит полное изложение аллегоризирующих теорий, с которых начался гуманизм. В течение некоторого времени после смерти Боккаччо приведенные выше параграфы снабжали поборников культуры оружием, которое они могли использовать против своих церковных и схоластических противников; и только после того, как гуманизм восторжествовал, аллегорическая интерпретация древних была окончательно оставлена.

Независимо от своего вклада в науку, Боккаччо занимает видное место в истории Возрождения благодаря новому духу, который он привнес в вульгарную литературу. Он был первым, кто откровенно стремился оправдать удовольствия плотской жизни, чей темперамент, не отягощенный аскетизмом, находил родственный элемент в любовных легендах древности. Романы Боккаччо с их прекрасными садами и солнечным небом, прекрасными женщинами и роскошными любовниками образовали переход от рыцарства ранних итальянских поэтов к чувственности Беккаделли и Понтано. Он подготовил нацию к литературному и художественному язычеству, бессознательно лишив мысли и чувства их духовного возвышения. Данте сделал весь мир единым во Христе. Петрарка обучал человечество в лекционных залах римских мудрецов и на церковных соборах. Земной рай чувственного наслаждения, где все было желанно и утонченно, довольствовал поэта "Фьяметты" и "Филострато". Блаженному видению "Божественной комедии", "Трионфо делла Мorte" на смену пришло "Любовное видение" — обзор человеческой жизни, в котором Боккаччо начинает с обращения к Богине Венере и заканчивает земной любовью, *Il Sior di tutta pace*.

Имя, данное Боккаччо современниками, *Джованни делла Транквиллита*, в достаточной степени указывает на его мирный темперамент. На самом деле он был ученым, работающим в своем кабинете и вносящим свой вклад в эрудицию своего времени своими трудами. Другой ученик Петрарки, Джованни Мальпагино, названный по месту своего рождения Джованни да Равенна, оказывал более активное личное влияние на судьбы науки. Еще в юности он работал у Петрарки секретарем и помощником. Его общие способности, четкий почерк и энтузиазм к учебе сначала порекомендовали его поэту, который использовал его для копирования рукописей и упорядочивания своих знакомых букв. В ходе этой работы Иоанн Равеннский сам стал образованным человеком, приобретя более тонкое чувство латыни, чем любой другой ученый его времени. Кое-что от священного огня он также перенял у Петрарки, так что в зрелом возрасте сами недостатки его натуры стали инструментом распространения по всей Италии страсти к античности. Он не мог долго довольствоваться тем, что был даже писцом Петрарки. Непреодолимое беспокойство побуждало его искать приключений во внешнем мире, общаться с людьми и завоевывать славу, о которой он всегда читал. Петрарка, неспособный понять, что есть большая честь, чем быть его спутником, обращался с этим амбициозным учеником как со своим ровесником. Последовала ссора. Джованни покинул дом своего благодетеля и отправился попытать счастья. Не вдаваясь в подробности превратностей его карьеры, достаточно упомянуть, что нужда и невзгоды вскоре заставили его вернуться к Петрарке; что им снова овладел бродячий порыв и что в течение сезона он занимал пост канцлера в маленьком княжестве Каррара. [58] Однако единственное, чего он не мог вынести, — это рутины постоянной работы. Таким образом, мы обнаруживаем, что он покинул двор Маласпини и посвятил себя более подходящей работе странствующего профессора. Его потрясающая память, позволяющая ему сохранять слово в слово тексты авторов, которые он читал, оказала ему неоценимую услугу в этой карьере. Его страстный поэтический темперамент делал его способным пробуждать в молодых душах энтузиазм к литературным занятиям. Джованни да Равенна был фактически первым из тех бродячих гуманистов, которыми мы займемся в следующих главах и самым выдающимся примером которых был Филельфо. Флоренция, Падуя, Венеция и многие другие города Италии приняли латиниста, репутация которого теперь росла с каждым годом. В каждом из этих городов последовательно он читал лекции о Цицероне и римских поэтах, делаясь знаниями, которые приобрел в кабинете Петрарки, и передавая своей аудитории вдохновение, которое он получил от своего учителя. Сформированную таким

образом школу столетие спустя сравнили с троянским конем, из которого вышла группа героев, которым суждено было овладеть столицей классического образования. Как писатель, он создал мало такого, что стоило бы большего, чем мимолетное внимание. Его настоящая заслуга заключалась, как засвидетельствовал Лионардо Бруни, в его способности пробуждать страсть к чистой литературе, и особенно к изучению Цицерона. Среди его самых выдающихся учеников можно упомянуть Франческо Барбаро, Палла дельи Строцци, Роберто де Росси, Франческо Филельфо, Карло Марсуппини, Поджо Браччолини, Лионардо Бруни, Гуарино да Верона, Витторино да Фельтре, Амброджо Траверсари, Огнибене да Виченца и Пьера Паоло Верджеро. Этот список, как станет ясно из продолжения моей работы, включает почти всех тех ученых, которые посвятили свою энергию эрудиции в Венеции, Флоренции, Риме, Мантуе, Ферраре и Перудже в пятнадцатом веке. Таким образом, Джованни да Равенна заслуживает того, чтобы его чтили как связующее звено между эпохой Петрарки и эпохой Поджо, как сосуд, выбранный для передачи священного огня гуманизма Дворам и Республикам Италии. Никто, кроме странника, *vagus quidam*, как Петрарка наполовину с презрением, наполовину с горечью называл своего протеже, не мог так эффективно вести работу по распространению. [59]

Имя следующего ученика, привлечшего наше внимание, - ученика Петрарки, - еще раз возвращает нас во Флоренцию. Луиджи Марсигли был монахом августинского ордена Святого Спирито. Петрарка, заметив его выдающиеся способности, посоветовал ему заняться специальным изучением теологии и выступить на ристалище как защитник христианства от аверроистов. [60] Под именем аверроистов в четырнадцатом веке были объединены все вольнодумцы, которые подвергали сомнению фундаментальные доктрины Церкви, сомневались в бессмертии души и использовали свою изобретательность в диалектике, по меньшей мере столь же тривиальной, как у схоластов, но направленной совсем на другую цель. [61] Петрарке не нравилось отсутствие у них либеральной культуры так же сильно, как ему претило их притворное нечестие. Глупый материализм, который они исповедовали, их вопиющее легкомыслие и праздная претензия на естественнонаучность, которой они гордились, рассматривались им как многочисленные препятствия на пути к его собственному идеалу гуманизма. Он видел в них лишь очередную группу схоластических спорщиков, худших, чем теологи, поскольку они отвергли Христа. Выступая против Аверроуза, "бешеной собаки, которая лаяла на все священное и Божественное", Петрарка поэтому стремился стимулировать молодого Марсигли. Однако Марсигли, хотя и разделял уважение Петрарки к человеческой культуре, похоже, сочувствовал смелости и свободе предполагаемых им противников. Монастырь Святого Спирито стал под его влиянием центром ученого общества, которое регулярно собиралось там для диспутов. Выбранная для обсуждения тема была вывешена на стене дискуссионного зала, причем метафизические и этические темы были наиболее частыми темами для обсуждения. [62] Среди членов кружка, которые оттачивали свой ум в этом виде диалектики, мы находим Колуччо де Салютати, Роберто де Росси, Никколо де Никколи и Джанноззо Манетти. Влияние Марсигли на формирование их характера, несомненно, было сильным. Поджо в своей надгробной речи по Никколо де Никколи сообщает нам, что "дом Марсигли часто посещали выдающиеся молодые люди, которые стремились подражать его жизни и привычкам; более того, это было пристанище лучших и благороднейших бюргеров этого города, которые стекались к нему со всех сторон, как к некоему оракулу более чем человеческой мудрости". [63] Его интеллектуальная острота, солидная эрудиция и подкупающее красноречие проявились в нравоучительных рассуждениях о Вергилии, Цицероне и Сенеке. Таким образом, его заслуга заключалась в том, что он объединил

диалектический метод и смелый дух аверроистов со здравым смыслом и вежливой культурой недавно открытых гуманитарных наук. Монастырь Святого Спирито следует упомянуть как первую из тех многочисленных частных академий, которым впоследствии было суждено столь многим быть обязанными свободомыслию и учености Италии.

Моей целью в этой главе является показать, как гуманистическая наука, начиная с Петрарки, проникла во все сферы образования и начала пронизывать интеллектуальную жизнь итальянцев. Теперь мы должны заметить его вторжение в сферу политики. Петрарка умер в 1374 году, Боккаччо - в 1375-м. Последняя дата также является датой вступления Колуччо де Салютати в должность канцлера Флоренции. Салютато, другу Боккаччо и ученику Марсигли, признанному поклоннику Петрарки и переводчику Данте на латинские стихи, было суждено оказать значительное влияние в своем собственном отделе как стилисту. Прежде чем на сорок шестом году жизни его призвали исполнять обязанности секретаря синьории Флоренции, он уже приобрел знания и впитал дух своего времени. Он был известен как прилежный коллекционер рукописей и популяризатор изучения греческого языка, как писатель по мифологии и морали, как оратор и другой автор. [64] Теперь его таланты должны были быть сосредоточены на более важном деле Флорентийской республики; но изучение античности заставило его по-новому взглянуть на свои обязанности и политические отношения государства, которому он служил. Во время войн, которые велись при Григории XI. и при Висконти, его перо никогда не сидело сложа руки. Впервые он привнес в публичные документы серьезность стиля и мелодичность фразы, которым научился в школе классических риториков. Эффект, произведенный этим литературным государственным деятелем, столь же элегантным в авторстве, сколь и утонченным в ведении дел, можно оценить по достоинству, только если вспомнить, что итальянцы теперь созрели для того, чтобы ощутить влияние риторики, и были слишком готовы придавать значение словесной изобретательности. Говорят, Джан Галеаццо Висконти заявил, что Салютато своим стилем причинил ему больше вреда, чем отряд наемников. [65] Послания, депеши, протоколы и манифесты, составленные их канцлером для флорентийских приоров, были распространены по всей Италии. Прочитанные и скопированные секретарями других государств, они сформировали образцы нового государственного красноречия. [66] Элегантная латиница стала необходимым условием публичных документов, а фразы Цицерона отныне считались незаменимыми инструментами дипломатического арсенала. Таким образом, доверенные должности в Папской курии, дворы деспотов и канцелярии республик были открыты для профессиональных гуманистов. В следующую эпоху мы обнаружим, что ни принцы, ни папы, ни приоры не могли обойтись без услуг опытных стилистов.

Сосредоточивая внимание на этом главном вкладе Салютато в итальянскую науку, я не должен упустить из виду, пусть и кратко, покровительство, которое он оказывал во Флоренции. И Поджо Браччиолини, и Лионардо Бруни были обязаны своим продвижением его интересу. [67] Джакомо да Скарпария, первый флорентинец, посетивший Византию с целью изучения греческого языка, получил от него самое теплое поощрение вместе с комиссией за покупку рукописей. Его совместной с Паллой дельи Строцци деятельностью было обусловлено открытие кафедры греческого языка во Флорентийском университете. Это рвение распространялось не только на живых. Он сочинил Жизнеописания Данте, Петрарки и Боккаччо, перевел часть "Божественной комедии" на латынь для ее более широкого распространения в ученом мире и добился публикации "Африки" Петрарки. [68] Когда прославленный канцлер скончался в 1406 году в возрасте семидесяти шести лет, его удостоили публичных похорон; на его чело

возложили корону поэта, произнесли панегирическую речь и воздвигли ему памятник в Кафедральном соборе. [69]

То, чего Салютато добился для стиля публичных документов, Гаспарино да Барцицца добился для фамиллярной переписки. После нескольких лет преподавания в Венеции и Падуе он был вызван в Милан в 1418 году Филиппо Марией Висконти, который приказал ему открыть школу в этой столице. Гаспарино специально изучал письма Цицерона и заставлял своих учеников подражать им как можно точнее, формируя таким образом искусство беглого письма, известное впоследствии как *ars familiariter scribendi*. Эпистолография в целом, рассматриваемая как раздел изящной литературы, занимала всех ученых эпохи Возрождения и имела то преимущество, что устанавливала связь между учеными людьми в разных частях Италии. Поэтому мы признаем в Гаспарино зачинателя, после Петрарки, чрезвычайно важной отрасли итальянской культуры. Когда это достигло зрелости, кульминацией стало жеманство чичероновских пуристов. Следует понимать, что ни Салютато, ни Гаспарино не достигли настоящего лоска или свободы стиля. Даже по сравнению с латиноамериканством Поджио их стиль тяжеловесен и неотесан; в то время как стиль Поджио кажется варварским рядом с стилем Полициано, а Полициано, в свою очередь, уступает пальму первенства в простой корректности Бембо. Вкус итальянцев формировался лишь постепенно, и эта легкость была приобретена при написании на утраченном языке. Тот факт, что средневековая латынь все еще использовалась в юридических документах, в разговорах, в церковных учреждениях и в богословских трудах, которые составляли основу всех библиотек, препятствовал восстановлению классического стиля. Когда итальянцы наконец научились шлифовать прозу, им было легко передать это искусство другим нациям; в то время как насмехаться над их педантизмом, как это делал Эразм, не составляло большого труда. К тому времени их скрупулезная и озабоченная забота о чистоте формулировок угрожала интересам либерального образования.

До сих пор, за исключением только "Греческих исследований" Боккаччо, мне приходилось проследивать распространение латинских букв и привлекать особое внимание к культу Цицерона в Италии. Теперь необходимо упомянуть о появлении человека, который сыграл в возрождении науки лишь вторую роль после Петрарки. Мануил Хрисолорас, византиец благородного происхождения, прибыл в Италию во время понтификата Бонифация IX, которому император Палеолог поручил миссию по вооружению христианских государств против турок. Как и все греки, посетившие Западную Европу, Хрисолорас впервые приземлился в Венеции; но Республика Лагун не понимала секрета и не чувствовала необходимости удерживать этих перелетных птиц. Через несколько месяцев они почти неизменно переезжали во Флоренцию — настоящий центр интеллектуальной жизни Италии. Как только стало известно, что Хрисолорас, пользовавшийся славой самого образованного и красноречивого эллиниста своего времени, прибыл со своим спутником Деметриосом Кидониосом в Венецию, два знатных флорентийца, Роберто де Росси и Джакомо д'Анджело да Скарпария, отправились навестить его. Пребывание греческих послов в Италии по этому случаю было весьма кратким; они обнаружили, что с политической точки зрения они ничего не могут добиться. Но Джакомо да Скарпария отправился в их обществе в Византию, в то время как Роберто де Росси вернулся во Флоренцию,

полный впечатления, которое произвели на него эрудированные философы. Отчет, который он сделал своим согражданам, пробудил страстное желание у Паллы дельи Строцци и Никколо де Никколи лично привезти Хризолора во Флоренцию. Их настоятельные обращения к синьории привели к приглашению Хрисолораса в 1396 году занять греческую кафедру в университете. Ежегодная стипендия в размере 150 золотых флоринов, впоследствии увеличенная до 250, была назначена для его содержания. Это обязательство обеспечило будущее греческой эрудиции в Европе. Заслуга в успешном завершении дела принадлежит главным образом Палле дельи Строцци, о котором Веспасиано писал: "Поскольку во Флоренции очень хорошо знали латинскую письменность, но не знали греческой, он решил, что этот недостаток должен быть исправлен, и поэтому сделал все, что мог, чтобы Мануэль Гризолора посетил Италию, используя для этого все свое влияние и оплатив значительную часть понесенных расходов". [70] Мы, однако, не должны упускать из виду ту долю, которую Колуччо Салутато, [71] своим влиянием на синьорию и Никколо де Никколи, интересом, который он проявлял к студия Uffiziali dello также может претендовать. Среди слушателей этого первого настоящего учителя греческого языка во Флоренции были Палла дельи Строцци, Роберто де Росси, Поджо Браччолини, Лионардо Бруни, Франческо Барбаро, Джанноццо Манетти, Карло Марсуппини и Амброджо Траверсари — некоторые из них были восемнадцатилетними молодыми людьми, другие старыми и седовласыми, почти все они были знатоками латыни Джованни да Равенна. Флоренция была не единственным городом, получившим образование от Хризолора. Он открыл школы в Риме, Падуе, Милане и Венеции, так что его влияние как странствующего профессора было, по крайней мере, равно влиянию Джованни да Равенны.

Импульс, переданный Хрисолорасом изучению античности, и благородный энтузиазм его ученых к чистой литературе, лучше всего можно понять из отрывка в "Комментариях" Лионардо Бруни, сокращенный перевод которого приводится ниже: [72]—"Литература в этот период сильно разрослась в Италии, поскольку знание греческого языка, прерванное на семь столетий, возрожденный. Хрисолор из Византии, человек благородного происхождения и хорошо разбиравшийся в греческой литературе, принес нам знания греческого языка. В то время я изучал гражданское право, хотя и не был плохо сведущ в других науках; ибо по натуре я страстно любил учиться и не прилагал особых усилий к диалектике и риторике. Поэтому, при появлении Хрисолора, я был вынужден остановиться в своем выборе жизни, видя, что я считал неправильным отступать от закона, и все же я считал преступлением упускать такой важный случай изучения греческой литературы; и часто я рассуждал сам с собой следующим образом: "Может ли быть так, что ты, когда ты можешь смотреть на Гомера, Платона и Демосфена вместе с другими поэтами, философами и ораторами, о которых говорится столько великих и чудесных вещей, и можешь беседовать с ними, и получать их наставления?" восхитительное учение — неужели ты покинешь самого себя и пренебрегешь возможностью, предоставленной тебе Богом? За семьсот лет никто во всей Италии не овладел греческими буквами; и все же мы признаем, что вся наука основана на них. Действительно, в каждом городе есть десятки докторов гражданского права; но если убрать этого единственного учителя греческого, ты не найдешь никого, кто мог бы тебя учить. Покоренный, наконец, этими рассуждениями, я отдался Хрисолору с такой страстью, что то, что я получал от него днем в часы бодрствования, занимало мой разум ночью в часы сна".

Серьезность этого абзаца характерна для всего периода. Ученые, собиравшиеся в аудиториях Хрисолораса, считали, что греческие тексты, ключ к которым он один предоставил, содержат те элементы духовной свободы и интеллектуальной культуры, без которых цивилизация

современного мира была бы невозможна. Они также не ошиблись в том, что тогда было скорее предположением, чем уверенностью. Изучение греческого языка означало рождение критики, сравнения, исследования. Систематическим, основанным на невежестве и суевериях, было суждено уступить ему дорогу. Изучение греческого языка открыло философские горизонты далеко за пределами мира грез церковников и монахов; оно стимулировало ростки науки, выдвинуло новые астрономические гипотезы и косвенно привело к открытию Америки. Изучение греческого языка возродило чувство прекрасного в искусстве и литературе. Она подвергла анализу символы веры христианства, язык Евангелий, учение Святого Павла и положила начало новой эре библейских исследований. Если это правда, поскольку писатель, не менее трезвый в своей философии, чем красноречивый в своем языке, недавно заявил, что "кроме слепых сил природы, в этом мире не движется ничего, что не было бы греческим по своему происхождению", мы вправе рассматривать точку соприкосновения между греческим учителем Хрисолором и его флорентийскими учениками как один из самых важных кризисов в истории цивилизации. Косвенно итальянский интеллект до сих пор ощущал эллинское влияние через латинскую литературу. Теперь он был близок к тому, чтобы непосредственно ощутить это влияние в результате фактического изучения шедевров аттических авторов. Мир больше не должен был оставаться в неведении относительно этих "вечных утешений" человеческой расы. Переписчик больше не мог опускать греческие цитаты из своего латинского текста с упрямым рычанием тупого самодовольства - *Græca sunt, следовательно, non legenda*. Девиз следовало бы заменить на предостерегающий возглас для церковной власти, находящейся на грани распада — *Græca sunt, ergo periculosa*: поскольку возрождающаяся вера в человеческий разум, возрождающаяся вера в достоинство человека, стремление к красоте, свободе, дерзости и страстности эпохи Возрождения получили от изучения греческого языка свой самый сильный и жизненный импульс.

ГЛАВА III

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ГУМАНИЗМА

Состояние университетов Италии—Болонья—Высшие школы, основанные на ней—Неаполь при Фридрихе II.—При Анжуйском доме—Феррара—Пьяченца—Перуджа—Рим—Пиза—Флоренция—Императорские и Папские хартии—Иностранные студенты—Профессорский состав—Предметы, преподаваемые в средних школах—Место, отведенное гуманизму—Оплата профессоров красноречия—Франческо Филельфо—Гуманисты, менее влиятельные в университетах—Метод гуманистического преподавания—Книжный рынок перед печатью—Средневековые библиотеки—Стоимость рукописей—*Стационарии* и *пекарии*—Халатность переписчиков—Обнаружение классических кодексов—Боккаччо в Монте—Кассино—Поджио в Констанце—Монастырь Святого Галлена—Письмо Бруни Поджио—Рукописи, обнаруженные Поджо—Николай Тревский—Коллекция греческих рукописей—Ориспа, Филельфо и Гуарино—Руины Рима—Их влияние на гуманизм—Данте и Виллани—Риенци—Его идеалистический патриотизм—Тщеславие—Политическая некомпетентность—Отношения Петрарки с Риенци—Травма памятникам Рима—Римская топография Поджио—Сентиментальное отношение к руинам античности—Кириак Анконский.

Проследив до сих пор за пробуждением нового чувства античности у итальянцев, на данном этапе будет неплохо рассмотреть внешние ресурсы гуманизма, прежде чем продолжить историю Возрождения в пятнадцатом веке. Отдельного внимания требуют состояние университетов, состояние книжной торговли до изобретения книгопечатания и обнаружение рукописей; возможно, будет неуместно поинтересоваться, какой стимул энтузиазму к изучению классической литературы дали руины Рима. Обзор этих тем поможет объяснить обстоятельства, при которых приходилось трудиться пионерам культуры, и природу крестового похода, который они начали против невежества во всех частях Европы.

Считается, что старейший и наиболее посещаемый университет Италии, Болонский, процветал в двенадцатом веке. [73] Его процветание в прежние времена во многом зависело от личного поведения главных профессоров, которые, когда не были удовлетворены своими развлечениями, имели обыкновение уезжать со своими учениками в другие города. Таким образом, время от времени в Модене, Реджо и других местах открывались средние школы учителями, которые нарушали клятвы, обязывавшие их проживать в Болонье, и переносили свой образовательный центр в конкурирующий город. Осуществить такие временные изменения было нетрудно в эпоху, когда то, что мы называем университетом, состояло из магистров и ученых, без зданий колледжей, без библиотек, без пожертвований и без научного аппарата. Техническим названием таких учреждений, по-видимому, было *studium scholarium*, итальянизированное в *studio* или *studio pubblico*. [74] Среди наиболее постоянных результатов этих расколов можно упомянуть создание средней школы в Виченце путем перевода из Болоньи в 1204 году и открытие школы в Ареццо при аналогичных обстоятельствах в 1215 году; великий университет Падуи впервые увидел свет вследствие политических разногласий, вынудивших профессоров на сезон покинуть Болонью. [75]

Первая половина тринадцатого века стала свидетелем основания этих *студий* в значительном количестве. Школа Верчелли была открыта в 1228 году, муниципалитет предоставил двух сертифицированных переписчиков для удобства студентов, которые, возможно, пожелают приобрести учебники. [76] В 1224 году император Фридрих II, которому юг Италии был обязан не по годам развитой известностью в литературе, учредил Неаполитанский университет императорским дипломом. [77] С целью превратить его в главное учебное заведение в своих владениях, он запретил подданным Регно посещать другие школы и общими письмами закрыл Болонский университет. После этого Болонья присоединилась к Ломбардской лиге, бросила вызов императору и отказалась закрывать школы, в которых в то время насчитывалось около десяти тысяч учащихся различных национальностей. В 1227 году Фридрих отменил свой эдикт, и с тех пор Болонья оставалась неприкосновенной. Политические и внутренние перипетии, затронувшие в этот период все итальянские университеты, прервали процветание неаполитанского. В середине XIII века Салерно оказался опасным соперником; но когда в королевстве Сицилия утвердился Анжуйский дом, были предоставлены особые привилегии, восстановившие высшую школу столицы на первом месте. Карл I. создал отдельный суд юрисдикции для его управления. Он состоял из судьи и трех ассессоров, один из которых отвечал за контроль над иностранцами, другой - за подданных Регно, а третий - за итальянцев из других государств.

В 1264 году мы находим действующую государственную школу в Ферраре. По ее уставу профессора были освобождены от военной службы. Университет Пьяченцы возник немного раньше. Иннокентий IV. основал его в 1248 году с привилегиями, аналогичными привилегиям

Парижа и Болоньи. Важная группа *публичных студий* была обязана своим происхождением папским или императорским хартиям первой половины четырнадцатого века. Город Перуджа был основан в 1307 году Буллой Климента V. Булла Рима датирована 1303 годом, в котором Бонифаций VIII специальным указом учредил его; но перевод Папского престола в Авиньон привел его к преждевременному упадку. Пизанский университет существовал уже несколько лет, когда в 1343 году он получил хартию от Климента VI. Университет Флоренции был впервые основан в 1321 году. [78] В 1348 году было выделено место для его общественных зданий между Дуомо и Палаццо Пабблико, на месте того, что впоследствии стало известно как Коллегиум Евгенианум. Для управления им был назначен совет из восьми бюргеров, и на его содержание ежегодно выделялась определенная сумма. В 1349 году Климент VI предоставил ему те же привилегии, что и Болонскому университету, а в 1364 году он получил императорский диплом от Карла IV. Тот же император даровал хартии Сиене в 1357 году, Ареццо в 1356 году и Лукке в 1369 году. В 1362 году Галеаццо Висконти получил от Карла IV хартию для своего университета в Павии с привилегиями Парижа, Оксфорда и Болоньи.

Следует заметить, что большинство *публичных студий* получили грамоты либо от папы, либо от императора, либо от обоих, не столько ради какой-либо непосредственной выгоды, которую можно извлечь из папского или императорского покровительства, сколько потому, что верховная власть в Италии по-прежнему принадлежала тому или иному из этих руководителей. Перед каждым городом стояла великая задача увеличить свое богатство за счет привлечения иностранцев в качестве жителей и удержать местную молодежь в своих пределах. Муниципалитеты, таким образом, предоставили иммунитеты от налогообложения и военной службы *добросовестным* студентам, запретили своим гражданам искать конкурирующие места обучения и в некоторых случаях разрешили университетским властям осуществлять особую юрисдикцию над разношерстным множеством ученых из всех стран. Насколько разношерстным был контингент в некоторых средних школах раньше, можно понять из отчетов, извлеченных Тирабощи из их реестров. В Виченце, например, в 1209 году мы находим имена богемцев, поляков, французов, бургундцев, немцев и испанцев, а также итальянцев из разных городов. Ректорами этой *студии* в 1205 году были англичанин, провансалец, немец и кремонец. В списке выдающихся студентов Болоньи между 1265 и 1294 годами представлены представители всех европейских национальностей, что доказывает, что иностранцы, привлеченные университетом, должны были составлять немалый элемент во всем населении. [79] Это объясняет важную роль, которую студенты время от времени играли в политической истории Болоньи. [80]

Важность, придаваемая крупными городами своим университетам как источнику силы, можно почерпнуть из главы Хроники Маттео Виллани, описывающей основание *студии пабблико* во Флоренции. [81] Он прямо упоминает, что синьорию побудили пойти на этот шаг вследствие сокращения населения, вызванного Черной смертью 1348 года. Привлекая во Флоренцию жителей из других штатов, они надеялись увеличить число жителей и восстановить пришедшую в упадок славу и величие содружества. [82] В то же время они думали, что серьезные исследования могли бы положить конец деморализации, вызванной чумой во всех классах. С этой целью они наняли лучших учителей и без колебаний ежегодно выделяли сумму в 2500 золотых флоринов на содержание своей средней школы. Болонья, которая была обязана своему университету даже больше, чем Флоренция, как говорят, тратила половину своих доходов, около 20 000 дукатов, на оплату профессоров и другие непредвиденные расходы. Однако фактические расходы, понесенные городами за счет своих школ, не могут быть точно

оценены, поскольку они варьировались из года в год в зависимости от контрактов, заключенных со специальными учителями. Например, в Павии в 1400 году университет оказал поддержку нескольким выдающимся докторам канонического права, тринадцати - гражданского права, пяти - медицины, трем - философии, одному - астрологии, одному - греческому языку и одному - красноречию. [83] Сохранялся ли этот штат по прошествии еще двадцати лет, мы точно не знаем.

Предметами, преподаваемыми в средних школах, были каноническое и гражданское право, медицина и теология. Эти факультеты, важные для профессионального образования населения, составляли основу академической учебной программы. Кафедры риторики, философии и астрономии добавлялись по мере необходимости, последняя иногда включала изучение судебной астрологии. Если мы спросим, как гуманисты или профессора классической литературы были связаны с университетами, мы обнаружим, что, по крайней мере, поначалу, они всегда занимали второе место. Постоянное преподавание оставалось в руках юристов, которые наслаждались работой на всю жизнь за высокую плату, в то время как латинисты и греки могли претендовать только на временное занятие кафедры риторики с зарплатой значительно ниже, чем у юристов или врачей. Причина этой неполноценности легко объяснима. Естественно, что важные и прибыльные отрасли образования, такие как юриспруденция и медицина, привлекали большее число студентов, чем чистая литература, и что их профессорам платили больше, чем преподавателям красноречия. Падуя, Болонья и Павия, в частности, сохранили свою юридическую специализацию на протяжении всего периода Возрождения и оставались лишь в малой степени открытыми для гуманистических влияний. В Падуе мы находим из дневника Санудо [84], что выдающийся юрист получал стипендию в размере 1000 дукатов. Доктор медицины в том же университете в 1491 году получил аналогичную стипендию вместе с правом частной практики. В Болонье знаменитый юрист Аббас Сицилийский (Никколо де Тудески) ежегодно получал 800 скуди; в Падуе Джованни да Имола в 1406 году и Паоло да Кастро в 1430 году собрали сумму в 600 дукатов. [85] Примерно в то же время (1453) Лауро Квирино, преподававшему риторике в Падуе, платили всего сорок дукатов в год, в то время как Лоренцо Валла в Павии занимал кафедру красноречия с ежегодной стипендией в пятьдесят цехинов. Разница между оплатой труда юристов и гуманитариев была не столь велика во всех университетах. Заметное исключение составила Флоренция, в частности. С момента своего основания флорентийская студия была равнодушна к литературе; и стоит отметить, что когда Лоренцо Медичи перевел среднюю школу в Пизу, он сохранил во Флоренции профессоров свободных наук и художественной литературы. Высокая репутация выдающихся раторов, опять же, часто обеспечивала им временные ангажементы по высокой ставке. Таким образом, из "Жизни Филельфо" Росмини мы узнаем, что этот гуманист получал от Венеции ежегодное вознаграждение в размере 500 цехинов за свои профессорские услуги. Болонья предложила ежегодную стипендию в размере 450 цехинов, когда он взялся читать лекции по красноречию и моральной философии. Во Флоренции его доход составлял 350 золотых флоринов, обеспеченных на три года, а впоследствии увеличенных до 450. С "Сиеной" он договорился о выплате 350 золотых флоринов на два года. В Милане его кафедра красноречия получила 500 золотых флоринов, а впоследствии эта зарплата была увеличена до 700. Николай V. предложил ему ежегодный доход в 600 дукатов, если он посвятит себя переводу греческих книг на латынь, в то время как Сикст IV пытался переправить его в Рим, предложив 600 римских флоринов в качестве стипендии кафедры риторики.

Факт, однако, остается фактом: в то время как специальное изучение античности занимало умы итальянцев и привлекало все более утонченные умы молодежи, стремящейся к знатности, его профессорам так и не удалось полностью завладеть университетами. Их положение там всегда было положением блуждающих звезд и постоянно проживающих инопланетян. Это в какой-то мере объясняет ожесточенную враждебность и презрение, которые они проявляли по отношению к преподавателям теологии, права и медицины. Настоящим домом гуманистов были Дворы принцев, дворцы образованных бюргеров, Римская курия и канцелярии республик. В качестве секретарей, домашних наставников, чтецов, придворных поэтов, историографов, публичных ораторов и компаньонов они были незаменимы. Таким образом, мы обнаружим, что частные академии, созданные литераторами и их покровителями, школы князей, основанные в Мантуе и Ферраре, и резиденции знати играют более важную роль в истории гуманизма, чем университеты. В то же время дух новой культуры, распространенный гуманистами, так глубоко проник во всю интеллектуальную деятельность итальянцев, что со временем специальные занятия в средних школах приняли более литературную и либеральную форму. Классика тогда послужила отправной точкой для юридических и медицинских изысканий. Полициано читал лекции о пандектах Юстиниана, в то время как Помпонацци подчинил кафедру философии в Падуе изложению материализма. Этот триумф гуманизма, как и его триумф в Церкви, был достигнут не столько непосредственной работой над университетами, сколько постепенным и косвенным стремлением всего человечества к изучению античности.

Представляя себе метод, применяемый гуманистами в обучении своих классов, мы должны отбросить из головы все ассоциации с практикой современных профессоров. Очень немногие из учеников, которых учитель видел перед собой, владели более чем скудными фрагментами текстов Вергилия или Цицерона; у них не было конспектов, грамматик, лексиконов или словарей древностей и мифологии, которые могли бы им помочь. Поэтому лектору было необходимо диктовать цитаты, подробно повторять параллельные отрывки, объяснять географические и исторические аллюзии, детально анализировать структуру предложений, приводить многочисленные иллюстрации грамматического употребления, проследить этапы, на которых слово приобретало свое значение в особом контексте, владеть полным словарем синонимов, давать правила орфографии и иметь под рукой весь Пантеон. В дополнение к этому от него ожидалось, что он прокомментирует значение своего автора, истолкует его философию, укажет на красоту его стиля, представит соответствующее моральное исследование его доктрины, набросает его биографию и даст некоторый отчет о своем отношении к истории своей страны и к своим предшественникам в области литературы. Короче говоря, профессор риторики должен был быть грамматиком, филологом, историком, стилистом и мудрецом в одном лице. Он был вынужден претендовать, по крайней мере, на энциклопедические знания классиков и сохранять в памяти целые тома. Все эти требования, которым, по-видимому, удовлетворяли такие люди, как Филельфо и Полициано, сделали профессию красноречия — ибо так часто называли разнообразный предмет гуманизма — делом, совершенно отличным от того, которым занимается лектор нынешнего столетия. Десятки студентов, старых и молодых, не имея перед собой ничего, кроме ручки и бумаги на столах, терпеливо записывали то, что говорил лектор. В конце своих рассуждений о "Георгиках" или "Верринах" каждый из них унес с собой объемистый том, содержащий расшифровку авторского текста вместе с массой различных примечаний, критических, пояснительных, этических, эстетических, исторических и биографических. Другими словами, книга была продиктована, и было сделано столько десятков копий, сколько было внимательных учеников. [86] Использовался латинский язык. Ни один

диалект итальянского не был понятен студентам разных национальностей, которые толпились в аудиториях. Начальное грамматическое образование, необходимое для прохождения профессорского курса лекций, ранее предоставлялось преподавателями латинских школ, содержание которых частично зависело от государства [87] и частично от частного предприятия. Церковь, по-видимому, не брала на себя управление этими начальными школами для мальчиков.

Поскольку такова была природа академического обучения гуманитарным наукам до эпохи книгопечатания, из этого следовало, что профессор был напрямую заинтересован в частой смене места своей деятельности. Больше определенного количества таких книг, которые я только что попытался описать, не могло влезть в его голову. После того как он продиктовал свою работу над "Георгиками" во Флоренции, ему, естественно, не терпелось переехать в Милан и заняться тем же самым. Новая аудитория придала его лекциям новую ценность, и в обращение было выпущено как бы еще одно издание его книги. В переписке, которая велась между профессорами и ректорами средних школ до заключения контракта, мы иногда обнаруживаем, что первые берут на себя обязательство объяснить конкретных авторов во время предполагаемого проживания. Этим авторам они, без сомнения, посвятили лучшие годы своей жизни, сделав их проводниками всех разнообразных знаний, которыми они обладали, и основав свою славу на красоте, четкости и обильности их изложения. [88]

Описав условия, в которых велось профессорское преподавание в пятнадцатом веке, сейчас имеет определенное значение составить представление о состоянии книжного рынка и распространении рукописей до изобретения книгопечатания. Как ни трудно точно говорить на эти темы, необходимо собрать некоторые факты, учитывая, что высокая цена и сравнительная редкость книг в очень важной степени способствовали определению характера наставлений, предоставляемых гуманистами.

Нехватка книг поначалу была главным препятствием для изучения античности. У пап, князей и даже крупных религиозных учреждений было гораздо меньше книг, чем у многих фермеров нынешнего века. Библиотека, принадлежавшая кафедральному собору церкви Святого Мартино в Лукке в девятом веке, содержала всего девятнадцать томов сокращений из церковных комментариев. Новарский собор 1212 года мог похвастаться копиями Бозция, Присциана, "Кодекса Юстиниана", "Декреталий" и "Этимологии" Исихора, а также Библией и некоторыми религиозными трактатами. [89] Этот скромный запас считался огромным богатством. Каждый из драгоценных томов в такой коллекции был воплощением средневекового искусства. Его страницы были сделаны из тонкого пергамента, украшенного рисунками. [90] Начальные буквы были украшены замысловатыми росчерками и изысканно подсвеченными группами фигур. Переписчик приложил все усилия, чтобы сделать свою каллиграфию совершенной, и украсил поля малиновым, золотым и синим цветами. Затем он передал листы пергамента переплетчику, который вложил их в богатые оправы из бархата или резной слоновой кости и дерева, украшенные золотом и драгоценными камнями. Края были позолочены и украшены узорами. Застежки были из кованого серебра с чернью. Цена таких шедевров была огромной. Борсо д'Эсте в 1464 году подарил восемь золотых дукатов Герардо Гислиери из Болоньи за иллюминированного Ланселотто, а в 1469 году он купил Иосифа Флавия и Квинта Курция за сорок дукатов. [91] Говорят, что его великая Библия в двух томах обошлась в 1375 цехинов. Ринальдо дельи Альбицци отмечает в своих мемуарах, что в 1406 году он заплатил одиннадцать золотых флоринов за Библию в Ареццо. Из этих рукописей, большая часть из них

была изготовлена в монастырях, и именно здесь также произошла мученическая смерть древних авторов. Лукреций и Ливий уступили место хроникам, антифонариям и проповедям. Пергамент был чрезвычайно дорог, и свитки, которые никто не мог прочитать, можно было соскрести и постирать. Соответственно, переписчик стер знания древних и заполнил образовавшийся пробел литаниями. В то же время монахам остается только добавить, что иногда находили палимпсесты, в которых церковные произведения уступали место копиям латинских поэтов, используемым в начальном образовании. [92]

Еще одним препятствием на пути распространения знаний была некомпетентность переписчиков. Это правда, что в крупных университетах *стационарии*, которые поставляли студентам используемые учебники, были сертифицированы и находились под контролем специальных цензоров, называемых *лекарями*. Однако их число было невелико, и когда они отошли от рутины, к которой привыкли, их неспособность проявилась в многочисленных ошибках. [93] Инвектива Петрарки в адрес профессиональных переписчиков показывает глубину, до которой опустилось искусство. "Кто, - восклицает он, - найдет лекарство от невежества и гнусной лени этих переписчиков, которые все портят и превращают в бессмыслицу? Если бы Цицерон, Ливий и другие прославленные древние вернулись к жизни, как вы думаете, поняли бы они свои собственные труды? Эти переписчики не подвергаются никакой проверке, их отбирают без экзамена или проверки их способностей. Рабочие, земледельцы, ткачи, ремесленники не пользуются такой же свободой". [94] Колуччо Салютато повторяет ту же жалобу, утверждая, что копии Данте и Петрарки соответствуют оригиналам не больше, чем плохие статуи людям, которых они якобы изображают. В то же время переписчики сформировали необходимый и процветающий класс ремесленников. Им хорошо платили. Амброджо Траверсари сказал своему другу Джустиниани в 1430 году, что может порекомендовать ему хорошего писца с оплатой в тридцать золотых флоринов в год и его содержанием. В этих обстоятельствах даже самые выдающиеся ученые, такие как Петрарка, Боккаччо и Поджо, делали свои собственные копии рукописей. Никколо де'Никколи переписал почти все кодексы, которые составили ядро Библиотеки Знака. Иногда они продавали их или вносили выгодные изменения. Поджо, например, продал Лионелло д'Эсте два тома "Писем" С. Джерома за 100 золотых флоринов. Беккаделли купил у него ливий за 120 золотых флоринов, расставшись с фермой, чтобы покрыть расходы. Ясно, что первый шаг к возрождению обучения подразумевал три вещи: во-первых, сбор рукописей. везде, где их можно было спасти от лени монахов; во-вторых, создание библиотек для их сохранения; и, в-третьих, изобретение искусства, с помощью которого их можно было бы размножать дешево, удобно и точно.

Работа по сбору классических рукописей должна была выполняться несколькими учеными-энтузиастами, которые не получали помощи от университетов и их академических переписчиков и не встречали сочувствия в монастырях, которые они намеревались разграбить. Новая культура потребовала совершенно новой техники; и появились новые участники факельной гонки цивилизации. Старшие школы были довольны своими резюме и пояснениями. Монахи выполняли в лучшем случае работу дождевых червей, которые невольно предохраняют фрагменты греческой архитектуры от коррозии, нагромождая вокруг них горы плесени и мусора. Тем временем гуманисты, движимые инстинктом исследователей, стремились освободить пленников и пробудить мертвых. Из монастырских библиотек Италии, из музеев Константинополя, из аббатств Германии, Швейцарии и Франции нужно было вызвать дремлющих духов древних. Образованное рыцарство, объединившееся для этой службы, можно было бы сравнить с крестоносцами. Как франки считали себя трижды благословенными,

если возвращались с реликвиями из Иерусалима, так и эти новые рыцари Святого Духа, искавшие не гробницу воскресшего Бога, а гробницы, где гений древнего мира ожидал воскресения, испытывали священный восторг, когда коричневый, замусоленный и замусоленный экземпляр какого-нибудь греческого или латинского автора вознаграждал их за терпеливые поиски. Дни и ночи они проводили, тщательно переписывая его, сравнивая свою рукопись с оригиналом, размножая факсимиле и бесплатно рассылая их за границу студентам, которые, в свою очередь, снимали копии, пока сокровищница не стала общим достоянием всех, кто мог оценить ее ценность. Эта работа по открытию началась с Петрарки. Я уже упоминал о путешествиях, которые он предпринял в надежде найти утерянные рукописи Цицерона. Это было продолжено Боккаччо. Отчет Бенвенуто да Имолы о визите Боккаччо в Монте—Кассино наглядно демонстрирует нам как пыл этих первых исследователей, так и апатию бенедиктинцев (которых иногда называют спасителями науки) в отношении сокровищ их собственных библиотек: [95]- "С целью более ясного понимания этого текста (' Paradiso, 'xxii. 74), я перескажу то, что с юмором сказал мне мой уважаемый учитель, Боккаччо из Чертальдо. Он сказал, что когда он был в Апулии, привлеченный знаменитостью монастыря, он посетил Монте-Кассино, о котором говорит Данте. Желая увидеть собрание книг, которое, как он понимал, было очень отборным, он скромно попросил монаха — поскольку тот всегда был очень вежлив в манерах — открыть для него библиотеку в качестве одолжения. Монах сухо ответил, указывая на крутую лестницу: "Поднимайся, она открыта". Боккаччо с радостью поднялся наверх; но он обнаружил, что в месте, где хранилось такое великое сокровище, не было ни двери, ни ключа. Он вошел и увидел, что на окнах проросла трава, а все книги и скамейки покрыты толстым слоем пыли. В своем изумлении он начал открывать и переворачивать страницы сначала одного тома, потом другого и обнаружил множество томов древних и зарубежных сочинений. Некоторые из них потеряли несколько листов; другие были обрезаны по всему тексту и различными способами изуродованы. Наконец, сокрушаясь о том, что труд и учеба стольких выдающихся людей перешли в руки самых заброшенных негодяев, он удалился со слезами и вздохами. Придя в монастырь, он спросил встретившегося ему монаха, почему эти ценные книги были так позорно изуродованы. Он ответил, что монахи, стремясь заработать несколько *сольди*, имели привычку отрезать листы и делать псалтыри, которые они продавали мальчикам. Поля тоже они изготавливали в виде амулетов и продавали женщинам. Итак, о ученый человек, иди и напряги свои мозги; создавай книги, чтобы ты мог прийти к этому!"

То, что содержалось в древних кодексах Италии, вскоре увидело свет. Визит Поджо Браччиолини в Констанцу (1414) открыл для итальянских ученых кладовые, которыми пренебрегали трансальпийские монастыри. Должность апостольского секретаря Поджио обязывала его присутствовать на Констанцском соборе с целью составления отчетов и дипломатических документов. В то же время у него было достаточно свободного времени, и он проводил его за изучением библиотек швейцарских и швабских монастырей. Сокровища, которые он раскопал в Райхенау, Вайнгартене и, прежде всего, в С. Галлен, вернули Италии многие утраченные шедевры латинской литературы и снабдили студентов полными текстами авторов, которые до сих пор были известны, в искаженных копиях. Отчет, который он дал о своем визите в С. Галлен в латинском письме другу, заслуживает заслуженного внимания. [96] После описания жалкого состояния, в котором ранее существовали "Институты" Квинтилиана, [97] он продолжает следующим образом: "Я искренне верю, что, если бы мы не пришли на помощь, он [Квинтилиан] должен был быстро погибнуть; ибо невозможно представить, чтобы человек великолепный, лощеный, элегантный, воспитанный, и уитти мог бы гораздо дольше

терпеть убожество тюрьмы, в которой я его нашел, жестокость его тюремщиков, безысходную грязь этого места. На него действительно было грустно смотреть, он был оборван, как приговоренный к смертной казни преступник, с жесткой бородой и спутанными волосами, выражавшими протест своим лицом и одеждой против несправедливости вынесенного ему приговора. Казалось, он простирает руки, взывая к римлянам, требуя спасти его от столь незаслуженной участи. Воистину, ему было тяжело вынести, что он, который спас жизни многих своим красноречием и помощью, теперь не найдет ни искупителя своих грехов, ни спасителя от ожидающего его несправедливого наказания. Но, как это часто бывает, цитируя Теренса, то, чего вы не смеете желать, приходит к вам случайно, поэтому удача для него, но гораздо больше для нас самих, побудила нас, проводя время в праздности в Констанце, захотеть посетить место, где он содержался в тюрьме. Монастырь Святого Галлена находится примерно в двадцати милях от этого города. Тогда мы направили наши стопы туда, отчасти ради развлечения, отчасти в поисках книг, которых, как мы слышали, в монастыре было большое собрание. Посреди хорошо укомплектованной библиотеки, слишком большой, чтобы в настоящее время вносить ее в каталог, мы обнаружили Квинтилиана, пока еще в целости и сохранности, хотя и покрытого пылью и грязного от запущенности и возраста. Книги, вы должны знать, были размещены не в соответствии с их ценностью, а лежали в самой грязной и темной темнице у самого подножия башни, месте, куда едва ли стали бы засовывать осужденных преступников; и я твердо убежден, что если бы кто-нибудь только захотел исследовать те *эргастулы* варваров, где они заключают в тюрьму таких людей, мы встретились бы с такой же удачей в случае многих, надгробные речи которых были произнесены давным-давно. Помимо Квинтилиана, мы эксгумировали три с половиной первых тома четвертой книги "Аргонавтики" Флакка и "Комментарии" Аскония Педиана к восьми речам Цицерона. Поджио сразу после этого открытия принялся за перепись Квинтилиана, проделав эту работу за короткий промежуток в тридцать два дня. Затем рукопись была отправлена Лионардо Бруни, который принял ее с восторгом, как явствует из этого поздравительного послания, адресованного Поджио:—

У литературской республики есть основания радоваться не только тем работам, которые вы обнаружили, но и тем, которые вам еще предстоит найти. Какая слава для вас, что вашими усилиями были обнародованы труды самых выдающихся авторов! Потомки не забудут, что рукописи, которые считались утраченными без возможности восстановления, были восстановлены благодаря вам. Как Камилла называли вторым основателем Рима, так пусть и вы получите титул второго автора произведений, которые вы вернули миру. Благодаря тебе мы теперь владеем Квинтилианом целиком; раньше мы хвастались только его половиной, да и то ущербной и искаженной в тексте. О драгоценное приобретение! О неожиданная радость! И смогу ли я тогда, по правде говоря, прочесть все то Квинтилиано, которое, каким бы изуродованным оно ни казалось до сих пор, составляло мое утешение? Я заклинаю тебя немедленно прислать его мне, чтобы я, по крайней мере, мог увидеть его перед смертью.

В дополнение к названным выше авторам Поджио обнаружил и собственноручно скопировал рукописи Лукреция и Колумеллы. Силий Италик, Манилл и Витрувий были обязаны своим воскрешением его трудолюбию. В Лангре он нашел копию речи Цицерона в честь Цецины; в Монте-Кассино - рукопись Фронтинана. Аммиан Марцеллин, Ноний Марцелл, Проб, Флавий Капер и Евтихий также должны быть причислены к пленникам, освобожденным им из рабства. Исследуя зарубежные монастыри, где, как он подозревал, могли быть похоронены древние авторы, он не жалел ни сил, ни средств. "Ни суровые зимние холода, ни снег, ни продолжительность путешествия, ни неровности дорог не помешали ему выявить памятники

литературы", - писал Франческо Барбаро. [98] Не гнушался он и воровством, если воровство казалось необходимым для того, чтобы заполучить драгоценный кодекс. В письме Амброджо Траверсари он рассказывает о своих переговорах с монахом по поводу мошеннического похищения Аммиана и Ливия из монастырской библиотеки в Херсфельде. [99] Нередко его самые радужные ожидания относительно литературных сокровищ оказывались обманутыми, как, например, когда датчанин появился при дворе Мартина V. хвастаясь полным собранием Ливия, найденным в цистерцианском монастыре близ Рескилде. Этот человек заявил, что видел рукопись, и с некоторой подробностью описал символы, которыми она была написана. По просьбе Поджио кардинал Орсини отправил специального гонца за этим, что могло бы быть тем самым символом рукописи. для латинистов того периода, в то время как Козимо Медичи направил своих агентов в Любек для работы с той же целью. Однако все их усилия были напрасны. Ливия обнаружить не удалось, и датчанина сочли лжецом, несмотря на подтверждение его рассказа другим путешественником. [100] Сам Поджио, который охотно обшарил бы Европу в поисках рукописи, завидовал деньгам, потраченным на любой другой объект. В своем трактате "О неполноценном принципе" он жалуется, что "эти возвышенные личности [папы и принцы] проводят свои дни и свое богатство в удовольствиях, в недостойных занятиях, в пагубных и разрушительных войнах. Их умственное оцепенение настолько велико, что ничто не может побудить их к поиску произведений превосходных писателей, чья мудрость и образованность указывают человечеству путь к истинному счастью". Это сетование, написанное, вероятно, под неблагоприятным впечатлением, произведенным на его ум папским двором, куда еще едва проникал дух гуманизма, не следует понимать в каком-либо строгом смысле. Никогда в мировой истории не было такого времени, когда деньги тратились бы более свободно на сбор и сохранение рукописей и когда был бы приведен в действие более совершенный механизм сохранения литературных сокровищ. Принц соперничал с принцем, а выдающийся бюргер с бюргером в покупке книг. Коммерческие корреспонденты Медичи и других великих флорентийских домов, чьи банки и дисконтные конторы были разбросаны по Европе и Леванту, получили инструкции приобретать реликвии древности, не считаясь с затратами, и пересылать их во Флоренцию. Самым приемлемым подарком, который можно было послать королю, был экземпляр римского историка. Лучшим документом, которым молодой грек, прибывший из Византии, мог воспользоваться, чтобы заручиться покровительством таких людей, как Палла дельи Строщи, был фрагмент какого-нибудь древнего; товаром, приносящим наибольшую прибыль спекулянту, обладавшему специальными знаниями в таких вопросах, был старый пергамент, покрытый убогими буквами.

История основания библиотек станет частью [следующей главы](#). В настоящее время необходимо упомянуть некоторых коллег Поджио по работе над коллекцией. Среди них заслуживает места некий Николас Тревский, нанятый для получения денежных средств, причитающихся Папской курии в Германии, поскольку в 1429 году он отправил в Рим наиболее полную из дошедших до нас копий Плавта. Бартоломмео да Монтепульчано, следуя примеру Поджио, проводил исследования, находясь в Констанце, и обнаружил утерянные труды Вегеция и Помпея Феста. В 1409 году Лионардо Бруни случайно наткнулся на хорошую рукопись писем Цицерона в Пистойе, а примерно в 1425 году в Лоди в Кафедральном соборе Герардо Ландриани было сделано великолепное собрание риторических трактатов Цицерона. Дошедшие до нас труды Тацита, столь желанные, были собраны не ранее правления Льва.

В то время как Поджио освобождал латинских авторов из их северных тюрем и отправлял их разгуливать, как принцев, по дворам и столицам Италии, трое других ученых не меньше энергии

уделяли сбору греческих рукописей. Джованни Ориспа, вернувшись из Византии в 1423 году, привез с собой 238 кодексов, в то время как Гуарино Веронский и Франческо Филельфо прибыли в Италию с тяжелым грузом. Существует старая история о том, что Гуарино потерял часть своего груза в море и приземлился с волосами, побелевшими от горя, которого ему стоило это несчастье. Учитывая особые преимущества, которыми пользовались эти трое ученых, которые были учениками ученого Мануила Хрисолораса и перед чьим жадным любопытством библиотеки Византии оставались открытыми почти полвека, предшествовавшие падению Греческой империи, у нас есть веские основания полагать, что большая часть аттической и александрийской литературы, известной поздним грекам, была перенесена в Италию. Жадность, проявляемая флорентийцами к кодексам и копиям, возможности, предоставляемые их торговыми связями с Константинополем, и очевидная заинтересованность византийского двора в период кризиса в удовлетворении их пристрастия к подобным приобретениям, способствуют тому, что маловероятно, что кто-либо из наиболее важных и прославленных авторов был уничтожен при взятии города турками. [101] Вероятно, что причины, аналогичные тем, которые медленно приводили к гибели латинскую литературу на Западе — апатия некультурной публики, злобная враждебность суеверного духовенства и разложение студентов как класса — задолго до эпохи Возрождения разрушили до невозможности те шедевры, о потере которых мы все еще сожалеем. [102] Сохранение неоплатонической и святоотеческой литературы в сравнительной полноте, в то время как многое из того, что было более ценным, погибло, может быть приписано богословскому содержанию этих трудов.

Не дать отчета о том, какое впечатление производил на умы ученых в четырнадцатом и пятнадцатом веках вид разрушающихся римских руин, значило бы опустить важную часть предмета, за который я взялся. Однако эта часть исследования ведет нас в область, несколько отличную от той, которую мы до сих пор проходили в настоящей главе, поскольку она по праву принадлежит истории энтузиазма. Немалая часть побудительного импульса, определившего Возрождение, была вызвана восхищением, любопытством и благоговением, которые вызывали сами камни древнего Рима. В Средние века правильная точка зрения на изучение архитектурных произведений римлян была утрачена. История все больше и больше обрастала легендами, пока, наконец, не поверили, что демоны и маги подвесили эти гигантские своды в воздухе. Телес-матические достоинства приписывались фигурам, вырезанным на фасадах храмов и фризах, в то время как великое имя Вергилия связывалось с тем, что осталось нетронутым в латинском искусстве Рима и Неаполя. [103] Предполагалось, что Рим времен *Мирабилии* был делом рук дьяволов, которых поэты ушедшей эпохи удерживали с помощью заклинаний, способных переместить ад из его центра. Этот перенос интереса с реального на фантастическое, с субстанциального на визионерское был характерной чертой всего подхода, принятого умом в Средние века. История, литература и искусство в равной степени подчинялись алхимии воображения. [104] В то же время сама грубость этих басен свидетельствовала о глубоком впечатлении, произведенном руинами Вечного города, и о навязчивой магии памяти, переживающей деградацию и разложение. Когда англосаксонские паломники вернулись из Рима в восьмом веке, очарование великих произведений, которые они увидели, выразилось в запоминающемся пророчестве. [105] "Пока стоит Колизей, будет стоять Рим; когда падет Колизей, падет Рим; когда падет Рим, падет мир".

Примерно в 1300 году в Италии, по-видимому, возникло новое историческое чувство. Вместо снов и легенд позитивные факты прошлого вновь приобрели свою ценность. Это изменение можно сравнить с открытием, которое мы делаем на границе сна и бодрствования, когда то, что нам казалось фигурой, задрапированной в белое, у нашей кровати, оказывается стеной, освещенной лунным светом. Джованни Виллани, когда он смотрел на римские бани и амфитеатры, думал не о дьяволах, воздвигших их, а о погребенном величии римского государства. [106] То, чем когда-то был Рим, однажды может стать Флоренцией, - вот размышления, побудившие его написать хронику своего родного города. Данте, который вместе с Виллани был свидетелем юбилея 1300 года, воскликнул, что сами камни Рима священны. "Тот, кто грабит ее или оскверняет богохульством, оскорбляет Бога, который только для Своей пользы сделал ее святой". [107] Город был для него внешним символом и земной станцией этой Богом назначенной Монархии для мирного правления всеми народами земли. Его самые восторженные рассуждения, а также практическая политика, изложенная в его посланиях, были привязаны к Риму как к реальности; он никогда не устал призывать германских императоров вернуться и установить свой трон на берегу Тибра. Теперь мы знаем, что этот идеализм был заблуждением, не менее неосуществимым, чем пагубным для свобод итальянцев. Однако это не давало покоя воображению человечества, пока, наконец, как я уже говорил выше, не была найдена подходящая отдушина в гуманизме.

Та же страсть к Риму приняла иную форму в сознании другого, менее благородного патриота. Это побудило Риенци разработать план восстановления Республики. Папы были далеко, в Авиньоне. Императоры, казалось, забыли Италию. И все же Рим оставался, и само название Рима было Империя. Почему *Римскому народному собранию*, чьи инициалы все еще сохранились унциальными буквами на блоках из травертина и мрамора, не следует вернуть прежнее место и могущество? Бродя по этим просторным сводам и задерживаясь под триумфальными арками, где на массивной брусчатке римских дорог виднелись следы колесниц, молодой энтузиаст подумал, что даже он может дожить до того, чтобы стать Трибуном этого народа, рожденного непобедимым и призванного судьбой править миром. С какой энергией он посвятил себя изучению историй Ливия, Саллюстия и Валерия Максима; как он стремился постичь значение надписей, найденных среди развалин Рима; с каким красноречием он вызывал сочувствие своих сограждан — об этом знают не только ученые, но и читатели романов. На мгновение показалось, что его видению восстановленной Республики суждено воплотиться в реальность. Римляне передали власть над жизнью и смертью, доходами и армиями в руки провидца, который взбудоражил их своей риторикой. Риенци занял высокое положение среди властителей Италии. Его признал даже папский двор.

То, что последовало за этим, доказало политическую несостоятельность нового диктатора, отсутствие у него критического понимания идеала, который он поставил перед собой. Есть что-то одновременно жалкое и смешное в тщеславии, проявляемом сыном этого цирюльника, возведенным в ранг принцев. Не довольствуясь тем, что называл себя Трибуном и Рыцарем, он изменил стиль своей переписки с Климентом VI. гласило следующее: "Кандидат, Духовный Святитель Майлз, Николай Север и Клеменс, Освободитель Урбис, Правитель Италии, Аматор Орбис и Трибун Август". Подобно Икару, он расправил восковые крылья навстречу полуденному сиянию солнца. Такое же экстравагантное смешение священного и мирского, классического и средневекового отличало пышность его государственных церемоний в Риме. 15 августа 1347

года, в честь своего избрания на трибунат, он надел шесть корон — из плюща, мирта, лавра, дуба, оливы и позолоченного серебра. На его гербе были ключи Петра и буквы S.P.Q.R. Его сенаторский скипетр был увенчан не орлом или волком Ромула, а золотым шаром и крестом, заключающими в себе реликвию святого. Поэтическая фантазия не могла бы предложить более поразительной аллегии, иллюстрирующей безоговорочное почтение к императорскому и папскому престижу Рима, чем та, что была представлена в этом трагическом фарсе реальной истории. Не таким образом, с помощью смеси христианских и языческих титулов, символической пышности, геральдики и декламации, можно было бы возродить старую Республику к жизни. Сама попытка сделать это доказывала, насколько далеко человеческий разум, пробудившийся от долгого сна Средневековья, был удален от суровой простоты, которая придавала силу древнему Риму. Вдоль этих головокружительных паркетов славы мы наблюдаем, как Риенци проходит месяцы своей славы, словно сомнамбула, поддерживаемый внутренним сном. То, что он должен был пасть, было неизбежно. Вместе с ним умерла Утопия римского государства, которая время от времени возрождалась как бесплодная фантазия в мозгах нескольких провидцев. [108]

Отношения Петрарки и Риенци дают материал для любопытных размышлений, в то время как они иллюстрируют роль, которую энтузиазм по отношению к древнему Риму сыграл в ранней истории гуманизма. Петрарка и Риенци были друзьями и переписчиками до того, как о последнем стало известно общественности; и когда "Трибун", казалось, собирался удовлетворить самое заветное желание сердца поэта, восстановив Римское содружество, Петрарка обратился к нему с оживленным письмом с поздравлениями и поддержкой. [109] В его очарованных глазах он казался героем, *vir magnanimus*, достойным древнего мира, новым Ромулом, третьим Брутом, Камиллом. Римским бюргерам, этому отбросу бесчисленных рас, одичавшим из-за затяжных страданий Средневековья, казалось, не нужно было ничего, кроме слов и желаний, чтобы снова стать *цыганами*, больше не требующими хлеба и развлечений, но готовыми отвоевать все, что потеряли их предки. [110] "Где, - восклицал Петрарка, - можно найти мировую империю, кроме как в Риме?" Кто может оспаривать право Рима? Какая сила может противостоять имени римлян?" Ни патриот, ни ученый не понимали, что возрождение, которое им суждено было начать, было интеллектуальным. Хотя дух времени отказывал Италии в политическом Возрождении, в сохранении даже той свободы, которой она тогда обладала, и еще больше отказывал в возрождении имперского могущества древнего Рима, тем не менее и Риенци, и Петрарка упорно верили, что, поскольку они пылали трепетом по прошлому, потому что они могли читать надписи, потому что они красноречиво выражали свои желания, великая эпоха мира, несомненно, начнется заново. Большой ошибкой эпохи Возрождения было воображать, что слова могут творить чудеса, что *стилу*с риторика может стать жезлом Просперо. Кажущееся, что оно присутствует в морали, политике и во всех жизненных делах. Я уже упоминал об этом как о серьезном недостатке характера Петрарки; но это была слабость, присущая не только ему и эпохе, которую он основал, но, более того, оказавшая влияние на всю историю склонения итальянцев ко злу. Звучащие фразы, подобные "*barbaros expellere*" Юлия II, как "*ва фуори д'Италия*" из гарибальдийских гимнов, время от времени пробуждали в нации лихорадочный энтузиазм, слишком скоро сменявшийся удрученной апатией. Когда неэффективность Риенци была доказана, все, что оставалось Петрарке, - это предупреждать и ругать.

Интерес, вызванный у Петрарки видом руин Рима, был важен для его гуманистического идеала. Они взволновали его как моралиста, антиквара и человека, который был обязан своей умственной силой прошлому. Он рассказывает, как часто поднимался под огромные своды Терм Диоклетиана в компании со своим другом Джованни Колонна. [111] Сидя там среди цветущих кустарников и душистых трав, которые окутывали увядание красотой, они вели беседу о великих людях древности и сожалели о непостоянстве всего человеческого. Все, что поэт читал о римском величии, живо всплывало в его памяти во время его долгих одиноких прогулок. Он никогда не сомневался, что точно знает, где находится дворец Эвандера и где пещера Какуса выходит на Тибр. О трудностях современных антикварных исследований еще никто не говорил, и его фантазия была вольна составить топографию семи холмов так, как ему больше нравилось. И все же он жаловался, что нигде о Риме не знают меньше, чем в самом Риме. [112] Это невежество он посчитал самым фатальным препятствием на пути к возрождению города. [113] Дворцы, где обитали эти герои прошлого, превратились в руины; храмы богов были осквернены; триумфальные арки рушились; сами стены пришли в упадок. Никто из римлян не заботился о том, чтобы предотвратить разрушения; они даже ограбили мраморные колонны и антаблементы, чтобы завалить Неаполь добычей. [114] Скоро, воскликнул он, последние остатки города сравняются с землей. Время не смогло уничтожить их; но человек разрушал то, что сохранило Время. [115]

Нет никаких сомнений в том, что незадолго до визита Петрарки в Рим город серьезно пострадал в плане своих памятников. Мы знаем, например, что наиболее хорошо сохранившиеся театры, бани и гробницы служили резиденциями и крепостями знати в средние века; и когда мы читаем, что в 1258 году сенатор Бранкалеоне счел необходимым разрушить сто сорок таких укрепленных жилищ, мы получаем стандарт для измерения ущерба, который, должно быть, был нанесен драгоценным произведениям классической архитектуры. Более того, руины, как намекал Петрарка, использовались в качестве каменоломен. Что было хуже, бюргеры сжигали мрамор, возможно, богатый надписями и резными барельефами, для получения извести. Вскоре мы увидим, что Поджио рассказывает на эту тему. Пока будет достаточно процитировать эпиграмму Пия II, написанную некоторое время спустя после возрождения интереса к античности:

Oblectat me, Roma, tuas spectare ruinas,
Ex cujus lapsu gloria prisca patet.
Sed tuus hic populus muris defossa vetustis
Calcis in obsequium marmora dura coquit.
Impia ter centum si sic gens egerit annos,
Nullum hic indicium nobilitatis erit. [116]

Поджо Браччолини открывает новую эпоху в римской топографии. Руины, которые вызвали суеверное восхищение Средневековья, которые побудили Риенци к патриотическому энтузиазму, а Петрарку к размышлениям о непостоянстве человеческого бытия, теперь впервые изучались в истинно антикварном духе. Поджио читал их как книгу, сравнивая представленные ими свидетельства с свидетельствами Ливия, Витрувия и Фронтинуса и стремясь составить каталог существующих фрагментов старого Рима. Первый раздел его трактата "О различных состояниях", безусловно, является наиболее важным источником информации, которой мы

располагаем, относительно состояния Рима в пятнадцатом веке. [117] Похоже, что Термы Каракаллы и Диоклетиана все еще могли похвастаться колоннами и мраморной инкрустацией, но, по воспоминаниям самого Поджио, мрамор был снят с гробницы Цецилии Метеллы, а так называемый Храм Согласия разграблен. [118] Среди руин, относящихся к периоду Республики, упоминаются мост, арка, гробница, храм, здание на Капитолии и пирамида Цестия. [119] Помимо них, Поджио перечисляет, как относящиеся главным образом к эпохе Империи, одиннадцать храмов, семь *терм*, арки Тита, Севера и Константина, части арок Траяна, Фаустины и Галлиена, Колизей, театры Помпея и Марцелла, Цирк Агоналис и Большой цирк, колонны Траяна и Антонина, две лошади, приписываемые Фидию и Праксителю, вместе с другими мраморными статуями, одной бронзовой конной статуей и мавзолеями Августа и Адриана.

Мы должны сожалеть, что описание Поджио было служебным и вводным к риторической диссертации. Если бы он посвятил себя задаче более подробного сведения в таблицу того, что он наблюдал, его работа была бы бесконечно ценной для археолога. Никто не знал о римских постройках больше, чем он. Никто так глубоко не ощущал их величия в запустении. По его словам, могущественный город казался ему трупом великана, королевой в рабстве. Вид ее великолепия, разоренной и лишенной украшений, какой она была раньше, с каждым днем приводил его во все большее восхищение. У него было в обычае водить незнакомцев от точки к точке среди руин, чтобы насладиться впечатлением, производимым на свежие умы их потрясающими свидетельствами силы и величия в упадке.

Пафос этой бывшей императрицы мира, подвергшейся оскорблениям и унижению, Поджио почувствовал не впервые. Петрарка описывал ее как пожилую матрону с седыми волосами и бледными щеками, чья рваная и убогая одежда плохо сочеталась с благородством ее поведения. [120] Фацио дельи Уберти олицетворял ее как величественную женщину, закутанную в лохмотья, которая указала ему на руины своего города, "чтобы он мог понять, какой красивой она была в преклонных годах". [121]

Таким образом, сентиментальное чувство к реликвиям прошлого росло и процветало бок о бок с археологическим интересом, который они возбуждали. Литература эпохи Возрождения изобилует материалами, которые можно было бы использовать в качестве иллюстрации к этому замечанию, [122] в то время в искусстве не было ничего более распространенного, чем рисовать для фонов сломанные арки и обветшалые здания, "чьи руины вызывают даже жалость". Двойной импульс романтических чувств и антикварного любопытства, возникший в эпоху Возрождения, внес немалый вклад в развитие архитектуры, скульптуры и живописи. В разделе моей работы, посвященном [изобразительному искусству](#) Италии, вы найдете подходящее продолжение этой темы. Между тем история антикварных исследований в самом Риме будет продолжена в [другой главе](#) этого тома.

Среди представительных людей первого периода Возрождения следует упомянуть энтузиаста, посвятившего всю свою жизнь топографическим исследованиям и копированию классических надписей. Чириако де Пицциколли родился около 1404 года в Анконе, и из этого города он взял имя, которое носит среди ученых. Как и многие другие пионеры эрудиции, он получил коммерческое образование, и в юности у него было мало возможностей для овладения мертвыми языками. Его возмужалость прошла в беспокойных путешествиях, сначала предпринятых с целью торговли, но впоследствии с единственной целью - сделать открытия.

Увлеченный классической античностью, он стал сносным знатоком латыни и приобрел неплохие познания в греческом. В ходе своих долгих странствий он обыскал все уголки Италии, Греции и греческих островов, собирая медали, драгоценные камни и фрагменты скульптур, покупая рукописи, переписывая записи и собирая разнообразную археологическую информацию. Энтузиазм, овладевший им, был настолько не сдержан трезвостью, что вызывал подозрения современников. Некоторые считали его по-настоящему образованным человеком; другие говорили о нем как о взбалмошном, хвастливом и ненадежном фанатике. [123] Ошибки, которые он допускал при копировании надписей, принижали общую ценность его трудов, в то время как его даже обвиняли в том, что он выдавал измышления за легкое верие публики. Вопрос о его предполагаемых подделках был подробно обсужден Тирабощи. [124] Установить это за такой промежуток времени как неважно, так и невозможно. Хотя мы вполне можем поверить, что Сириак был тщеславным энтузиастом, принимавшим как подлинное то, что ему следовало отвергнуть, и интерпретировавшим в соответствии со своей фантазией, а не буквой своего текста, его жизнь сохраняет реальную ценность для изучающего Возрождение. В нем любопытство нового века достигло своего апогея экспансивности. Страсть к открытиям преследовала его от берега к берегу, и видение прошлого, которое должно быть отвоено энергией настоящего, преследовало его воображение до момента его смерти. Когда его спросили, к какой цели он стремился в этих бесконечных странствиях, он ответил: "Я иду будить мертвых". Это слово, девиз первой эпохи Возрождения, объясняет фанатизм Сириака и является достаточным основанием для славы.

ГЛАВА IV ВТОРОЙ ПЕРИОД ГУМАНИЗМА

Сложность предмета—Деление на четыре периода—Место Флоренции—Социальные условия, благоприятные для культуры—Палла дельи Строцци—Его поощрение изучения греческого языка—План публичной библиотеки—Его изгнание—Козимо Медичи—Его покровительство образованию—Политический характер—Любовь к строительству—Щедрость к студентам—Основание библиотек—Веспасиано и Фома Сарцанские—Никколо де Никколи—Его коллекция кодексов—Описание его образа жизни—Его слава латиниста—Лионардо Бруни—Его биография—Переводы с греко—латинские трактаты и истории—Его похороны в Санта—Кроче—Карло Аретино—Слава лектора—Флорентийская канцелярия—Маттео Пальмиери—Джанноццо Манетти—Его изучение иврита—Его общественная карьера—Его красноречие—Манетти разорен Медичи—Его жизнь в изгнании в Неаполе—Оценка его талантов—Амброджо Траверсари—Изучение греческих отцов—Генерал ордена Камальдолези—Гуманизм и монашество—Флорентийский собор—Мнение флорентийцев о греках—Гемист Плето —Его жизнь—Его философия—Его влияние во Флоренции—Козимо Медичи и Флорентийская академия—Изучение Платона—Труды Плетона—Платонисты и аристотелианцы в Италии и Греции—Виссарион—Его покровительство греческим беженцам в Риме—Гуманизм в Небольших республиках—В Венеции.

Большая трудность, с которой приходится сталкиваться критику, желающему дать краткий отчет об этой фазе итальянской культуры, заключается в разнообразии и сложности предмета. Легко

ощутить единство гуманистического движения и рассматривать ученых XV века как литературное сообщество с четко определенными отношениями друг к другу. И все же, когда мы пытаемся проследить рост науки во всех ее отраслях, особые условия политической и социальной жизни в Италии представляют собой почти непреодолимые препятствия для любого продолжения лечения. Республики, княжества и Церковь существуют каждое по-своему. Венеция, Флоренция, Неаполь, Милан, Рим, Феррара образуют отдельные и независимые центры, навязывающие свою собственную специфику интеллектуальной деятельности граждан и иностранцев. Гуманисты, тем временем, в какой-то степени стирают эти местные различия, распространяя сеть общей культуры на города и общества, разделенные всем остальным, кроме интереса к обучению. Этими комбинациями и перестановками, возникшими в результате контактов ученых со своими покровителями в нескольких штатах Италии, объясняется запутанность истории Возрождения. Одни и те же выдающиеся люди появляются по очереди в каждом из главных дворов и государств содружества, проезжая с ошеломляющей быстротой с севера на юг и обратно, в одном месте требуя внимания по одной теме, в другом представляя новые, но не менее важные темы для расследования. То, что Филиппо Мария Висконти, например, требовал от Филельфо, имело мало общего с требованиями, предъявляемыми к нему Николаем V. В то время как его деятельность сатирика и партизана во Флоренции отличалась от его работы лектора в Сиене. Опять же, биография каждого гуманиста в какой-то степени включает в себя биографию всех его современников. Круги Рима находятся под влиянием неаполитанских клик; ссоры Лоренцо Валлы перерастают в склоки Гуарино; политическая вражда сочетается с литературной ревностью в спорах Поджо с Филельфо. В то время как некоторые из самых выдающихся профессоров остаются неподвижными в своих родных или принятых городах, другие перемещаются туда-сюда со скоростью кометы. Время от времени, в Риме или где-либо еще, появляется покровитель, который собирает вокруг себя все блуждающие звезды. Его смерть рассеивает группу; или несчастные случаи возбуждают среди них зависть и приводят к выходу из круга. Тогда необходимо рассмотреть новые комбинации. Ни в одном городе мы не можем проследить четкую хронологическую последовательность или обнаружить фиксированный местный характер, который оправдывает наше разделение истории итальянской живописи по ее школам. Избежать повторений и сохранить равномерный ход повествования среди столь многого меняющегося практически невозможно.

Некоторый метод можно ввести, кратко обрисовав вначале основные периоды, через которые прошло гуманистическое движение. Хотя эти периоды в определенной степени и произвольны, они отмечают различные моменты в эволюции, единообразной, несмотря на ее сложность.

Первая, начинающаяся с Петрарки и включающая жизнь и труды тех людей, на которых он лично оказал влияние, была прослежена в [предыдущей главе](#). Это был век вдохновения и открытий, когда зародился энтузиазм по отношению к античности и были накоплены остатки классики. Второй период можно охарактеризовать как век аранжировок и переводов. В этот период были основаны первые большие библиотеки; серьезно изучался греческий язык, и греческие авторы переводились на латынь. Вокруг Козимо Медичи во Флоренции, Альфонсо Великодушного в Неаполе и Николая V. в Риме в это время сходятся лидеры Возрождения. Третья эпоха - эпоха академий. Литературная республика, сформировавшаяся в течение первого и второго периодов, теперь объединяется в кружки, из которых наиболее важными являются Платоновская академия во Флоренции, академия Понтана в Неаполе, академия Помпония Лета в Риме и академия Альда Мануция в Венеции. Ученость начинает заметно

улучшаться во всем, что касается стиля и вкусовых ощущений. В то же время итальянская эрудиция достигает своего максимума в Полициано. Внешне этот третий период отличается быстрым распространением книгопечатания и последующим падением гуманистов как класса. В четвертом периоде мы замечаем постепенный упадок образованности; эстетические и стилистические изыскания начинают требовать исключительного внимания. Это эпоха пуристов, над которыми Бембо осуществляет власть диктатора, в то время как двор Льва X представляет собой самое блестящее собрание литераторов в Европе. Эрудиция, в собственном смысле этого слова, сейчас на грани того, чтобы пересечь за Альпы, и Возрождение Образования завершается для историка Италии.

Хотя существенной чертой этой темы является разнообразие, и хотя каждый город Италии внес свою лепту в общую культуру, сейчас особое внимание следует уделить Флоренции. Нет ничего более очевидного для изучающего, который справился с первыми трудностями, вызванными запутанностью итальянской истории, чем тот факт, что вся умственная сила нации зародилась в Тоскане и излучалась оттуда, как из центра жизненного тепла и света, по всему остальному полуострову. Это справедливо как для изящных искусств, так и для итальянской поэзии, как для возрождения образования, так и для зарождения науки. От тосканских республик, и в частности от Флоренции, исходили импульс и энергия, которые привели к плодотворным результатам во всех этих департаментах. По мере того, как Флоренция продолжала поглощать соседние свободные государства, ее интеллектуальное превосходство становилось все более неоспоримым. Ареццо, Вольтерра, Кортон, Монтепульчано, Прато и Пистойя были всего лишь ручейками, питавшими поток флорентийской промышленности.

Чем вызвано такое превосходство тосканцев, является проблемой столь же трудноразрешимой, как аналогичная проблема в отношении Афин среди государств Греции. Что-то, без сомнения, можно отнести к этнологии, а что-то - к климату. Многие, опять же, было связано с чистотой диалекта, который сохранил больше природной энергии и литературных способностей и который меньше пострадал от варварских примесей, чем диалекты северной или южной Италии. Завоевание лангобардов обошло стороной тосканцев, и феодальные институты не пустили таких же корней в долине Арно, какие они пустили в Неаполитанском королевстве. Таким образом, города Тосканы были менее подвержены иностранному влиянию, чем остальная Италия. В то время как они продолжали свой внутренний рост в относительном спокойствии, они были лучше приспособлены для возрождения былой славы латинской цивилизации на ее родной земле. Необходимо также принимать во внимание свободные институты флорентийского содружества.

Во Флоренции, если где-либо еще в Италии, существовали условия, при которых могла быть сформирована республика литературы и культуры. Неаполитанская аристократия потакала полудиким вкусам территориальных *сеньоров*; римская знать наслаждалась ратными подвигами и делилась своим богатством со свитой *храбрецов*; знатные семьи Умбрии, Романьи и Марша следовали профессии *кондотьеров*; лангобарды были подавлены своими деспотами и лишены личной свободы; генуэзцы превратились в немногим лучших торговцев и морских разбойников; сиенцы, разделенные группировками своих *Монти*, у которых оставалось немного свободного времени или общего общественного настроения для учебы. Флоренция тем временем могла похвастаться населением, состоящим из бюргеров, благородных по вкусу и культуре, обязанных не столько происхождению, сколько личному положению, посвящающих свою энергию гражданским амбициям, достойным римлян, и умственной деятельности, которая

напоминает нам древних греков. Между народом и этой аристократией богатства и интеллекта во Флоренции не было разделения, подобного тому, которое отделяло венецианских *джентилуomini* от *читтадини*. Так называемые *нобили* и *пополани* не образовывали, как в Венеции, отдельной касты, связанной службой тиранической государственной системе. Сама мобильность, которая оказалась главным источником дезорганизации и разорения Содружества, способствовала интеллектуальному развитию Флоренции. Застой и угнетение были одинаково неизвестны. Таким образом, здесь, и только здесь, была создана публика, способная инстинктивно понимать, что есть прекрасного в искусстве и гуманного в литературе, раса ремесленников и ученых, которые знали, что их труды не могут не быть оценены по достоинству, и класс меценатов, которые не искали лучшего вложения своих богатств, чем в те искусства и науки, которые делают жизнь человека достойной. Более того, флорентийцы как нация были одушевлены сильнейшим чувством величия и великолепия Флоренции. Подобно древним афинянам, у них не было более горячей страсти, чем любовь к своему городу. Как бы сильно мы ни сожалели о жестоких разногласиях, которые время от времени раскалывали содружество на партии, о безжалостной внешней политике, разрушившей Пизу, о политической низости Медичи и низменном эгоизме *оттимати*, факт остается фактом: эстетически и интеллектуально Флоренция была "городом славы", реализованным идеалом культуры и человечности для всей остальной Италии и, благодаря итальянскому влиянию в целом, для современной Европы и для нас.

Что делает роль Флоренции в истории образования еще более примечательной, так это то, что главы политических фракций были в то же время лидерами интеллектуального прогресса. Ринальдо дельи Альбицци и Козимо Медичи, будучи противниками в смертельной дуэли на сцене республики, соперничали друг с другом в покровительстве, которое они оказывали литераторам. Ринальдо сам был неплохим ученым, и он выбрал одного из величайших людей того времени, Томмазо да Сарцану, в качестве наставника для своих детей. О заслугах Паллы дельи Строцци в деле изучения греческого языка я уже говорил во [второй главе](#) этого тома. Помимо приглашения, которое по его приказу было направлено Мануилу Хрисолорасу, он использовал свое богатство и влияние для снабжения книгами, необходимыми для изучения эллинизма. "Мессер Палла, - говорит Веспасиано, - посылал в Грецию бесчисленные тома, и все за свой счет. "Космографию" Птолемея вместе с рисунком, сделанным для ее иллюстрации, "Жизнеописания" Плутарха, труды Платона и очень многие другие труды философов он получил из Константинополя. "Политики" Аристотеля не было в Италии, пока мессер Палла не прислал за ними; и когда мессер Лионардо из Аретцо перевел их, копия попала к нему в руки." [\[125\]](#) В том же духе практической щедрости Палла дельи Строцци посвящал свой досуг и энергию благоустройству *студии пабблико* во Флоренции, придавая ей гуманный характер. культура, которую он сохранял на протяжении всей эпохи Возрождения. [\[126\]](#) Ему, опять же, принадлежит слава первого коллекционера книг с явной целью основания публичной библиотеки. Этот проект занимал мысли Петрарки, и его полезность была признана Колуччо де Салютати, [\[127\]](#) но пока никто не решился его осуществить. Страстно любя литературу, мессер Палла всегда держал в своем доме и за его пределами лучших переписчиков, которые были во Флоренции, как для греческих, так и для латинских книг; и все книги, которые он мог найти, он покупал по всем предметам, намереваясь основать самую благородную библиотеку в Санта-Тринита и воздвигнуть там для этой цели самое красивое здание. Он хотел, чтобы церковь была открыта для публики, и выбрал Санта-Тринита, потому что она находилась в центре Флоренции и была

очень удобна для всех. Последовали его бедствия, и то, что он задумал, он не смог выполнить". [128]

Можно вкратце рассказать о бедствиях, на которые ссылается Веспасиано. Палла дельи Строцци, по натуре более приспособленный к учебе, чем к партийной борьбе, был одним из богатейших князей-купцов Флоренции. Во время *катастрофы* 1427 года его имущество было оценено на одну пятую больше, чем возвращенное Джованни, тогдашним главой семьи Медичи; а чрезвычайный налог (*gravezza*), наложенный на него, достиг суммы в 800 флоринов.

[129] Во время конфликта за власть, который продолжался между Альбицци и Медичи, он стремился сохранять нейтралитет; но после возвращения Козимо из ссылки в 1434 году присутствие столь могущественного и богатого лидера в государстве казалось опасным для партии Медичи. Их политика заключалась в том, чтобы уничтожить все величие, кроме их собственного, и обратить флорентийцев в рабство, создав группу зависимых и союзников, интересы которых должны быть связаны с их собственным превосходством. [130]

Соответственно, Палла дельи Строцци был сослан в Падую на десять лет, и по истечении этого срока ему не разрешили вернуться во Флоренцию. Он умер в изгнании, разлученный со своими детьми, которых постигла та же участь в других частях Италии, в то время как Флоренция лишилась услуг самого просвещенного из своих сыновей. [131] Несмотря на многочисленные невзгоды последних лет жизни, Палла продолжал находить утешение в учебе. Джон Аргиропулос был его гостем в Падуе, где сбор книг и углубление знаний греческого языка шли с не меньшей энергией, чем во Флоренции.

Работа, начатая Паллой дельи Строцци во Флоренции, была умело продолжена его врагом Козимо Медичи. Хотя историк не может уважать этого человека, чьи низкие и эгоистичные амбиции подорвали свободы его родного города, нет никаких сомнений в том, что он заслуживает уважения благоразумного и щедрого Мецената. Ни один итальянец его эпохи так характерно не сочетал рвение к учебе и щедрость во всем, что могло способствовать развитию искусства и литературы, с политической коррупцией и циничным эгоизмом. Козимо рано поступил в бизнес-класс своего отца и развил в себе редкие способности к финансам. Эту способность он впоследствии использовал в управлении государством, а также в приумножении богатства своей семьи за счет торговли. По мере того как он приобретал политическое значение, он поставил своей главной целью передавать денежные средства в руки нуждающихся граждан и вовлекать общественные дела Флоренции в свою собственную торговлю посредством займов и других средств. Он не только привязывал людей долгами и обязательствами к своей персоне, но и затруднял контроль за государственными расходами без учета своего частного банка. Немногие мужчины лучше понимали ценность денег в приобретении власти или преимуществ их использования таким образом, чтобы личная демонстрация не вызывала ревности. "Зависть, - заметил он, - это растение, которое нельзя поливать". Соответственно, хотя он потратил большие суммы на общественные работы, он отклонил роскошный проект Брунеллески по строительству дворца на том основании, что такое жилище больше подходило принцу, чем гражданину. В своих привычках он был сдержан и прост. Азартные игры он ненавидел и находил развлечение в обществе ученых людей. Иногда, но редко, он играл в шахматы. Современники рассказывали, что, подобно древнему римлянину, он вставал рано утром, чтобы подрезать собственные грушевые деревья и посадить виноградные лозы. Во всем он предпочитал реальность демонстрации власти и богатства. Обладая верховной властью во Флоренции, он, казалось, был поглощен скучной работой бухгалтерии. Другие люди были выдвинуты для осуществления замыслов, которые он задумал; и

этой политике управления государством с помощью кошачьих лап следовали так последовательно, что в конце его жизни его влиянию угрожали те самые инструменты, которые он создал. В то же время он осуществлял фактический деспотизм с безжалостным упорством, непревзойденным для Висконти. Жестокости, с которой он довел Альбицци до разорения, продлил изгнание Паллы дельи Строцци, довел Джанноццо Манетти до нищеты и вообще притеснял своих соперников принудительными займами — используя налогообложение, как поньяр, цитируя фразу Гвиччардини, — достаточно, чтобы показать, что только благоразумие заставляло его воздерживаться от насилия. [132] Холодный и расчетливый политик, дальновидный, скрытный и скрытничавший, руководил всеми мерами, которые он принимал, чтобы закрепить свою семью во Флоренции. В результате корни рода Медичи, хотя и казались пускаемыми медленно, пустили корни глубоко; можно подумать, что они были ниоткуда, просто потому, что они не оставили ни одной части непроникшей. Республика, подобно Гулливеру в "Лилипутии", была связана тысячью нитей, каждая из которых была почти незаметна, но настолько разнообразна по качеству и так тонко переплетена, что вырваться из сети было невозможно.

Большая часть влияния, приобретенного Козимо и переданного его потомкам, была обусловлена симпатией к интеллектуальному движению той эпохи. Он получил солидное образование, и хотя он не был знатоком греческого языка, его ум был открыт интересам, которые в пятнадцатом веке поглощали флорентийцев. Он собирал рукописи, драгоценные камни, монеты и надписи, используя ресурсы своего банковского дома и привлекая к этой работе своих коммерческих агентов. Художники и скульпторы, не меньше, чем ученые и переписчики, нашли в нем щедрого покровителя. После смерти его сына Пьеро сокровища Дома Медичи, не считая посуды и дорогой мебели, были оценены в 30 000 золотых флоринов. [133] Суммы денег, потраченные им на строительство, были огромными. Считалось, что год за годом он тратил от 15 000 до 18 000 золотых флоринов ежегодно на строительство зданий для общественного пользования. [134] Из них наиболее важными были монастырь Святого Марка, который в общей сложности стоил около 70 000 флоринов; Сан-Лоренцо, который стоил еще 40 000; и аббатство Фьезоле. На свой собственный дворец он потратил 60 000 флоринов, в то время как строительство его вилл в Кареджи и Кафаджиуоло предполагало дополнительные крупные расходы. Ни один шиллинг из этих денег не был потрачен впустую, ибо, хотя Козимо избегал упреков в личной расточительности, он давал работу множеству чернорабочих, которые регулярно получали заработную плату каждую субботу в его офисе. Этому свободному использованию богатства при найме ремесленников можно приписать популярность Медичи среди низших классов, которая не раз была им так полезна при опасном повороте судьбы.

Понимая условия, при которых тирания могла успешно осуществляться в пятнадцатом веке, Козимо придавал большое значение этому великодушию. Позже он часто сожалел, что "не начал тратить деньги на общественные работы на десять лет раньше". [135] Каждое дорогостоящее здание, носившее его имя, каждая библиотека, которую он открывал для публики, и все пожертвования, щедро раздаваемые ученым, служили двойной цели - укреплению деспотизма его дома и удовлетворению его личного энтузиазма в отношении культуры. К этим мотивам тирана и дилетанта примешивалось суеверие. Зная, что большая часть его богатства была нажита нечестным путем, он умолял папу Евгения указать надлежащий способ возмещения ущерба. Евгений посоветовал ему потратить 10 000 флоринов на монастырь

Святого Марка. Вслед за этим Козимо выделил сумму, в четыре с лишним раза превышающую эту, пристроив знаменитую библиотеку Марциана и отнесшись к новому фонду Оссерванцы, одной из любимых причуд папы, с более чем королевской щедростью. [136]

О его щедрости по отношению к литераторам сохранились самые поразительные подробности. Когда Никколо де Никколи разорился, покупая книги, Козимо открыл для него неограниченный кредит в банке Медичи. Кассиры получили приказ соблюдать чеки старого ученого, и таким образом Никколо получил 500 дукатов на свои личные нужды. [137] С Томмазо Парентучелли обошлись не менее великолепно. Став епископом Болоньи вскоре после смерти своего покровителя Альбергати, он оказался с очень скудными доходами и без каких-либо ближайших перспектив на повышение. Однако расходы, связанные с его положением, были приличными, и у него был случай попросить ссуду у Медичи. Козимо разослал циркулярное письмо своим корреспондентам, в котором просил их снабдить Томмазо теми суммами денег, которые ему могут понадобиться. [138] Когда епископ Болоньи принял тиару с именем Николая V., он вознаграждал Козимо, сделав его своим банкиром; и Юбилей, принесший 100 000 дукатов в папскую казну, окупил это обязательство сторицей. [139]

Главным преимуществом, которое Козимо Медичи принес образованию, было накопление и размещение больших публичных библиотек. Во время своего изгнания (3 октября 1433— 1 октября 1434) он построил Библиотеку Святого Джорджо Маджоре в Венеции, а после возвращения во Флоренцию сформировал три отдельные коллекции рукописей. Пока строился зал Библиотеки Сан-Марко, Никколо де Никколи умер в 1437 году, завещав свои 800 рукописей, оцененных в 6000 золотых флоринов, шестнадцати попечителям. Среди них были Козимо и Лоренцо Медичи, Амброджо Траверсари, Лионардо Бруни, Карло Марсуппини, Поджо Браччиолини, Джанноццо Манетти и Франко Саккетти. В то же время поместье Никколо было обременено большими долгами. Эти долги Козимо погасил, получив взамен право распоряжаться библиотекой. В 1441 году здание монастыря было закончено. Там были помещены четыреста рукописей Никколо с надписью на каждой: *Ex hereditate doctissimi viri Nicolai de Nicolis de Florentia*. Томмазо Парентучелли составил каталог по просьбе Козимо, в котором он отметил не только названия книг Никколи, но и имена других, желающих пополнить коллекцию. Впоследствии этот каталог послужил руководством для основателей библиотек Фьезоле, Урбино и Пезаро и, по словам Веспасиано, был незаменим для коллекционеров книг. [140] Из оставшихся 400 томов Козимо сохранил некоторые для своей собственной (медичи) библиотеки, а некоторые подарил друзьям. В то же время он не жалел сил на пополнение коллекции Марциана. Его агенты получили инструкции купить кодексы, в то время как Веспасиано и фра Джулиано Лапаччини были наняты для копирования редких рукописей. Как только Козимо закончил строительство аббатства Фьезоле, он приступил к оснащению его библиотекой, отвечающей потребностям ученых духовных лиц. О примененном им методе Веспасиано, который действовал как его агент, передал следующий отчет: [141] — "Однажды, когда я был в его комнате, он сказал мне: "Какой план вы можете порекомендовать для формирования этой библиотеки?" Я ответил, что купить книги было бы невозможно, поскольку их нельзя было купить. "Что же тогда вы предлагаете?" добавил он. Я сказал ему, что их нужно скопировать. Затем он спросил, возьмусь ли я за это дело. Я ответил, что готов. Он велел мне начать на досуге, сказав, что оставляет все на мое усмотрение; и в связи с деньгами, которых требовалось день ото дня, он приказал, чтобы дон Арканджело, в то время настоятель монастыря, выписывал чеки на свой банк, что должно соблюдаться. Начав собирать коллекцию, поскольку по его воле она должна была быть закончена как можно быстрее, а в

деньгах недостатка не было, я вскоре нанял сорок пять переписчиков и за двадцать два месяца подготовил двести томов по замечательному списку, составленному папой Николаем V. " Две библиотеки, сформированные Козимо таким образом для монастырей Сан-Марко и Фьезоле, вместе с его собственными частными коллекциями, составляют старейшую часть нынешней Лаврентийской библиотеки. На титульных листах многих почтенных рукописей до сих пор можно прочесть надписи, свидетельствующие о щедрости Медичи и призывающие благочестивых студентов помянуть души своих благодетелей в своих молитвах [142]-*Orato itaque lector ut gloria et divitiæ sint in domo ejus justitia ejus et maneat in священное писание.*

Рвение Козимо к учебе не ограничивалось строительством библиотек или коллекционированием книг. Его дворец был центром литературного и философского общества, объединявшего все остроумие Флоренции и гостей, стекавшихся в культурную столицу. Веспасиано прямо заявляет, что "он всегда был отцом и благодетелем тех, кто проявлял хоть какое-то превосходство". [143] Отличаясь разносторонностью вкусов и всесторонним интеллектом, он составлял собственное мнение о выдающихся людях, с которыми соприкасался, и беседовал с каждым на его особую тему. "Давая аудиенцию ученому, он рассуждал о письмах; в компании богословов он продемонстрировал свое знакомство с теологией, отраслью науки, которую он всегда изучал с удовольствием. То же самое и в отношении философии. Астрологи сочли его хорошо разбирающимся в их науке, поскольку он в некоторой степени придавал астрологии веру и использовал ее в определенных частных случаях. Музыканты подобным же образом воспринимали его мастерство в музыке, чем он очень восхищался. То же самое было верно в отношении скульптуры и живописи; в обоих этих искусствах он разбирался в совершенстве и проявлял большую благосклонность ко всем достойным мастерам. В архитектуре он был непревзойденным знатоком, ибо без его мнения и советов ни одно строительство не начиналось и не доходило до конца". [144]

Проницательность характера, которой Козимо обладал в очень высокой степени, не только позволила ему оказывать просвещенное покровительство искусству и литературе, но и обеспечить будущие потребности в эрудиции. Воодушевленный присутствием греков, которые переполняли Флоренцию во время заседания Собора в 1438 году, он разработал план поощрения изучения эллинизма. Именно он основал Платоновскую академию и обучил Марсилио Фичино, сына своего врача, специальной цели толкования греческой философии. Фичино в письме Лоренцо Медичи отмечает, что в течение двенадцати лет он беседовал с Козимо по вопросам философии и всегда находил его столь же острым в рассуждениях, сколь благоразумным и сильным в действиях. "Я многим обязан Платону, и Козимо не меньше. Он понял для меня добродетели, о которых Платон дал мне представление". Таким образом, человек, чей политический цинизм воплощен в таких апофегах, как эти: "Несколько алых локтей наполнили бы Флоренцию гражданами"; "Вы не можете управлять государством с помощью патерностеров"; "Лучше, чтобы город был разрушен, чем город, потерянный для нас", — должен своим отношением к ученым и своим энтузиазмом к культуре по—прежнему вызывать наше восхищение и уважение.

Среди друзей Козимо, чьему личному влиянию во Флоренции Возрождение Образования дало мощный импульс, Никколо де Никколи заслуживает нашего самого пристального внимания. [145] Роль, которую он сыграл в продвижении греческих исследований, уже была замечена, и

мы видели, что его личная библиотека составила ядро коллекции Марциана. Из восьмисот томов, завещанных его душеприказчикам, большинство было переписано его собственной рукой, поскольку он был усерден в этом труде и превозносил себя как в мастерстве владения скорописью, так и печатным шрифтом. [146] Все его состояние было потрачено задолго до смерти на покупку рукописей или приобретение копий на расстоянии. "Если он слышал о какой-либо книге на греческом или латыни, которую нельзя было достать во Флоренции, он не жалел денег на ее приобретение; количество латинских книг, которыми Флоренция полностью обязана его щедрости, невозможно сосчитать". [147] Поэтому велик, должно быть, был восторг, с которым он однажды приветствовал рукопись, содержащую семь трагедий Софокла, шесть из которых были написаны на латыни. Эсхил и "Аргонавтика" Аполлония Родия. [148] Он стремился собирать информацию не только для собственного использования. Он так щедро одалживал свои книги, что на момент его смерти было выдано двести томов; [149] и, когда казалось, что библиотека Боккаччо погибнет от забвения, за свой счет он предоставил для нее солидные деревянные шкафы в монастыре Святого Спирито. Однако мы не должны делать вывод, что Никколо был простым переписчиком и коллекционером. Напротив, он взял за правило сопоставлять несколько рукописей автора, над текстом которого работал, устранял очевидные ошибки и предлагал исправления, помогая таким образом заложить основы современной критики. Его суждения в вопросах стиля ценились настолько высоко, что для ученых было обычным делом представлять свои эссе на суд его глаз, прежде чем они отваживались на публикацию. Так, Лионардо Бруни прислал ему свою "Жизнь Цицерона", назвав его "цензором латинского языка". [150] Несмотря на прекрасное чувство языка, Никколо никогда не появлялся в литературном мире как автор. Его враги максимально использовали это нежелание, утверждая, что он сознавал собственную некомпетентность, в то время как друзья объясняли его молчание изысканной утонченностью вкуса. [151] Возможно, он вспомнил эпigramму Тацита на Гальбу — *всеобщий консенсус в отношении империи низи имперассет* — и применил ее к себе. Несомненно, его сдержанность в эпоху, примечательную демонстрацией высокомерия, способствовала его выделению. Положение, которое он занимал во Флоренции, было положением литературного диктатора. Всех, кто нуждался в его помощи и совете, принимали с учтивостью. Он открыл свой дом для молодых людей из разных частей света, вступал в диспуты с любопытными и предоставлял невоспитанным учителей. Иностранцы со всех концов Италии и Европы наносили ему визиты: "незнакомцы, приезжавшие во Флоренцию в то время, если они упускали возможность увидеть его дома, думали, что они не были во Флоренции". [152] Дом, в котором он жил, был достоин его утонченного вкуса и утонченных суждений; ибо он основал музей древностей — надписей, мрамора, монет, ваз, и гравированные драгоценные камни. Там он не только принимал студентов и незнакомых людей, но и беседовал со скульпторами и художниками, обсуждая их изобретения так же свободно, как критиковал сочинения ученых. Вполне вероятно, что классицизм Брунеллески и Донателло, которые оба были в числе его близких друзей, может быть отчасти обязан, по крайней мере, его рассуждениям о манерах древних. [153] Плиний, как мы знаем, был одним из его любимых авторов; поскольку, услышав, что в Любеке существует полный кодекс "Естественной истории", он не оставил камня на камне, пока его не перевезли во Флоренцию. [154]

Рассказ Веспасиано о своих личных привычках представляет собой настолько яркую картину, что я не могу удержаться от подробного перевода: "Прежде всего, он был очень приятен собой; оживлен, потому что на его губах всегда играла улыбка; и очень приятен в разговоре. Он носил одежду из прекраснейшей малиновой ткани до земли. Он так и не женился, чтобы ему не

мешали в учебе. Его повседневные нужды обеспечивала экономка. Он был превыше всех людей самым чистоплотным в еде, как и во всем остальном. Когда он садился за стол, то ел из красивых старинных ваз; и точно так же весь его стол был уставлен фарфором и другими сосудами необычайной красоты. Кубок, из которого он пил, был из хрусталя или какого-то другого драгоценного камня. Видеть его за столом — совершенный образец человека древности - было поистине очаровательным зрелищем. Он всегда желал, чтобы салфетки, поставленные перед ним, были самыми белыми, как и все полотняные. Кого-то может удивить количество ваз, которыми он владел, на что я отвечаю, что вещи такого рода тогда не ценились так высоко и не пользовались таким большим уважением, каким они стали с тех пор; а у Никколо повсюду были друзья, и любой, кто хотел доставить ему удовольствие, присылал ему мраморные статуэтки или старинные вазы, резьбу, надписи, рисунки, сделанные руками выдающихся мастеров, и мозаичные таблички. У него была самая красивая карта, на которой были отмечены все части и города мира; другие части Италии и Испании были раскрашены. Флоренция не могла бы показать дом, более богатый украшениями, чем его, или дом, в котором было бы больше изящных предметов; так что все, кто приходил туда, находили бесчисленное множество ценных вещей на любой вкус." Что отличало Никколо, так это сочетание утонченности и гуманного воспитания с открытой душой, щедростью и преданностью делу культуры. Он знал, как выдвинуть многообещающих людей и поставить их на высокие посты. Тем не менее, в обмен на предоставленные льготы он требовал большей уступчивости, чем можно было ожидать от надменного и негибкого характера выдающихся ученых. Оппозиция и противоречие вызывали у него ревность и пронизывали сарказмом его едкую речь. Хрисолорас и Гуарино, Ориспа и Филельфо, посетив Флоренцию по его приглашению, сочли город невыносимым из-за противодействия, поднятого Никколо против них.

Среди талантливых людей, украшавших Флоренцию в этот период, никто не выделяется более выдающейся личностью, чем Лионардо Бруни. В детстве в Ареццо, где его родители занимали скромное положение, он имел обыкновение, как он сообщает нам в своих "Комментариях", [155] смотреть на портрет Петрарки, страстно желая, чтобы он снискал такие же лавры на поприще науки. Однако поначалу, будучи бедным и не имевшим никакой репутации, он был вынужден применить свои таланты к изучению права. От этих негениальных трудов его спасло покровительство Салютато и влияние Хризолора [156]. Начав писать для публики, его слава как латиниста вскоре распространилась настолько широко, что он был назначен апостольским секретарем Римской курии. После того, как разделил невзгоды Иоанна XXIII. в Констанце и служба при Мартине V. во Флоренции, он был назначен в канцелярию республики в 1427 году, этот пост он занимал до своей смерти в 1443 году. Таким образом, его биография иллюстрирует все, что было сказано о приеме гуманистов на высокие посты в Церкви и государстве. Его дипломатические письма считались образцами в такого рода сочинении, а его публичные речи, тщательно подготовленные заранее, сравнивались с речами Перикла. Флоренция была переполнена переписчиками, которые размножали его рукописи, рассеивая их по всей Европе; и когда он выезжал за границу, его сопровождала многочисленная свита ученых и иностранцев. [157] Он двигался с серьезностью и величием человека, одетый в красные одежды флорентийского бюргера, говорил мало, но проявлял подчеркнутую вежливость к богатым людям. Среди сочинений, обеспечивших ему репутацию, в первую очередь следует упомянуть латинскую "Историю Флоренции", произведение, уникальное в своем роде в то время в Италии. [158] Благодарная республика вознаградила своего канцлера, даровав ему гражданство Флоренции и освободив автора и его детей от налогов. О высокой оценке Бруни своей латыни

свидетельствует его смелость восстановить второе десятилетие Ливия в сборнике, озаглавленном "Первое пуническое время". Его средневековая эрудиция проявилась в истории вторжения готов в Италию, в то время как его более элегантный стиль нашел широкое применение в латинских Жизнеописаниях Цицерона и Аристотеля, в книге комментариев к его собственному времени и в десяти томах Собрания писем. Эти оригинальные работы, возможно, имели меньшее значение, чем переводы Бруни с греческого, которые в его эпоху считались образцами здоровой учености, а также чистой латыни. Эрудиция пятнадцатого века должна была благодарить его за трудолюбие за критическое толкование "Этики", "Политики" и "Экономики" Аристотеля. [159] "Политика" была посвящена графу Вустерскому, и автограф был отправлен в Англию. Некоторая задержка с признанием столь великолепной дани уважения заставила надменного ученого передать честь своего посвящения Евгению IV. Он отменил свое первое предисловие, заменил его новым и получил от его Святейшества похвалу и благодарность, которых он добивался, в изобилии. [160] Бруни перевел "Федо", "Критона" и "Апологию" Платона, "Федра" и "Горгия" вместе с "Посланиями". К этим версиям следует добавить шесть Жизнеописаний Плутарха и две речи Демосфена. Таким образом, мы никоим образом не исчерпали список латинских сочинений Бруни, который включал противоречивые сочинения, инвективы, моральные эссе, речи и трактаты на литературные или антикварные темы. Если мы примем во внимание, что посреди этих тяжелых трудов и под давлением своих общественных обязательств он все же находил время для сочинения итальянских жизнеописаний Данте и Петрарки, мы поймем всеобщее восхищение, выражаемое его современниками по поводу его разносторонних талантов, и разделим их благодарность за столь многочисленные заслуги в деле образования. Когда мессер Лионардо умер в 1443 году, приоры распорядились устроить ему публичные похороны "по обычаю древних". Его тело было облачено в темный шелк, а на груди у него был экземпляр "Истории Флоренции". В таком наряде он торжественно проследовал в Сан-Кроче, где Джанноццо Манетти в присутствии синьории, иностранных послов и двора папы Евгения произнес надгробную речь и возложил ему на голову лавровый венец. [161] Памятник, под которым покоятся кости мессера Лионардо, является превосходным образцом флорентийской надгробной скульптуры, выполненной Бернардо Росселлино.

Напротив гробницы Бруни в Сан-Кроче находится гробница Карло Аретино, выполненная с более тонким искусством и в более богатом стиле Дезидерио да Сеттиньяно. Мессер Карло, сменивший Бруни на посту канцлера республики, разделял при жизни, а также общественные почести, оказанные ему после смерти, очень похожее состояние. Его фамилия была Марсуппини, и он родился в хорошей семье в Ареццо. Юношей приехав во Флоренцию изучать греческий язык, он попал в поле зрения Никколо де Никколи, который познакомил его с семьей Медичи и устроил его на работу в студию Уффициали делло за высокую зарплату. В то время, когда он начал читать лекции, Евгений держал свой Двор во Флоренции. Кардиналы и племянники папы, сопровождаемые иностранными послами и апостольскими секретарями, смешались с флорентийскими бюргерами и студентами, сидевшими на расстоянии вокруг стола молодого ученого. Начитанность Карло была известна как обширная, а его память отмечалась как потрясающая. И все же во время этой первой лекции он намного превзошел все, что от него ожидали. "Перед толпой ученых мужей, - говорит Веспасиано, - он привел великолепное доказательство своей памяти, ибо ни у греков, ни у римлян не было автора, которого он не цитировал". [162] Филельфо, который в то время также читал лекции во Флоренции, испытал унижение, увидев, что большая часть его аудитории переключилась на Марсуппини. Эту рану своему тщеславию он так и не простил. Под влиянием Лоренцо Медичи

(младшего брата Козимо) Карло Марсуппини сначала был назначен апостольским секретарем, а затем назначен в канцелярию Флоренции. Он был серьезен в манерах, неразговорчив в речи и сильно склонен к меланхолии. Его современники считали его нерелигиозным человеком, и говорили, что он умер без исповеди и причастия. [163] Это не помешало ему быть похороненным в Сан-Кроче с церемониями, подобными тем, которые были назначены для мессера Лионардо. Маттео Пальмиери произнес надгробную речь и возложил лавровый венок на его брови. Вклад Марсуппини в науку был в основном в стихах; среди них высоко ценились его переводы "Батрахомиахии" и первой книги "Илиады".

Маттео Пальмиери, произнесший надгробную речь по мессеру Карло Аретино, происходил из знатного флорентийского рода и благодаря своим способностям достиг значительного общественного влияния. Он в основном известен как автор мистической поэмы под названием "Читта жизни", которая, хотя и была осуждена за свои еретические взгляды, получила от Фичина для своего автора титул *Поэта теологического*. Обсуждение обстоятельств, при которых была написана эта аллегория в стиле Данте, секретности, в которой она находилась до смерти поэта, и связи взглядов Пальмиери с ересями, модными во Флоренции, относится к следующему разделу моей работы. [164] Он претендует на мимолетное внимание здесь, среди гуманистов, которые приобрели высокое положение и почести благодаря его красноречию и стилю.

Джанноццо Манетти принадлежал к знаменитому дому и в юности, как и другие флорентийцы знатного происхождения, был обучен коммерческим делам. [165] В возрасте двадцати пяти лет он отбросил родительский контроль и полностью отдался письмам. Он был так упрям в приобретении знаний, что позволил себе поспать всего пять часов и провел остаток своей жизни в учебе. Целых девять лет он ни разу не пересекал реку Арно, но оставался в стенах своего дома и сада, которые сообщались с монастырем Сан-Спирито. Страстно любя диспуты, он искал своего главного развлечения в дискуссионном обществе, основанном Марсигли. Амброджо Траверсари был его учителем греческого языка. Латынь давалась ему без труда, и вскоре он с такой легкостью овладел ею, что, как говорят, даже Лионардо Бруни позавидовал его беглости. Однако он не был удовлетворен этими языками и, чтобы совершенствоваться в иврите, держал еврея в своем собственном доме. [166] Когда он достаточно хорошо изучил иврит, он обратил оружие, предоставленное ему его наставниками, против их ересей, основывая свои аргументы на таких интерпретациях текстов, которые подсказывали ему его превосходные филологические знания. Главным произведением его литературного досуга было полемическое рассуждение "Против иудеев и родов", поскольку, в отличие от Марсуппини, он поставил свою эрудицию исключительно на службу христианской вере. Еще одним плодом его изучения иврита стал новый перевод Псалмов с оригинала.

Манетти был далеко не простым студентом. В лучшие годы своей жизни он постоянно работал послом Республики при Венецианском, Неаполитанском, Римском и других дворах Италии. Он управлял правительствами Пеши, Пистойи и Скарпарии в очень трудные времена, завоевав исключительную репутацию честного и справедливого человека. На всех государственных мероприятиях его красноречие делало его незаменимым для синьории, в то время как списки его сочинений включают многочисленные речи на различные темы, адресованные властителям и князьям по всей Италии. [167] С его жизнью связана любопытная история, которая иллюстрирует важность, придаваемую в то время публичным выступлениям. После коронации императора Фридриха III флорентийцы направили пятнадцать послов, в том числе Манетти, в сопровождении канцлера Карло Аретино, поздравить его. Манетти был коллегой синьории, и

поэтому на него, естественно, легло бы выполнение этой задачи, если бы эта честь не была оказана Карло в результате частных махинаций семьи Медичи. Канцлер должным образом произнес подготовленную речь, на которую от имени императора ответил Эней Сильвий. Некоторые темы, затронутые в этом ответе, требовали возражений со стороны флорентийцев, но мессер Карло заявил, что не может говорить без предварительной подготовки. Быть вынужденными держать язык за зубами перед императором и всей его свитой было горьким унижением для жителей Флоренции. Как они могли вернуться домой и признаться, что остроумный секретарь заставил замолчать риторику их канцлера? В своем сильном отчаянии они умоляли Манетти помочь им; после чего он встал и произнес импровизированную речь. "Когда все было закончено", - говорит Веспасиано, [168] "все компетентные судьи, которые понимали латынь и могли понимать ее, заявили, что импровизированная речь мессера Джанноцци превосходила ту, которую подготовил мессер Карло".

Латинская жизнь Манетти содержит бесчисленные примеры чудес, сотворенных его риторикой. [169] Однако мы ошиблись бы, если бы вообразили, что речи, произносимые в торжественных случаях даже такими прославленными ораторами, как Манетти или Пий II, были отмечены какими-либо из более благородных качеств красноречия. [170] Они состоят из общих мест, свободно перемежающихся историческими примерами и объемистыми цитатами. Лишенные очарования, оригинальности, они сохранились как памятники энтузиазма той эпохи в отношении классической эрудиции и терпения, с которым папы и принцы на два-три часа кряду прислушивались к самодовольным речам напыщенного педанта.

Джанноццо Манетти, наконец, приобрел во Флоренции такую большую власть, что возбудил зависть партии Медичи. Они разорили его, обложив непомерными налогами, и он был вынужден закончить свою жизнь изгнанником из родной земли. [171] Флоренция никогда не вела себя хуже по отношению к более безупречному гражданину; ибо Манетти, своим жизнерадостным принятием общественных обязанностей, своей осмотрительностью при исполнении важных обязанностей, благочестием и трезвостью в личной жизни, своими обширными познаниями и искренним рвением, с которым он стремился к знаниям, показал себя образцом для таких людей, как возможно, это спасло бы Государство, если бы безопасность была возможна. Он удалился ко двору Николая V, который ранее назначил его апостольским секретарем; а после смерти этого папы он искал последнего убежища у Альфонсо в Неаполе. [172] Там он полностью посвятил себя литературе, переведя весь Новый Завет и этические трактаты Аристотеля на латынь и доведя до конца свою великую противоречивую работу против евреев и язычников.

Немногие мужчины заслуживают более высокого места в списке достойных итальянцев, чем Манетти. Он был свободен от многих пороков эпохи Возрождения; его благочестие и мораль оставались незапятнанными контактом с античностью. Он также не превратил гражданина в студента. Его образование было разнообразным и глубоким. Вместо того чтобы заниматься только греческим и латынью, он овладел ивритом и стремился всесторонне овладеть всеми знаниями древнего мира. В то же время он жил в постоянном сочувствии к своему веку, разделяя его восторг от риторических проявлений и многословных диспутов и способствуя распространению знаний своим трудом переводчика. Вполне может возникнуть вопрос, как так получилось, что человек, во многих отношениях схожий с Пико, так сильно отстал от него в славе. Объяснение заключается в следующем: Манетти не хватало всего того, что возводит простую ученость в ранг искусства. Его латинский стиль был скучным; его мысли были

банальными. Когда влияние его голоса и личности прошло, не осталось ничего, что могло бы доказать его красноречие, кроме плохо переваренных фактов и неправильно примененных цитат. Тем не менее, работа, которую он выполнил в свое время, была хорошей, а место, которое он занимал, почетным. Потомки могут быть благодарны ему как одному из самых активных пионеров современной культуры.

Следующим требует внимания мужчина другого склада и призвания. Амброджо Траверсари был далек от того, чтобы разделять неоязыческий импульс классического возрождения; тем не менее, он был обязан гуманистическому энтузиазму политическим влиянием и высоким местом среди лидеров своего времени. Родившийся в Романье и еще ребенком принятый в монастырь дельи Анджели во Флоренции, он рано проявил свои литературные способности. В то время, когда знание греческого все еще было редким отличием, [173] Амброджо овладел элементами языка и изучал греческих отцов церкви в оригинале. Его келья стала местом встреч ученых мужей, где Козимо и Лоренцо Медичи, величественный Бруни и мрачный Марсуппини вступали в серьезную беседу с едким Никколи и оживленным Поджио. Его обширная переписка связывала его со студентами во всех частях Италии; не было ни одного важного открытия рукописи или плана строительства библиотеки или университета, в котором он не принимал бы участия в числе первых.

Казалось, что ему суждено провести мирную студенческую жизнь среди своих книг; и для этой карьеры природа выбрала маленького, худощавого, живого и трудолюбивого человечка. Однако добиться успеха в науке и избежать бремени известности в ту эпоху было невозможно. Евгений IV, проживавший во Флоренции, был настолько впечатлен его литературными достижениями и силой характера, что в 1431 году сделал его генералом Камальдозеского ордена; и с этого времени жизнь Траверсари была разделена между общественными обязанностями, для которых он едва ли был пригоден, и частными занятиями, которые поглощали его глубочайшие интересы. Он представлял собой любопытное зрелище монаха, разрывающегося между монастырскими угрызениями совести и более широкими притязаниями на гуманизм, который одно думал о своем Ордене, а другое - о своих друзьях-литераторах. Он взял за правило никогда не цитировать языческих поэтов в своих произведениях, как будто стихи Гомера или Вергилия были несовместимы с трезвостью христианина; однако его стремление дополнить свой стиль цicerоновскими фразами и передать потомкам образцы чистой латыни в своих посланиях доказывало, как высоко он ценил литературные достоинства. Поклявшись посвятить свои таланты служению церковному образованию, он с неохотой взялся за перевод Диогена Лаэртского по просьбе Козимо и выполнил эту задачу, горько оплакивая себя. В его лице мы являемся свидетелями конфликта гуманистического духа с церковной традицией — конфликта, в котором первому было суждено одержать полную и запоминающуюся победу.

Эти люди — Никколи, Бруни, Марсуппини, Манетти и Траверсари — сформировали литературную олигархию, окружавшую Козимо Медичи, и благодаря своему трудолюбию и влиянию восстановили изучение античности во Флоренции. В то время как они со страстной энергией вели работу возрождения, каждый в своей сфере, стечение внешних обстоятельств придало новый импульс их деятельности. Евгений IV, будучи изгнан из Рима в 1434 году, обосновал свою штаб-квартиру во Флоренции, куда в 1438 году перевел Собор, который впервые был открыт в Ферраре для ведения переговоров об объединении греческой и латинской церквей. Император Востока Иоанн Палеолог, окруженный своими богословами и

книжниками, вместе с папой Римским, которого сопровождала вереница кардиналов и секретарей, теперь разместились в городе Медичи. Для заседаний Собора было возведено временное здание в Санта-Мария-Новелла, и в течение нескольких месяцев Флоренция принимала в качестве гостей руководителей двух великих частей христианского мира. Какими бы неважными ни были результаты этого Собора, как политические, так и церковные, встреча восточных и западных держав на конклаве живо поразила воображение флорентийцев и придала более чем преходящий импульс их интеллектуальной энергии. Италия была на пороге того, чтобы стать не только хранилищем греческих знаний, но и единственным выразителем греческого духа в современном мире. Через пятнадцать лет после закрытия Собора нить, соединявшая Византию с Афинами через непрерывный ряд исторических традиций, оборвалась; в Европе уже начинало ощущаться, что на берегах Босфора не сохранилось ничего, кроме призрака греческой культуры, и что, если гению античности суждено осветить современный мир, свет должен забрезжить в Италии. [174]

Чувства, с которыми флорентийцы относились к своим греческим гостям, были странно смешанными. Почитая их как последних отпрысков благороднейшей нации прошлого, как подлинных учителей эллинской учености и мастеров аттического языка, они презирали их пустое тщеславие, их легкое отступничество, их тривиальный педантизм, их личные нелепости. Длинные бороды, ниспадающие мантии, окрашенные брови и фантастические головные уборы византийских софистов вызвали смех простых людей, привыкших к серьезному и простому *лукко* их собственных бюргеров. Напрасно Веспасиано твердил им, что этот костюм перешел к августейшей древности на протяжении пятнадцати столетий неизменной моды. [175] Более образованные граждане, опять же, вскоре обнаружили, что эрудиция этих чужаков была весьма поверхностной, и что их великолепные претензии сводились к способности бегло говорить на выхолощенном греческом, который был их родным языком. Правда в том, что, какими бы необходимыми ни были византийцы в самом начале Возрождения Образования, изучение греческого языка было обязано не столько их традиционным знаниям, сколько любопытству итальянских ученых. Элементарные элементы грамматики, каллиграфии и библиографических знаний были предоставлены греками; но даже не Хрисолорас и не Аргиропулос, а Фичино и Альдо, Палла дельи Строцци и Козимо де Медичи открыли афинскую литературу для понимания современного мира.

Из этих замечаний следует сделать некоторые исключения; ибо нет уверенности в том, что без руководства флорентийцы достигли бы того быстрого прогресса в философских исследованиях, который так странно контрастирует с их сравнительным пренебрежением к аттическим драматургам. Гемистос Плетон, в частности, выделяется как человек, сочетавший реальные знания с природным красноречием и оказавший существенное влияние на весь ход эпохи Возрождения, направив интеллект флорентийцев к Платону. Поскольку пребывание Плетона в Италии во время сессии Собора стало решающей эпохой в Возрождении Науки, обойти его без какого-либо подробного уведомления означало бы пропустить один из самых интересных эпизодов в истории пятнадцатого века. В то же время его биография так хорошо иллюстрирует состояние мысли в Греческой империи в момент ее падения, а также размышления, которые занимали философские умы в тот период в Италии, что, я надеюсь, следующее отступление будет сочтено простительным.

Георгиос Гемистос родился в Византии от знатных родителей примерно в 1355 году. [176] За долгую жизнь, проведенную в основном в Мореа, он был свидетелем всех невзгод, обрушившихся на его страну в течение ее затяжной столетней агонии, и, наконец, умер в 1450 году, незадолго до окончательного падения Греческой империи. О его ранней жизни мало что известно, кроме того факта, что он покинул Константинополь молодым человеком, чтобы изучать философию в Брусе. Бруса и Адрианополис, в то время две западные столицы магометанской державы, превосходили Византию в культуре, в то время как умственная сила мусульман намного превосходила умственную силу их изнеженных соседей. Молодой грек, который, кажется, уже утратил веру в христианство, был привлечен к мусульманскому двору Элиссаем, мудрецом еврейского происхождения. От этого учителя он узнал то, что тогда считалось доктринами Зороастра. Покинув Брусу, Гемистос поселился в Мистре на Пелопоннесе, на месте древней Спарты, где с некоторыми перерывами продолжал проживать до своей смерти. Греческий император по-прежнему номинально был владыкой Мореи, хотя завоевания франкских крестоносцев и вторжения турок ослабили его правление. Гемист, пользовавшийся доверием Императорского дома, был назначен судьей в Мистре и таким образом получил ясное представление о причинах упадка эллинской расы на ее древней земле. Картина, которую он рисует об анархии и безнравственности полуострова, ужасна. Он также исповедовал философию и в возрасте тридцати трех лет стал известным учителем. Взгляды, которые он сформировал относительно коррупции греческой церкви и деградации греческого народа, в сочетании с его философскими взглядами, вдохновили его на дальновидное стремление реформировать символ веры, этику и политические условия Эллады на языческой основе. Есть что-то смешное и печальное в зрелище этого софиста, питающего тщеславную фантазию о том, что он мог бы создать законченную религиозную систему, которая должна была бы заменить христианство и восстановить силы в разложившемся теле Греческой империи. В период расцвета эллинизма Гемист не открыл нового принципа жизненности, но вернулся к спекулятивному мистицизму неоплатоников. Их попытка языческого возрождения давным-давно потерпела неудачу в Александрии, в то время как сила все еще оставалась у греческой расы, и в то время как христианская церковь все еще была сравнительно неуверенна. Предлагать ее в качестве панацеи в 1400 году от зла Империи, которому угрожали турки, было просто ребячеством. Возможно, мудрецу несправедливо относиться к его системе серьезно. Милосердие побуждает нас рассматривать его как игрушку, изобретенную для развлечения в часы досуга. И все же ничто не может быть серьезнее его собственного языка и языка его учеников.

Труд, в котором он воплотил свое учение, назывался "Законы" — *ἡ τῶν νόμων συγγραφή*, или просто *νόμοι*. Она включала в себя метафизическую систему, очертания новой религии, сложную психологию и теорию этики, а также схему политического управления. Согласно его представлениям, существует единый Верховный Бог, Зевс, абсолютная и вечная реальность, существующая как однородное и нераздельное Существо, Воля, Деятельность и Могущество. Зевс порождает вечные Идеи, или Богов второго порядка; и эти боги, которым Гемист дал название греческих божеств, составляют иерархию, соответствующую абстрактным понятиям его логики. С целью гармонизации двойного ряда бессмертных и смертных существований они подразделяются, с помощью исключительно неуклюжего приспособления, на подлинных и поддельных детей Зевса. Первым среди подлинных сынов стоит Посейдон, идея идей, логический *высший род*, который потенциально включает в себя интеллектуальную вселенную. Следующей по рангу является Гера, женское божество, созданное непосредственно Зевсом, но

вторым действием, и, следовательно, уступающее Посейдону. Эти двое являются изначальными авторами существующего мира. За ними следуют три серии, каждая из пяти божеств, из которых первая группа, включая Аполлона, Артемиду, Гефеста, Диониса и Афину, представляет наиболее общие категории. Вторая группа, среди которых мы находим Атлас и Плутон, - это идеи бессмертной субстанции, вечно существующей в мире живых существ. Третья, к которой относятся, в частности, Геката и Гестия, - это идеи бессмертной субстанции, вечно существующей в неодушевленном мире. Следующими в порядке убывания идут ложные отпрыски Зевса, или Титаны, двое из которых, Кронос и Афродита, являются идеями формы и материи соответственно в предметах, подверженных разложению; в то время как Коре, Пан и Деметра являются специфическими идеями людей, животных и растений. До сих пор мы записывали генеалогию божественных существ, неподвластных законам времени или изменений, которые на самом деле являются чистыми мыслями или логическими сущностями. В последнюю очередь мы подходим к божествам третьей степени, подлинным и ложным детям, уже не Зевса, а Посейдона, вождя второй ступени иерархии. Планеты и неподвижные звезды составляют высшую из этих низших сил, в то время как демоны составляют низший класс из всех. В самом низу шкалы, ниже богов всех качеств, стоят люди, животные, растения и неорганический мир.

Будет воспринято, что эта схема является убогим неоплатонизмом — мистическим сплавом греческой мифологии и греческой логики, посредством которого продукты спекулятивного анализа гипостазированы как божественные личности. Гемист не предложил решения многих трудностей, присущих его доктрине. Как, например, мы можем приписать Зевсу рождение поддельного, а также настоящего потомства? Возможно, что философ, если бы его спросили на подобные темы, вернулся бы к удобной теории о постепенном снижении эффективности творческого акта; ибо, хотя он и воздерживается от принятия гипотезы эманации, из сравнения с многократным отражением в ряде зеркал, которое он использует для объяснения генеалогии богов, ясно, что какая-то подобная концепция изменила его взгляды. Указывать на оскорбления, нанесенные древним мифам, которыми он так щедро и произвольно пользовался, или настаивать на безумии всего этого тщеславия, рассматриваемого как сущность вероучения, которое должно возродить мир, было бы излишним; например, ничто не может быть более гротескным, чем персонификация идентичности и самоопределяющего движения под титулами Аполлона и Диониса, и никакая путаница не может быть более фатальной, чем отнесение пола к категориям разума. Единственное достоинство системы состоит в классификации понятий, концепции интеллектуальной иерархии, нисходящей взаимозависимыми ступенями от изначальной причины через чистые идеи к их копиям и материальным проявлениям в мире вещей. Мечты такого рода всегда преследовали метафизическое воображение, порождая гибриды поэзии и логики; и система Гемистоса вполне может занять место среди сотен подобных попыток времен Платона и Гегеля.

Как бы то ни было, его метафизика дала Гемистосу основу для культа, психологии, теории этики и политической программы. Он основал секту, и его эзотерические последователи называли его "мистагогом возвышенных и небесных догм". [177] Они верили, что душа Платона перевоплотилась в их учителя и что новое вероучение, исповедуемое им, заменит религии, существующие в мире. Среди наиболее выдающихся из этих неофитов был знаменитый Виссарион, который, по крайней мере, настолько воспринял доктрину своего учителя, что стал равнодушен к спорным пунктам между греческой и латинской церквями, когда в качестве платы за его отступничество предлагалась кардинальская шапка. Виссарион, однако, был слишком

светским человеком, чтобы мечтать о том, что Гемист восторжествует над Христом и Магометом. [178] Используя язык мистика и записывая свою убежденность в том, что душа Платона, освобожденная из тела Гемистоса, присоединилась к хору олимпийских божеств, [179] вполне вероятно, что он просто забавлялся, по моде своего времени, предположениями, которые забавляли его воображение, хотя и не оказывали серьезного влияния на его жизнь. Мы должны помнить, что это был период, когда ученые влияли на нравы античного мира, латинизировали свои имена и присваивали фантастические титулы в своих академиях и научных клубах. Никогда в мировой истории такого рода маскарад не достигал такой серьезности, даже больше, чем наполовину веры. Позиция, принятая Гемистом и его учениками, следовательно, не лишена ценности для иллюстрации интеллектуальных условий раннего Возрождения. Практическая религия имела мало энергии среди образованных классов. Интересы Церкви были скорее политическими, чем духовными. Наука еще не заявила о своих реальных правах ни в одной сфере мысли. Искусство и литература, воодушевленные страстью к античности, тем временем впитали в себя гений итальянцев; и сквозь тусклую эстетическую дымку угасающие огни Эллады смешались с рассветом современного мира.

Самым важным событием в жизни Гемистоса было путешествие, которое он совершил в Италию в свите Иоанна Палеолога в 1438 году. Втайне испытывая неприязнь к христианству вообще и к его латинской форме в частности, он пытался отговорить императора от участия в Соборе. Теперь он обнаружил, что избран одним из шести защитников дела Греческой церкви. Для утонченного греческого интеллекта в этом старческом маразме обреченной цивилизации не сохранилось большего интереса, чем к диалектике; и спорить о *filioque* христианского вероучения было честным занятием, когда не было ни малейшего шанса загнать рационалистическое язычество в глотку пап и кардиналов. Поэтому вполне вероятно, что Гемист не находил свое положение на Соборе особенно утомительным, даже несмотря на то, что ему приходилось выслушивать рассуждения о чистилище и исхождении Святого Духа и выдвигать аргументы в пользу восточной догмы, в то время как в глубине души он одинаково презирал сражающихся с обеих сторон.

Эффект, который он произвел за пределами Совета, был гораздо более лестным, чем та роль, которую ему пришлось играть в стенах Санта-Мария-Новелла. Вместо властолюбивых священнослужителей и упрямых теологов, озабоченных только расширением своих привилегий и установлением своего превосходства, он нашел множество сочувствующих и восторженных слушателей. Флорентийцы как раз тогда испытывали первый прилив страсти к изучению греческого языка. Платон, которому поклонялись как неизвестному богу, чье появление должно было рассеять туман схоластической теологии, был на устах у каждого студента. Людьми жаждали философии, которая обладала очарованием поэзии, которая восхищала воображение и в то же время укрепляла понимание, и которая придавала свое очарование мечтам и стремлениям юношеского возраста. Тем, чего они хотели, Гемист обладал в изобилии. Из сокровищ памяти, хранящихся в платоническом, пифагорейском и александрийском мистицизме, он изливал обильные потоки неизбирательной эрудиции. Уши его слушателей были открыты; их интеллект был далек от критического. Они воспринимали золото и шлак его речи одинаково, как чистейший металл. Не отрываясь от уст красноречивого, серьезного, красивого старика, который знал так много, что они желали узнать, они в своем экстазе называли его Сократом и Платоном. Именно во время этого визита во Флоренцию он принял имя Плетон, которое, хотя и звучало на Гемистосе, имело в себе оттенок фамилии его великого мастера. [180] Преданность его греческих учеников не шла ни в какое сравнение с популярностью, которую он приобрел

среди итальянцев; и он испытывал удовлетворение от уверенности, что посеянное им семя платонической философии взойдет на плодородной почве этих сильных и энергичных умов. Козимо Медичи, убежденный в важности изучения Платона своими беседами с Гемистосом, основал знаменитую Флорентийскую академию и поручил молодому Марсилио Фичино особую задачу по переводу и объяснению платоновских трудов. [181] Когда мы вспоминаем о влиянии, которое Платоновская академия Флоренции через Фичино и Пико делла Мирандола оказала на всю мысль Италии, а через Рейхлина и его ученика Меланхтона - на мысль Германии, мы можем оценить импульс, приданный Гемистосом движению пятнадцатого века. Можно добавить, что изучение платонизма в Италии так и не избавилось от впечатления неоплатонического мистицизма, исходившего от его ума.

Находясь во Флоренции, он опубликовал два трактата о Судьбе и о различиях между Платоном и Аристотелем. Первое было антихристианским произведением в той мере, в какой оно отрицало свободу произвольной деятельности как Богу, так и людям. Последнее вызвало полемику в Италии и Греции, которая надолго пережила своего автора, заставив ученых эпохи Возрождения с определенной целью изучить тексты и доктрины главных великих мыслителей древности. Гемист нападал на Аристотеля в целом за атеизм и нерелигиозную мораль, в то время как он доказывал, что система Платона в его интерпретации была глубоко теологической. Не вдаваясь в подробности спора, который продолжался много лет и вызывал самые горькие чувства с обеих сторон, достаточно заметить, что Аристотель на протяжении веков считался столпом ортодоксальности в Латинской церкви, в то время как Платон снабжал мыслителей-эклектиков легким прикрытием для рационалистических спекуляций и теистических ересей. Противники Аристотеля подрывали основы освященной веками схоластической системы. Противники Платона обвиняли его приверженцев в том, что они утопили христианство, которое они якобы поддерживали, в туманном океане еретического мистицизма. Действительно, трудно понять, как Фичино, который поклонялся Платону не менее пылко, чем Христу, мог избежать низведения христианства до уровня язычества, в то время как он пытался продемонстрировать, что система Платона содержит суть христианской веры. Фактически это было не что иное, как отказ от исключительных притязаний богооткровенной религии и авторитета Церкви.

Перед 1441 годом Гемистос вернулся в Мистру, где продолжал исполнять обязанности магистратуры. Его старость была омрачена ожесточенными нападками, направленными Геннадием, [182] впоследствии патриархом Константинополя, против эзотерических доктрин Νόμοι. Геннадий резко обвинил его в язычестве, продолжая свою полемику против книги еще долго после смерти ее автора. Это событие произошло в 1450 году. Гемистос был похоронен в Мистре; но пять лет спустя Сигизмондо Пандольфо Малатеста, движимый горячей любовью к науке и преклонением перед философом, эксгумировал его кости и перенес их в церковь Святого Франческо в Римини, которую Лео Альберти совсем недавно построил для него. [183]

О Виссарионе мне придется говорить в другом месте; но, чтобы завершить обзор изучения греческого языка во Флоренции в ту эпоху, необходимо упомянуть сейчас о двух греках, которые с выдающимся успехом занимали кафедры Университета.

То, что Джон Аргиропулос, уроженец Византии, посетил Италию до падения Греческой империи, явствует из рассказа Веспасиано о его пребывании с Паллой Строцци в Падуе в первые годы своего изгнания. [184] В 1456 году Козимо вызвал его во Флоренцию, обеспечил

ему хорошие должности в *студии паббликои* назначил государственным и частным преподавателем греческого языка и философии. Аргиропулос проработал во Флоренции пятнадцать лет, считая среди своих учеников самых выдающихся горожан. Из Флоренции он переехал в Рим, где Рейхлин услышал его лекцию о Фукидиде во время понтификата Сикста IV. Ученость Рейхлина, если мы можем доверять Меланхтону, была оценена этим мастером так высоко, что, уезжая из Рима, он воскликнул: "Теперь Греция перелетела через Альпы!" Более властной личностью, чем Аргиропулос, был Георгиос Трапезунтиос, который приехал в Италию еще в 1420 году и исповедовал греческий язык в Венеции, Флоренции, Риме и других городах. Нрав у него был гордый, холерический и вздорный; но история его споров относится [к следующей главе](#), в которой речь пойдет о Риме. Здесь я могу упомянуть, что во время пребывания папского двора во Флоренции он давал инструкции как государственные, так и частные, [\[185\]](#), однако, не вступая в близкие отношения с кругом Медиков. После Мануэля Хрисолораса можно с уверенностью сказать, что возрождением эллинизма в пятнадцатом веке во Флоренции мы обязаны трем людям, о которых я говорил, — Георгиосу Гемистосу, Иоаннесу Аргиропулосу и Георгиосу Трапезунтиосу. О трудах последнего в Риме, а также о Феодоросе Газе, Деметрии Халкондиле, Андронике Каллисте и Ласкари, еще не время говорить подробно. Каждый из них заслуживает отдельного упоминания, поскольку их совместной преподавательской деятельности Европа обязана греческой учености. [\[186\]](#)

Прежде чем перейти от Флоренции к Риму, который в то время был вторым центром итальянского гуманизма, следует кое-что сказать о состоянии образования в других республиках. Причины, определившие превосходство Флоренции, уже были затронуты. Здесь достаточно отметить, что, хотя Университеты Болоньи, Сиены и Перуджи нанимали профессоров красноречия за высокую зарплату, литературный энтузиазм этих городов ни в коей мере не шел ни в какое сравнение с энтузиазмом Флоренции. Их культура зависела от знаменитых посетителей, которые время от времени останавливались в их стенах. Генуя оставалась почти мертвой для обучения. В Венеции изучение классики привлекало внимание немногих дворян, не проникая в высшие классы и не придавая решительного тона обществу в целом. Хотя знаменитые греческие беженцы взяли за правило останавливаться на сезон в Венеции, в то время как почти все известные итальянские преподаватели читали там лекции по краткосрочным контрактам, тем не менее верно, что венецианцы отстали в развитии литературы. Они не открывали публичных библиотек, не предпринимали никаких попыток сохранить услуги ученых для государства и относились к претензиям гуманистов с холодным презрением. В литературе, как и в изобразительном искусстве, Венеция ждала, пока расцветет остальная Италия. Бембо сменил Полициано, как Тициан Рафаэля. Однако много хорошего было сделано такими людьми, как Джустиниани и Паоло Зане, которые снабдили молодых студентов средствами для посещения Константинополя и обеспечили их профессорскими кафедрами по возвращении. *Джентилуomini* могли также причислить к их числу Франческо Барбаро, не менее выдающегося своим знанием обоих изученных языков, чем перепиской, которую он поддерживал со всеми учеными своего времени. Еще будучи молодым человеком, он впитал флорентийский дух в доме Козимо Медичи. По возвращении в Венецию он учился у лучших мастеров и вскоре достиг такого совершенства стиля, что Поджо сравнил свой трактат о браке с "De Officiis" Цицерона. Венецианская республика, однако, требовала от своих высокородных граждан большего патриотического служения, чем Флорентийское содружество; и Барбаро пришлось провести свою жизнь в выполнении серьезных государственных обязанностей, не находя свободного времени для развития своих литературных талантов. Ему

оставалось завоевать славу Мецената, который, если бы захотел, мог бы поспорить за лавры с самым способным из ученых, которых он защищал.

ГЛАВА V ВТОРОЙ ПЕРИОД ГУМАНИЗМА

Переход из Флоренции в Рим—превратности обучения при папском дворе—дипломатический гуманисты—Protonotaries—Апостольской книжники—церковный софисты—безнравственность и искусственность стипендию в Риме—Поджио, Бруни, секретарей—Евгений IV.—Его покровительство ученым—Флавио Бьондо—солидную эрудицию—Николай Васильевич—его собственная история—природа его таланта—его неожиданное возвышение Римской увидеть,—ликование гуманисты—его защита ученых мужей в Риме—мастерская эрудиция—Фабрика переводов—высокую оплату литературного труда—Поджо-Фьорентино—его ранней жизни—его поездках—Его Высокопреосвященство как литератора—его отношение к священнослужителей—его выпады—гуманистической гладиаторы—Погжио и Filelfo—Погжио и Гуарино—Поджио и Валла—Погжио и Перотти—Погжио и Георгиус Trapezuntios—литературные скандалы—Погжио коллекций древностей—канцлера Флоренции—кардинал Виссарион,—его библиотека—диетология—Апология Платона—греки в Италии, гуманизм в Неаполе—хочу, чтобы Культуры в Южной Италии обучения экзотический—Альфонсо великолепный—ученых в лагерь литературные диалоги в Неаполь—Антонио Beccadelli—к'обитают'—Лоренцо Валла—эпикуреец—критик—оппонент Церкви—Бартоломео Фацио—Giannantonio Porcello—суд Милана Филиппо Мария Висконти—Dicembrio описание его хозяин—Франческо Filelfo—его ранней жизни—визит в Константинополь—место при дворе,—брак—возвращение в Италию—Венеция—Болонья—его притязания на роль профессора—Флоренция—распри среди флорентийцев—погружение в политике—Сиена—поселяется в Милане—его слава—частной жизнью и общественными интересами, реверансы в Рим—Filelfo под Сфорца тирания—литературный Разбой—смерть во Флоренции—Filelfo как представитель класса—Витторино да Фельтре—начале обучения—структура обучения подростков, как ученые—проживание в Падуе—проживание в Мантуе—его школа князя—щедрость к бедным студентам—подробности его жизни, и судебную систему—Феррара—Гуарино да Верона—Дом репетитор Лионелло д'Эсте—Джованни Aurispa—небольших судов—"Карпи"—Падуя—Римини и тиранов Малатеста—Чезена—Пезаро—Урбино и герцога Фридриха—Веспасиано да Bisticci.

Переходя из Флоренции в Рим, мы поражаемся тому факту, что ни в литературе, ни в искусстве папский город не имел собственной реальной жизни. Ее интеллектуальный энтузиазм был импортирован; ее деятельность менялась в зависимости от личных интересов сменявших друг друга пап. Поощряемый щедростью одного Святого Отца, истощаемый скупостью другого; обласканный Николаем V, с ревнивым недоверием наблюдаемый Павлом II; оттесненный на задний план Александром и выведенный на свет Львом — ученость подвергалась в Риме грубым превратностям судьбы. Очень немногие из ученых, прославлявших правление либеральных понтификов, были римлянами, и знать Папской области никак не повлияла на славу меценатов. Поэтому, имея дело с гуманизмом в Риме, мы должны иметь в виду, что он процветал урывками,

ненадежно, как экзотика, его рост попеременно сдерживался и поощрялся по желанию действующего священника.

Несмотря на эти изменчивые условия, один класс гуманистов никогда не терпел неудачи в Риме. В период расколов и соборов, когда папа и Антипапа вели словесную войну при дворах объединенного христианского мира, было невозможно обойтись без услуг опытных писателей и опытных ораторов. Как составители дипломатических депеш, писем, булл и протоколов; как распространители ругательств; как редакторы государственных бумаг; как адвокаты, легаты, послы и личные секретари — ученые толпились вокруг личности понтифика. Их официальные титулы различались: одних называли секретарями канцелярии, других - апостольскими писцами, третьих - протонотариями; в то время как их обязанности были разделены между обычными делами Курии и различными операциями, возникавшими в связи с особыми чрезвычайными ситуациями Папского престола. Их услуги были хорошо вознаграждены. Помимо примерно 700 флоринов жалованья и привилегий, они, по большей части, выполняли мелкие заказы и устраивали бенефиции. Люди с острым интеллектом и законченным стилем, впитавшие культуру своего времени и способные с помощью риторики приводить в исполнение любые аргументы, которыми они хотели воспользоваться, нашли, таким образом, хороший рынок сбыта для своих талантов при Римском дворе. Вскоре они превратились в отдельный и влиятельный класс, отделенный от знати своим происхождением и иностранными связями, а от церковников - своим светским статусом и откровенным нечестием, но смешивающийся в обществе с обоими и полагающийся на их таланты, чтобы поддержать свое достоинство. На Базельском соборе протонотарии даже утверждали, что имеют преимущество перед епископами в случаях высокой церемонии, утверждая, исходя из характера их должности и редкости их достижений, что у них больше прав, чем у священников, приближаться к личности Суверенного понтифика. Поджо и Бруни, Лоско, Ориспа и Бьондо подняли свои голоса в этой ссоре, которая доказала, насколько необходимыми мирские нужды папства сделали этих свободных представителей литературы. Благодаря им дух гуманизма, враждебный духу Церкви, овладел Вечным городом; и многое из вопиющей безнравственности, которой был отмечен Рим в эпоху Возрождения, может быть приписано влиянию ученых-язычников, свободных от ограничений семьи и местных мнений, равнодушных к религии и менее поглощенных учебой ради нее самой, чем прибылью, которую можно извлечь из занятий опытным пером. Существовал настоящий разлад между принципами, которые исповедовала Церковь, и новой культурой, процветавшей на языческой почве. В то время как чисто светские интересы закрывали папам глаза на опасности, которые могли возникнуть в результате разжигания этого раздора, гуманистический энтузиазм настолько глубоко проник в Италию, что исключить его из Рима было невозможно. Неоязыческая ученость добавила, таким образом, блеска Папскому двору как одному из многих великолепий того светского периода, поднявшего Римский престол на высоту над государствами Италии. Однако свет, который он излучал, не обладал жизненно важным теплом. Ученость всегда была предметом искусственной роскоши в Риме, а не, как во Флоренции, частью жизни нации; и когда позолоченное великолепие Льва уменьшилось до жалкой нищеты и полного разорения Климента, было обнаружено, что то поощрение, которое папы оказывали литературе, стало источником слабости и упадка. Мы все еще можем быть искренне благодарны за то, что понтифики заняли ту линию, которую они заняли; ибо, если бы они заняли позицию антагонизма по отношению к гуманистическому движению, вместо того чтобы использовать и одобрять его, свободное развитие итальянской науки могло бы подвергнуться опасному испытанию.

Именно из Флоренции Рим получил свой интеллектуальный стимул. Связь началась в 1402 году, когда Бонифаций IX назначил Поджио на должность апостольского секретаря, которую он занимал в течение пятидесяти лет. В 1405 году Лионардо Бруни получил ту же должность от Иннокентия VII. Могущественная личность этих людей, в которых была сосредоточена энергия гуманистического возрождения, произвела на Римскую курию неизгладимое впечатление. Хорошее знание латыни стало *непременным условием* в папской канцелярии; и когда Григорий XII назначил Антонио Лоско из Вероны одним из своих секретарей, было естественно, что этот выдающийся ученый, следуя флорентийскому примеру Колуччо Салютато, составил для своего кабинета сборник формуляров в цicerоновском стиле. [187] Во время незначительного понтификата Мартина V., пока Курия находилась в изгнании во Флоренции, цепь, которая связывала Рим с городом итальянской культуры, продолжала набирать силу. Результатом всех разногласий, раздиравших Церковь в первой половине XV века, стала итальянизация Папского престола; и ничто не способствовало достижению этой цели более мощно, чем флорентийские традиции трех сменявших друг друга пап — Мартина V, Евгения IV и Николая V.

Евгений был венецианцем из хорошей семьи, унаследовавшим от своего отца значительное состояние. Разбогатев, он пожертвовал 20 000 дукатов благотворительным учреждениям и принял сан в церкви. [188] В 1431 году он был возведен на папский престол; но беспокойное состояние Рима вынудило его покинуть Ватикан в подлом обличье и искать спасения бегством из Остии. Большую часть своей жизни он провел в Тоскане, занятый не столько гуманистическими интересами, сколько реформированием монашеских орденов и ведением церковных дел на соборах Базеля и Флоренции. Хотя он не разделял страсти своего века к учебе, покровительство, которое он оказывал ученым, было существенным и важным. Джованни Ориспа получил от него титул апостольского секретаря и был назначен переводчиком между греками и итальянцами на Совете двух Церквей. Даже язычник Карло Марсуппини был внесен в список папских секретарей, в то время как Филельфо и Пьеро Кандидо Декабрио, которые в ту эпоху придавали блеск Миланскому двору, были приглашены Евгением с весьма лестными обещаниями. Ценность этих скудных утверждений состоит в том, что даже папа римский, чьи личные склонности были скорее монашескими, чем гуманистическими, чувствовал необходимость заимствовать всю силу, которую он мог получить от литераторов, в эпоху, когда ученость сама по себе была силой. Более близкими к его Двору, чем те, кто был упомянут, были поэт Маффео Бегио и Флавио Бьондо, один из самых здравомыслящих и добросовестных учеников того времени. [189]

Хотя Бьондо почти не владел греческим и не мог похвастаться красотой стиля, его огромная эрудиция подняла его на высокое место среди итальянских ученых. Работа, за которую он взялся, заключалась в иллюстрировании древностей Италии в серии исторических, топографических, графических и археологических исследований. Можно с полным основанием сказать, что его "Roma Instaurata", "Roma Triumphans" и "Italia Illustrata", три объемистые энциклопедии информации о древних нравах, законах, местах, памятниках и расах, легли в основу всех последующих словарей римских древностей. Еще один продукт его индустрии был озаглавлен "Historiarum ab Inclinatione Romanorum". Было написано три десятилетия и часть четвертого, когда смерть положила конец выполнению этой гигантской задачи. Оценивая ценность вклада Бьондо в историю, мы должны помнить, что у него не было предыдущих сборников, на которых он основывал свои собственные исследования. Обширные знания,

которые он собрал и переработал, были почерпнуты из оригинальных источников. Он изучил всю латинскую литературу, как классическую, так и средневековую, разложил результаты своего всестороннего чтения по разделам и предоставил ученому миру сведенные в таблицы материалы для изучения римских институтов в государстве, лагере, судах, частной жизни и религиозных церемониалах. Поистине упорным, должно быть, было усердие ученого, который в дополнение к этим классическим исследованиям взялся рассказать о распаде античного общества и представить достоверную картину Италии в темные века. "История упадка Римской империи" Бьондо, задуманная в эпоху, посвященную стилистическим изыскам и впитавшую в себя привлекательность возрождающегося эллинизма, вызывает наше глубочайшее восхищение. Однако ее автору не удалось при жизни добиться того отличия, которого он заслуживал. Хотя он занимал должность апостольского секретаря при четырех папах, его брак преградил путь к церковному возвышению, в то время как его неспособность использовать искусство стилиста, софиста, льстеца и переводчика лишила его благосклонности, которую поначалу обеспечивали его более солидные качества. Евгений мог оценить человека своего склада лучше, чем Николай V., чьи особые вкусы склонялись к элегантному гуманизму, а не к громоздкой эрудиции.

Жизни всех гуманистов иллюстрируют почести и богатство, которые обеспечивала ученость ее приверженцам в эпоху Возрождения. Однако ни один пример не является столь ярким, как тот, что приводится в биографии Николая V. Томмазо Парентучелли родился в Пизе в 1398 году. Когда он был еще младенцем, его родители, несмотря на их бедность и скромное положение, которые, как можно было ожидать, должны были защитить их от политической тирании, были сосланы в Сарзану; [190] и в возрасте девяти лет он потерял своего отца в этом месте. Следовательно, Сарзане принадлежит заслуга рождения первого великого папы римского периода Возрождения. Молодой Томмазо нашел средства, хотя и крайне скудные, для посещения Болонского университета, где он изучал теологию и получил степень магистра семи свободных искусств. После шести лет проживания в Болонье его полная нужда в сочетании, возможно, с желанием получить больше знаний, чем давал университет, побудила его искать работу во Флоренции. Должно быть, он уже приобрел определенную репутацию, поскольку Ринальдо дельи Альбицци нанял его в качестве домашнего наставника для своих детей на один год, по истечении которого он поступил на службу к Палле дельи Строцци в аналогичном качестве. Полученные таким образом деньги позволили ему вернуться в Болонью и в возрасте двадцати двух лет получить степень доктора богословия. Теперь он был полностью запущен в жизнь. Образование, которое он получил в Болонье, сделало его пригодным для служения в церкви, в то время как двухлетнее пребывание во Флоренции познакомило его с людьми вежливой образованности и благородного воспитания. Никколо дельи Альбергати, архиепископ Болоньи, стал его покровителем и назначил управляющим своим домом. Альбергати был одним из кардиналов Евгения IV, человеком значительных способностей и живым в соответствии с интеллектуальными интересами своего времени. Когда он последовал за папским двором во Флоренцию, Томмазо сопровождал его, и здесь начался период, которому было суждено повлиять на его последующую карьеру. Вдохновленный страстной преданностью книгам ради них самих, одаренный пылким любопытством и всеобъемлющей восприимчивостью интеллекта, молодой ученый оказался погруженным в общество, для которого литература была самым увлекательным занятием. Вскоре он познакомился с Козимо Медичи, и ни одно собрание ученых людей не обходилось без него. О литературном кружке, который он посещал в

то время, можно получить представление из живописного отрывка в "Веспасиано". [191] "Мессер Лионардо д'Ареццо, мессер Джанноццо Манетти, мессер Поджио, мессер Карло д'Ареццо, мессер Джованни Ориспа, маэстро Гаспаро да Болонья и многие другие ученые мужи имели обыкновение каждое утро и вечер собираться сбоку от Палаццо, где они вступали в дискуссии и диспуты". на разные темы. Итак, как только маэстро Томмазо проводил кардинала до палаццо, он присоединился к ним верхом на муле в сопровождении двух пеших слуг; обычно он был одет в синее, а его слуги - в длинные платья более темного цвета. В то время пышность Римского двора ни в коем случае не была такой, как сейчас. В названном мною месте его всегда можно было найти беседующим и спорящим, поскольку он был самым страстным спорщиком".

Томмазо не был гениальным человеком; его таланты больше подходили для сбора и переваривания прочитанного, чем для оригинальных исследований и сочинений. У него была обширная память, и он был неутомимым студентом, не только просматривавшим, но и комментировавшим все книги, которые он покупал. Pius II. обычно о нем говорили, что то, чего он не знает, должно лежать за пределами сферы человеческих знаний. Речью он владел бегло, а в спорах был пылок; но его никогда не причисляли к числу искусных ораторов и стилистов того времени. Его широкое знакомство со всеми отраслями литературы и способность к классификации сделали его полезным Козимо Медичи, который нанял его для составления каталога библиотеки Марциана. В свою очередь, от Козимо Томмазо заразился духом, который поддерживал его в грядущие дни величия. Уже в этот ранний период, живя почти за счет щедрот Медичи, он никогда не упускал возможности накапливать книги и даже брал деньги взаймы, чтобы сохранить драгоценную рукопись [192] Он говорил, что если когда-нибудь разбогатеет, то потратит их на покупку книг и строительство — решение, которого он придерживался, когда вступил в понтификат .

Вскоре после смерти Альбергати в 1443 году Евгений возвел Томмазо на болонский престол; через несколько месяцев последовала кардинальская шапка, а в 1447 году он был избран папой Римским. Столь внезапное возвышение из безвестности и бедности на высочайшее место в христианском мире случалось редко; и даже сейчас нелегко понять, какие комбинации неудачных интриг среди князей Церкви позволили этому маленькому, уродливому, ясноглазому, беспокойному ученому проникнуть в С. Престол Петра. Возможно, самое простое объяснение - лучшее. Времена были несколько неблагоприятными для папства, и тиара не была таким уж объектом светских амбиций, каким стала впоследствии. Гуманизм тем временем вызывал сильное восхищение у каждого класса в Италии, и, казалось бы, у Томмазо Парентучелли не было ничего, кроме репутации человека, научившегося благодарить за свое продвижение. - Кто бы во Флоренции мог подумать, что бедный священник-звонарь станет папой, к смущению гордецов? Это было его собственное самодовольное восклицание, обращенное к Веспасиано, который пошел поцеловать ноги своему старому другу и нашел его сидящим на троне в окружении двадцати пылающих факелов. [193]

Радость, с которой гуманисты приветствовали восшествие одного из них на папский престол, легко себе представить; и их золотым надеждам, основанным на прежнем знании о его щедрости во всем, что касалось образования, не суждено было сбыться. Николай V., по словам Веспасиано, который хорошо его знал, "был врагом церемоний и пустой лести, открытым и откровенным, не умевшим притворяться; алчности он никогда не скрывал, ибо всегда тратил не по средствам". [194] Его доходы были направлены на содержание великолепного двора, восстановление укреплений и дворцов Рима и осыпание богатствами литераторов. В

покровительстве, оказанном этим папой литературе, мы можем заметить, что он не пытался восстановить римскую *публичную студию* и что он явно отдавал предпочтение произведениям основательного изучения и переводам. Его вкусы привели его в восторг от критических и грамматических трактатов, а любопытство побудило его сделать латинские версии греческих авторов. Вполне возможно, что он ничего не сделал для римского университета, потому что считал Флоренцию достаточной для удовлетворения гуманистических потребностей Италии, а свою собственную Альма-матер - для более серьезного изучения трех профессий. И все же это пренебрежение заметно в случае с понтификом, единственной общественной целью которого было восстановление Рима в статусе метрополии, а главным частным интересом - учеба.

Самым постоянным вкладом, оказанным им в изучение римского языка, стало основание Ватиканской библиотеки, на которую он потратил около 40 000 скуди, сформировав коллекцию примерно из 5000 томов. [195] Он нанимал лучших переписчиков и получал самые редкие книги; и не было никого в Италии, кто мог бы лучше, чем он, руководить выбором и обустройством такой библиотеки. Он намеревался поместить его в соборе Святого Петра и открыть для публики; но он умер до того, как этот план созрел. Он остался у Сикста IV. чтобы осуществить свой проект.

Во время понтификата Николая Рим превратился в обширную мастерскую эрудиции, фабрику переводов с греческого на латынь. По большей части это делали греки, которые плохо владели латынью, и итальянцы, которые не полностью владели греческим. Прделанная работа была неравноценной и не представляла большой постоянной ценности; тем не менее, в настоящее время она служила полезной цели, и потребности эпохи не могли быть столь полно удовлетворены никаким другим методом. Почти все выдающиеся ученые Италии того времени занимались этим трудом. Насколько щедро они были вознаграждены, можно понять из следующих деталей. Лоренцо Валла получил 500 скуди за свою версию Фукидида; Гуарино получил большую сумму в 1500 скуди за Страбона; Перотти - 500 дукатов за Полибия; в то время как Манетти была назначена пенсия в размере 600 скуди в год, чтобы он мог продолжать свои священные исследования. Николас восхищался греческой историей. Соответственно, Аппиан был переведен Пьеро Кандидо Декабрио, Диодором Сицилийским и "Киропедией" Ксенофонта Поджио, [196] Геродот, автор Валла. Валла и Декабрио оба были заняты "Илиадой" в латинской прозе; но самым заветным желанием Николая в последние годы его жизни было увидеть стихи Гомера в стихах Филельфо. Не были забыты и греки, проживавшие в то время в Италии. Георгиосу Трапезунтию папа доверил "Физику", "Проблемы" и "Метафизику" Аристотеля. Тот же ученый попробовал свои силы в "Законах" Платона и совместно с Декабрио создал версию "Республики". Грегориос Тифernas взялся за "Этику" Аристотеля, а Теодорус Газа - за "Историю животных". К этому списку следует добавить греческих отцов церкви, Теофраста, Птолемея и второстепенные работы, перечислять которые было бы утомительно. [197]

Чрезмерная щедрость Николая сблизила его таким образом со всем ученым миром Италии. Среди гуманистов, живших при его дворе в Риме, следует упомянуть Лоренцо Валлу, который был назначен апостольским писцом в 1447 году и который открыл школу красноречия в 1450 году. Пьеро Кандидо Декабрио получил должность секретаря и надзирателя за Аббревиатурами. [198] Джованни Тортелло из Аретцо, автор полезной книги по орфографии греческих слов, заведовал папской библиотекой. Пьеро да Ночето, чья гробница в соборе Лукки является одним из шедевров Маттео да Чивитале, был личным секретарем и контролером дел папы римского. О кружке, собравшемся вокруг Виссариона, у меня будет возможность

поговорить позже. Наше нынешнее внимание должно быть сосредоточено на человеке, который даже в большей степени, чем сам Николай, мог бы претендовать на право дать свое имя этому веку знаний.

Джан Франческо Поджо Браччолини более известен в анналах литературы как Поджо Фиорентино, хотя он стал флорентийским бюргером только в конце жизни. Родившийся в 1380 году в Терранове, деревне флорентийского *контадо*, он был обязан своим образованием Флоренции. По латыни он был учеником Иоанна Равеннского, а по греческому - Мануэля Хрисолораса. В юности он зарабатывал на жизнь переписыванием рукописей для флорентийского рынка. Колуччо Салютато и Никколо де Никколи подружились с молодым студентом, который еще в 1402 или 1403 году поступил в папскую канцелярию. [199] Хотя последующие полвека Поджо провел на службе Римской курии, он отказался принимать церковные сани и в глубине души оставался гуманистом. Сфлорентийским кругом ученых он поддерживал постоянную переписку, посылая им уведомления о своих открытиях в монастырях Швейцарии и Германии, получая от них взамен литературные сплетни, присоединяясь к их спорам и не раз вступая в ожесточенные словесные дуэли, чтобы подружиться со своими союзниками-медици. Его обязанности и вкусы в равной степени сделали его частым путешественником, и не последнее из преимуществ, дарованных им потомкам, - это его картины иностранных нравов. Например, на Констанцском соборе он видел и слышал Иеронима Пражского, в котором восхищался твердостью и бесстрашием Катона. [200] В Бадене в Швейцарии он заметил странный для итальянских глаз обычай: мужчины и женщины вместе купаются, едят, пьют и играют в шахматы или карты на плавающих в воде столах, в то время как посетители смотрят на них сверху с галерей, как это сейчас делают в Лейкербаде. [201] В Англии он заметил, что дворянство предпочитало проживание в своих загородных домах и уединенных парках городской жизни, модной тогда, как и сейчас, в Италии, и прокомментировал огромное богатство и грубые привычки великих священнослужителей. [202] Относительно его открытий рукописей. У меня уже была возможность написать об этом; нет нужды повторять здесь то, что я сказал о его антикварных изысканиях среди руин древнего Рима. Поджо был человеком широких симпатий, активного любопытства и разнообразных интересов — не простым книжным червем, а тем, чьи глаза и разум были открыты окружающему миру.

В литературе он охватил весь спектр современных исследований, зарекомендовав себя как публичный оратор, автор риторических трактатов и диалогов, панегирист умершим, яростный обвинитель живых, переводчик с греческого, элегантный эпистолограф, серьезный историк и шутливый составитель анекдотов и эпиграмм. Он обладал стилем одновременно легким и заостренным, правильной дикцией и разнообразной интонацией, одинаково приспособленным как для серьезной беседы, так и для остроумной болтовни, и не менее грозным в оскорблениях, чем утонченным в лести. По крайней мере, таково было впечатление, которое его обильная и легкая латынь, всегда беглая и в то же время всегда полная смысла, производила на его современников. Для нас его лучшие витки риторики утратили свое очарование, а его лучшие обороты речи - свою суть. Настолько невозможно, чтобы модный стиль одной эпохи сохранил свою магию для потомков, если только он не будет по-настоящему классическим по форме, или отягощенным здоровой мыслью, или одушевленным высоким вдохновением. Именно этих качеств не хватало Поджо и его коллегам. Не ставя перед собой более серьезной цели, чем подражание Ливию и Цицерону, Сенеке и Цезарю, они далеко не дотягивали до своих оригиналов; у них также не было материала, который мог бы восполнить недостаток элегантности. Трактаты Поджо "О благородстве", "О разнообразной судьбе", "О страданиях

человека в условиях", "О неполноценном принципе", "Сеньорита учительница", "История Disceptiva Convivialis" и так далее были так же интересны для Италии пятнадцатого века, как случайные эссе Вольтера для наших более непосредственных предков. Его противоречивые сочинения считались образцами разрушительного красноречия, его сатиры на духовенство - шедеврами саркастического юмора, его флорентийская история - высшим достижением в благороднейшей латинской манере. И все же вся эта разнообразная литература кажется современному вкусу грубой и неэффективной. Мы читаем его не без отвращения, чтобы проникнуться духом эпохи автора.

Два важных момента в биографии Поджио послужат иллюстрацией социальных обстоятельств гуманистов. Первое - это его отношение к церковникам, с которыми он провел лучшие годы своей жизни в тесной близости; второе - это его ожесточенная борьба с соперниками и оппонентками в области науки. Хотя Поджио служил Церкви полвека, никто не разоблачал пороки духовенства с более безжалостным сарказмом и не выставлял безумства монахов на посмешище с более безжалостным презрением. Прочитав его "Диалог против лицемеров", его "Инвективу против Феликса Антипапы" и его "Шутки", трудно понять, как сатирик, который так близко знал слабые места Церкви и так свободно их разоблачал, мог занимать высокое положение и быть почитаемым в Папской курии. Они в высшей степени подтверждают все, что было написано в предыдущем томе о разделении религии и морали в Италии, о циничном самодовольстве духовенства и светском безразличии папства, доказывая в то же время горделиво независимое положение, которое таланты гуманистов завоевали для них в Риме. В конце "Facetiæ" — сборника крайне непристойных и не всегда остроумных историй — Поджио ссылается на встречи, которыми он и его товарищи развлекались после окончания серьезных дел дня. [203] Местом их отдыха были окрестности Латерана, где они основали клуб, получивший название "Бугиале", или Фабрика лжи. [204] Апостольские секретари, писцы Канцелярии, протонотарии и папские писцы встретились здесь после того, как отложили ручки, которыми они пользовались при составлении Булл и диспенсаций, энциклик и дипломатических посланий. Придумывать каламбуры, рассказывать скандальные истории и придумывать забавные сюжеты для новелл было главным развлечением этих римских остряков. Их самые язвительные выпады сатиры предназначались монахам и священникам; но они не щадили ни класса, ни профессии и свободно пользовались именами живых людей. [205] В отношении высшего духовенства, возможно, было небезопасно говорить даже правду, кроме как в строжайшей тайне, учитывая, что от Священной коллегии и Святого Отца следовало ожидать предпочтений. Таким образом, нищенствующие ордена и сельские священники приняли на себя основную тяжесть их нападок, в то время как весь тон их выступлений ясно давал понять, как мало они уважают религию и институты Церкви. Те фрагменты этих бесед, которые Поджио счел нужным сохранить, вместе с анекдотами, заимствованными из "Cent Nouvelles nouvelles" и других источников, он перевел на латынь и напечатал в последние годы своей жизни. Название, данное книге, было "Facietiarum Liber". Она быстро выдержала множество изданий и была прочитана по всей Европе с тем же рвением, которое впоследствии вызвала "Epistolæ Obscurorum Virorum". Однако за его грубостью и бессмыслицей не скрывалось никаких серьезных намерений. Сатиры на духовенство были презрительными и легкомысленными, свидетельствуя скорее о любви их автора к непристойным шуткам, чем о каком-либо серьезном желании доказать деградацию монашества. Я не могу найти ни слова порицания со стороны Ватикана в адрес этого чудесного творения, созданного пером папского секретаря. Здесь, в качестве иллюстрации, можно упомянуть, что Филельфо, направляясь через

Рим в Неаполь, передал свои сатиры — самые отвратительные сочинения, которые когда-либо порождали грубая злоба и грязная фантазия, — в руки Николая V. Папа хранил их в течение девяти дней, прочитал, вернул с благодарностью и наградил их автора кошельком в 500 дукатов.

"Диалог против лицемеров" содержит меньше простой грубости и больше того, что действительно указывает на пороки духовенства. Нищенствующие монахи, проповедники, исповедники и стремящиеся к славе святости упоминаются поименно и бичуются с безжалостной беспристрастностью, в то время как мирские амбиции римских церковников разоблачаются. Наблюдательное братство, процветавшее при папе Евгении, подвергается суровому наказанию со стороны Карло Аретино. Шеперд не без справедливости замечает по поводу этого диалога, что, если бы автор "осмелился выразить содержащиеся в нем чувства времен Евгения, он, по всей вероятности, искупил бы свою безрассудность ценой собственной жизни". [206] Николай V., который ценил остроту его сатирического стиля, вместо того, чтобы возмущаться его свободой слова, направил перо своего друга Поджио против его соперника Феликса. Возведенный на папский престол Базельским собором в 1439 году, Амадей, бывший герцог Савойский, все еще сохранял свой папский титул после избрания Николая; и хотя Суверен Ватикана вполне мог позволить себе презирать рипайского отшельника, он счел благоразумным направить тяжелые орудия гуманистического красноречия против антипапы. Результатом стала тяжеловесная брань, в которой Поджио назвал несчастного Феликса "еще одним цербером", "хищным волком", "золотым тельцом", "извращенцем веры и врагом истинной религии", "верховным жрецом зла", "рыкающим львом", заклеив Совет, которому он был обязан своим избранием, как "это вместилище беззакония — Базельскую синагогу", "чудовищное происхождение", "сборище нечестивцев", "буйную шайку негодяев". развратники", "отступники, блудники, насильники, дезертиры, люди, осужденные за самые постыдные преступления, богохульники, бунтари против Бога". [207] До таких изысков противоречивой риторики опускались даже папы, заменяя смысл звуком и яростью и доверяя брани в отсутствие более веских аргументов.

Поджио, после Филельфо, был самым грозным гладиатором в эпоху литературных дуэлянтов. "В своих инвективах он проявлял такую горячность", - пишет Веспасиано, [208], что весь мир его боялся". Даже Альфонсо Неаполитанский счел благоразумным отвести свой гнев своевременным подарком в 600 дукатов, когда Поджио пожаловался на его небрежность в признании версии "Киропедии" Ксенофонта, [209] и в то же время намекал, что перо ученого было достаточно могущественным, чтобы наказывать королей за их неблагодарность. Предложения, сделанные Поджио Филиппо Марией Висконти, и уважение, оказанное ему Козимо Медичи, свидетельствовали о желании князей снискать расположение злобного и беспринципного памфлетиста. [210] Самая знаменитая из распрей Поджио с литераторами началась, когда Филельфо напал на Козимо и высмеял все общество Флоренции в 1433 году. Полная история враждебности Филельфо к флорентийцам содержится в биографии этого знаменитого ученого. Здесь достаточно упомянуть, что он высмеял Козимо под именем Мундус, описал Поджио как Бамбалио, Карло Аретино как Кодруса, а Никколо де Никколи как Оутиса, [211] обвинив их в литературном идиотизме и приписав им все преступления и пороки, которые позорят человечество. Поджио препоясал свои чресла для боя и в ответ на тяжеловесные гекзаметры Филельфо разразился громоздкой прозаической бранью в адрес обычного противника. В ответ на это последовало еще больше сатиры, Поджио ответил новыми оскорблениями. Ссора длилась много лет; когда, осыпав друг друга всеми оскорблениями,

какие только может вообразить самое развращенное воображение, они взялись за руки и прекратили состязание. [212] Запятнать эти страницы переводами оскорблений Поджио в ранге было бы невозможно. Я должен довольствоваться отсылкой читателей, стремящихся более подробно познакомиться с литературными баталиями того времени, к отрывкам, сохраненным Шепердом и Росмини. [213] Достаточно сказать, что он обрушил поток самой грязной клеветы на жену и мать Филельфо, что он обвинил самого Филельфо в самом низменном пороке юности и самом вопиющем разврате в зрелом возрасте, что он представлял его публичным вором, откровенным стяжателем, богохульствующим атеистом, запятнанный отвратительной аморальностью всех видов и гонимый своими разоблаченными преступлениями из города в город в поисках убежища для своей ненавистной головы. Филельфо ответил в том же тоне. Все ресурсы латинского языка были исчерпаны воюющими сторонами в их попытках очернить характер друг друга, и были исследованы самые низкие стороны человеческой натуры, чтобы найти новые обвинения. Ученый мир Италии стоял и аплодировал, в то время как доблестные противники, подобно гладиаторам на римской арене, пускали в ход свое разнообразное оружие: один метал стихотворные стрелы, другой размахивал тяжелой дубиной из прозы. [214] К сожалению, в жизни обоих было достаточно скандальных материалов, чтобы придать некоторую окраску их обвинениям. И все же злобность, с которой они лгали друг против друга, победила их собственную цель. Разгребая этот литературный навоз, теперь уже невозможно отличить правду от лжи; всякая пропорция теряется в массе чрезмерной и огульной грубости. То, что подобными поединками должно было наслаждаться и им аплодировало приличное общество, является одним из самых странных знамений времени; а то, что самидуэлянты воображали, что идут по стопам Цицерона и Демосфена, еще более поразительно.

Спор с Филельфо был скорее личным, чем литературным. Другая дуэль, в которую Поджио вступил с Гуарино, касалась соответствующих заслуг Сципиона и Юлия Цезаря. Поджио имел возможность объяснить в переписке с неким Сципионе Феррарезе причины, по которым он предпочитает персонажа Сципиона Африканского. Гуарино, стремясь угодить своему ученику Лионелло д'Эсте, явному поклоннику Цезаря, поднял дубинки в защиту диктатора, [215] и относился к Поджо, которого он называл Цезаромастикс, с величайшим презрением. Поджо ответил в письме благородному венецианскому ученому Франческо Барбаро. [216] Обе стороны обменялись резкими словами, и антагонисты примирились только по случаю женитьбы Поджио в 1435 году. Рим, однако, был ареной его самых знаменитых подвигов в качестве спорщика. Однажды случилось так, что он обнаружил копию своих собственных посланий с комментариями испанского дворянина, ученика Лоренцо Валлы. [217] Латиноамериканство Поджио не обошлось без критических замечаний на полях, написанных молодым студентом; и пылкий ученый, придя к выводу, что их продиктовал учитель, а не ученик, выпустил свой обычный снаряд - яростную брань в адрес Валлы. Подвергшийся таким нападкам автор "Elegantiae" ответил аналогичной композицией, озаглавленной "Противоядие в поджиуме" и посвященной Николасу V. [218] Поджио последовал еще один выпад; и ссора не закончилась, пока он не добавил пять из этих отвратительных композиций к своим предыдущим достижениям в том же стиле и не привлек подающего надежды молодого латиниста, Никколо Перотти, ввязываясь в позорную драку. [219] Что делает окончание ссоры поистине комичным, так это то, что Филельфо, который сам был худшим преступником в этом отношении, был, наконец, вынужден написать серьезное письмо-предостережение противоборствующим сторонам, призывая их уважать собственное достоинство и сложить оружие. [220] Относительно оскорблений и противоядий, с помощью которых велась эта война, Тираноски пишет:

"Возможно, это самая гнусная клевета, которая когда-либо видела свет; нет такой брани, которую антагонисты не изрыгали бы друг на друга, нет такой непристойности и мошенничества, в которых они не обвинялись бы друг против друга".

Невообразимо незначительные случаи, когда эти ученые мужи выбегали на арену и забрасывали друг друга грязью, можно представить, когда мы видим, как Лоренцо Валла враждует, с одной стороны, с Георгиосом Трапезунтием, потому что один предпочитал Цицерона, а другой - Квинтилиана, а с другой - с Бенедетто Морандо, потому что этот ученый сомневался, были ли Луций и Арунс внуками Тарквиния Приска. Иногда частные инциденты вызывали их гнев, как, например, любопытный разрыв между Лионардо Бруни и Никколо де Никколи во Флоренции. Историю, поскольку она характерна для того времени, можно рассказать вкратце. Никколо украл любовницу своего брата Бенвенуту и сделал ее своей наложницей. [221] Его родственники, возмущенные домашним скандалом, оскорбили Бенвенуту на улице, и Никколо оплакивал себя перед всеми своими друзьями. Лионардо, к которому он обратился за сочувствием, совершенно справедливо заметил, что студентке следовало бы быть занятой чем-нибудь получше, чем несчастьями кухонной служанки. Этот едкий ответ разжег желчь в Никколо и заставил его язвительный язычок замахнуться на своего старого друга; после чего Лионардо Бруни разразился яростной бранью в *"небулоне мaledикум"* против него, и ученое общество Флоренции ввязалось в свободную драку с обеих сторон.

Такие ссоры не всегда ограничивались словами. Нет никаких сомнений в том, что кинжал был применен против Филельфо партией Медичи, в то время как время от времени случалось, что литературные гладиаторы доходили до настоящих кулачных боев. Сцена подобного рода произошла в Риме на публике. Георгиос Трапезунтиос жаловался, что заслуга переводов Поджо из Диодора и Ксенофонта действительно принадлежит ему, поскольку он выполнил над ними всю работу. Поджо взвизгнул: "Ты лжешь по самое горло!" - ответил Георгиос, отвесив Поджо затрещину. Затем Поджо подошел вплотную, схватив своего противника за волосы; и два профессора колотили друг друга до тех пор, пока их ученики не разняли их. [222] Таких историй можно множить бесконечно. Также было бы бесполезно дать некоторый отчет о яростной войне, которая велась в Италии между платониками и аристотелианцами, если бы не было уже сказано достаточно, чтобы проиллюстрировать язвительный нрав того времени.

Враждебность, проявляемая учеными в этих спорах, может быть воспринята как доказательство их энтузиазма по отношению к своим исследованиям. Мужчины всегда ссорились из-за политики, потому что политика представляет для каждого предмет глубокого интереса. Теология, по той же причине, никогда не перестает разжигать самую глубокую злобу, ненависть и враждебность, на какие только способна человеческая душа. Наука, как мы знаем из annales наших дней, держит за уши сторонников антагонистических теорий; и временами, когда политика была скучной, теология бездействующей, а наука недемонстративной, даже музыки было достаточно, чтобы взволновать нацию. В пятнадцатом веке наука была всепоглощающей. Она соответствовала науке нашего времени, поскольку привлекала таланты сильнейших работников и служила источником прогрессивных интеллектуальных открытий. Более того, она включала в себя как философию, так и теологию и была самой привлекательной темой для всех разговоров. Поэтому неудивительно, что прозрачные источники классической эрудиции были потревожены обидами и завистью студентов.

Приятно перейти от пререканий Поджио к более почетным местам его биографии. С 1434 года он владел фермой недалеко от Флоренции. Здесь он построил загородную резиденцию, соперничавшую если не по великолепию, то, по крайней мере, по элегантности с виллами флорентийских бюргеров. Он назвал ее своей Вальдарнианой и украсил фрагментами античной скульптуры, надписями и монетами, собранными им частично лично в Римской Кампанье, а частично купленными в Греции. В следующем году (1435) Поджио, тогда пятидесятипятилетний мужчина, женился на восемнадцатилетней девушке по имени Ваггия, благородной крови Буондельмонте. Установив эту связь, ему пришлось расстаться с любовницей, которая родила ему четырнадцать детей, четверо из которых были тогда живы. Его биограф, Шепард, предается некоторым сентиментальным размышлениям о том, какой боли, должно быть, стоило ему это расставание. И все же беспристрастный критик вряд ли проникнется жалостью к Поджио, видя, что он отменил брифинг, которым ранее узаконил своих внебрачных детей, и с восторгом откликнулся на поздравления друзей по поводу его новой помолвки. Он уже был принят в сословие флорентийского бюргерства и освобожден от налогов за свои литературные заслуги; так что после смерти его друга Карло Аретино в 1453 году не нашлось никого, более подходящего на пост канцлера республики. Чтобы повысить свое достоинство, Поджо исполнял обязанности приора и сидел среди синьории. "История Флорентийской республики", написанная в продолжение книги Лионардо Аретино, заняла последние годы его жизни. Он оставил его незаконченным в 1459 году, когда умер и был похоронен в церкви Санта-Кроче. Я не могу найти, чтобы его похороны сопровождались особыми почестями, за которые проголосовали в случае с двумя его предшественниками. Флорентийцы, однако, установили его статую на фасаде Санта-Мария-дель-Фьоре и поместили его картину работы Антонио дель Поллахуоло в зале Проконсоло. Судьба этой статуи, работы Донателло, была не в пример любопытнее. По случаю некоторых изменений в 1560 году он был перенесен со своего первого места и установлен как один из Двенадцати апостолов в другой части собора.

Любой обзор двора Николая V. был бы неполным без упоминания кардинала Виссариона. Рано в жизни он занял высокое положение в Греческой церкви и присутствовал на Флорентийском соборе в качестве архиепископа Никейского. Евгений IV, сделав его кардиналом в 1439 году, обратил его в латинскую веру; и так случилось, что тридцать два года спустя он почти случайно лишился папства. [223] Его дворец в Риме стал местом встреч ученых всех наций, [224] где греки-беженцы, в частности, были уверены, что найдут радушный прием. Повинуясь охватившей его страсти к коллекционированию книг, он собрал значительную библиотеку греческих и латинских авторов, количество которых Веспасиано оценил в 600 томов, в то время как Платина оценила их общую стоимость в 30 000 скудо. В 1468 году он подарил эту коллекцию церкви Святого Марка в Венеции. Республика приняла его дар, но не проявила готовности построить библиотеку. Только в следующем столетии книги Виссариона были наконец размещены в соответствии с их достоинством. [225] Собственные исследования кардинала лежали в направлении теологической философии. Мы уже видели, что в юности он был учеником Гемиста, а теперь выступает как защитник Платона. Георгиос Трапезунтиос опубликовал трактат в 1458 году, в котором под предлогом защиты Аристотеля поносил моральный облик Платона, обвинял его в разрушении Греции и утверждал, что Магомет был гораздо лучшим законодателем. Виссарион ответил речью "In Calumniatorem Platonis", в которой отстаивал нравственность философа и поддерживал его против Аристотеля. Эта книга была напечатана Свейнхаймом и Паннарцем в период зарождения римской прессы. Теодорос Газа, [226] который, поселившись в Риме в 1450 году, был принят в семью Виссариона, внесен в

списки с критикой Гемистоса; на что Виссарион ответил: "и таким образом, война, начатая Геннадием в Византии, была продолжена греческими изгнанниками в Риме". Названия работ, представленных на этот конкурс, среди которых мы находим "О природе и искусстве", "Utrum Natura Consilio Agat", "Comparationes Philosophorum Aristotelis et Platonis", в достаточной степени указывают на пройденный путь. Главным результатом стало обращение итальянских ученых к более весомым вопросам философии, чем те, которые поначалу поднимались мистическими неоплатониками и педантичными перипатетиками.

Среди греков, находящихся под покровительством Виссариона, можно мимоходом отметить Андроника Каллиста, лекции которого в Риме пользовались меньшей популярностью, чем впоследствии во Флоренции, где его учеником был великий Полициано. Он был одним из первых греков, искавших счастья во Франции. [227] Также нельзя опускать Деметрия Халкондиласа, который бежал из Византии в Рим примерно в 1447 году, а затем преподавал греческий язык в Университете Перуджи. Письмо, написанное одним из его учеников, Джаном Антонио Кампано, [228] производит такое приятное впечатление о том эффекте, который он произвел в городе Бальони, что я переведу его часть. "Только что прибыл грек, который начал учить меня с большим трудом, и я слушаю его наставления с невероятным удовольствием, потому что он грек, потому что он афинянин и потому что он Деметрий. Мне кажется, что в нем заключена вся мудрость, вежливость и элегантность этих столь знаменитых древних людей. Просто видя его, вам кажется, что вы смотрите на Платона; гораздо больше, когда вы слышите, как он говорит. "Это написал молодой человек двадцати трех лет, вероятно, спутник таких великолепных юношей, каких любил рисовать Синьорелли и описывать Матараццо. [229] Интересно сравнить это письмо с панегириком, переданным Огнибене да Лониго через пять лет после его смерти Бартоломео Пагелло в речи, произнесенной в Виченце. Молодые люди Виченцы, сказал ритор, оставили свои игры в кости, дуэли, кубки с вином и свою любовь, чтобы послушать этого гуманиста; его ученость изменила нравы города. [230] Таково было очарование науки в пятнадцатом веке.

Упомянутые выше греки покинули свою страну еще до захвата Константинополя. Поэтому неправильно приписывать этому событию проникновение эллинских исследований в Италию. Их итальянские ученики продолжали начатую ими работу с более широкими полномочиями и благородной энергией. Все великие греки третьей эпохи гуманизма - итальянцы. Флоренция получила знания от Византии в тот самый момент, когда Греческая империя была на грани исчезновения, и распространила их повсюду в Европе, сама выполнив самую большую и трудную часть задачи.

Отправляясь в Неаполь, мы обнаруживаем заметную перемену во внешних условиях, при которых процветала литература. Образованные люди при итальянских дворах занимали положение, отличное от положения их собратьев в папской канцелярии. Они должны были приспособлять свои привычки к обычаям двора и лагеря, ставить свои таланты на службу удовольствию своего покровителя, развлекать его в часы безделья, сочинять комплименты и панегирики и оплачивать за его щедрость прославлением его деяний в историях и поэмах. Их положение было менее официальным, в большей степени зависящим от характера и капризов правящего монарха, чем в Риме; в то время как особых преимуществ, как политических, так и

социальных, которые даже при господстве семьи Медичи сделали Флоренцию настоящей литературной республикой, не существовало ни в одном другом городе Италии.

В Неаполе не существовало такого понятия, как местная культура. Полуфеодалная знать Юга была пристрастна к полевым видам спорта, ратным подвигам и безделью. Население страны погрязло в варварстве. В городах не было среднего класса, аналогичного среднему классу более северных республик. Тем не менее, королевство Обеих Сицилий сыграло важную роль в развитии итальянской литературы. Пока мусульмане правили в Палермо, Сицилия была самым утонченным и просвещенным государством Южной Европы. При нормандской династии эта арабская цивилизация начала оказывать влияние на Север Италии, а во время правления Фридриха II. Неаполю было суждено стать городом просвещения современного мира. Неудача попытки Фридриха возродить искусство и литературу в XIII веке относится к истории его войны с Церковью. О том, что его придворные сделали с ранней поэзией итальянцев, рассказывает Данте в трактате "О вульгарном красноречии". Для нашей настоящей цели достаточно заметить, что стремление к знаниям, насажденное арабами, терпимое норманнами и поощряемое Домом Гогенштауфенов на юге Италии, было экзотикой, которая не пустила глубоких корней в народе. В золотой век кратковременного правления Фридриха не было создано ни одной национальной поэмы; не рассказывается историй о неаполитанских возницах и лодочниках, декламирующих сонеты его придворных. Как зарождалась культура, так и продолжала существовать в Неаполе — периодически процветая в тесной связи со вкусом государя и благодаря местным влияниям, но не жизни и энергии, а цвету лица, учтивости и мягкости, почерпнутым из окружающих красот моря и побережья.

Каждая из династий, правивших Двумя Сицилиями, могла похвастаться покровителем литературы. Роберт Анжуйский с гордостью называл себя другом Петрарки, а Боккаччо черпал вдохновение при его дворе. [231] Во вторую эпоху гуманизма, которой мы сейчас занимаемся, Альфонсо Арагонский заслужил похвалу Веспасиано за то, что он, после Николая V., был самым щедрым сторонником обучения. [232] Его любовь к письмам была неподдельной. Сделав все выводы из лести официальных историографов, становится ясно, что Альфонсо находил свое самое длительное удовлетворение в компании студентов, слушая их дебаты по научным вопросам, посещая их публичные лекции, привлекая их к чтению древних поэтов и историков, настаивая на их присутствии в своем лагере и безвозмездно снабжая их деньгами на покупку книг и их содержание во время занятий эрудицией. Веспасиано рассказывает, что ежедневные чтения Беккаделли своему мастеру не прерывались во время кампании 1443 года, когда Альфонсо выступил в поход против армий Франческо Сфорца. [233] Неаполитанских капитанов можно было увидеть собравшимися вокруг своего монарха, слушающими изложение Ливия ученым, вместо того чтобы тратить свой досуг на азартные игры. Сам Беккаделли утверждает, что вылечил Альфонсо от болезни за три дня, прочитав ему вслух "Жизнь Александра" Курция, в то время как Лоренцо Валла описывает скопление студентов за своим столом во время декламации Вергилия или Теренция. [234] Придворные, не имевшие склонности к учености, были исключены из этих литературных собраний; но бедной молодежи, стремившейся извлечь выгоду из знаний лекторов, был предоставлен свободный доступ. Король тем временем сидел за мясом, время от времени подавая фрукты или кондитерские изделия, чтобы освежить читателя, когда его голос, казалось, слабел. Его страсть к антиквариату приобрела романтический характер, обычный в ту эпоху. Когда венецианцы прислали ему одну из недавно обнаруженных костей Ливия, он принял ее как реликвию святого; и страхи его врачей не могли помешать ему открыть и прочитать РУКОПИСЬ Ливия, присланную из Флоренции Козимо

Медичи, которого тогда подозревали в желании отравить его. Во время своих военных вылазок он никогда не пренебрегал знаменитыми местами древности, благочестиво приветствуя *genius loci* на месте рождения Овидия и категорически запрещая своим инженерам вторгаться на территорию виллы Цицерона в Гаэте. [235] Альфонсо был не менее усерден, чем его современники, в собирании книг. Дворцовая библиотека в Неаполе была его любимым местом отдыха; здесь Джанноццо Манетти застал его среди своих ученых по знаменитому случаю, когда король произносил длинную поздравительную речь, словно бронзовая статуя, даже не отмахиваясь от мух, которые садились ему на лицо. Его рукописи были разосланы, когда Карл VIII. занял Неаполь, и что с ними стало, сомнительно. [236]

Среди гуманистов, наиболее близких к личности этого монарха, Антонио Беккаделли, прозванный по месту своего рождения Панормита, заслуживает первого места. Родившийся в Палермо в 1394 году, он получил образование в Сиене, где был сокурсником Энейса Сильвиуса Пикколомини. Город Сиена, *molles Senæ*, как называл его сам поэт, был известен по всей Италии роскошью жизни. Таким образом, здесь можно предположить, что Беккаделли в своей юности наслаждался переживаниями, которые он впоследствии воспел в "Гермафродите". [237] Ничто так не поражает в этом удивительном сборнике элегий, как откровенность их автора, свободный и щедрый восторг, с которым он останавливается на бесстыдной чувственности, и гордость, с которой он объявляет миру о своем собственном имени. Посвящается Козимо Медичи, встречена аплодисментами седовласым Гуарино да Верона, [238] превозносимая до небес Антонио Лоско, горячо востребованная Бартоломео, епископом Милана — эта книга, за обладание которой Страто и Марциал могли бы покраснеть, переходила от переписчика к переписчику, из рук в руки. Среди ученых она не нашла серьезных противников. Поджио, действительно, мягко напомнил поэту, что даже элегантность латиноамериканского стиля и пылкость юности автора вряд ли являются достаточным оправданием его распушенности. [239] Тем не менее, почти единогласный вердикт студентов был положительным. Его открытый анимализм, столь же свободный от сатиры, сколь и от маскировки, захватил мир штурмом; в то время как легкая элегантность беглых стихов, с которыми были описаны грехи Содомы и Гоморры, ставила его, по мнению ученых, на один уровень с Катуллом. [240] Когда император Сигизмунд короновал поэта Беккаделли в Сиене в 1433 году, он лишь добавил весомости императорского одобрения к вердикту образованной публики.

Однако Церковь не могла смириться со скандалом. Со времен Петрарки и Боккаччо монахи с подозрением относились к изучению античной поэзии. Теперь их худшие опасения оправдались. Беккаделли доказал, что пороки возрождающегося язычества не только тайно разлагали итальянское общество, но и что молодой гениальный ученый мог открыто заявить о своем участии в этом позоре, отречься от основных принципов христианской морали и с уверенностью взывать к государям и гуманистам о сочувствии. Монахи-минориты осудили "гермафродита" со своих кафедр и сожгли его вместе с портретами поэта на общественных площадях Болоньи, Милана и Феррары. [241] Евгений IV запретил читать это под страхом отлучения от церкви. Сановники Церкви, обнаружившие ее в руках своих секретарей, не постеснялись разорвать ее на куски, как книгу, запрещенную папой и противоречащую здоровой морали. [242] Однако все это мало повлияло на репутацию Беккаделли. [243] Он с честью читал лекции в Болонье и Павии, получал стипендию в размере 800 скуди от Висконти, а в 1435 году был вызван в Неаполитанский суд. Альфонсо возвел его в ранг дворянина и постоянно держал рядом с собой, наслаждаясь его остроумием и получая особое удовольствие от его чтения классических авторов. Как официальный историограф, Беккаделли посвятил себя описанию

памятных деяний и высказываний своего царственного господина. [244] В качестве посла и оратора он представлял короля при иностранных дворах. Будучи наставником наследного принца Фердинанда, он готовил монарха для Неаполитанского государства. Эта милость продолжалась до 1471 года, когда он умер, старый, богатый и уважаемый, на своей прекрасной вилле на берегу Неаполитанского залива. Более показательного примера ценности, придаваемой в наш век чистой учености, независимо от моральных соображений и помимо глубокой образованности — поскольку Беккаделли, в конце концов, был всего лишь элегантным латинистом, — привести невозможно. Таким образом, "Гермафродит" заслуживает видного места в истории ренессансных нравов.

Те из нас, у кого хватило любопытства изучить "Гермафродита" Беккаделли, найдут достаточную пищу для размышлений о его доверенном и почетном посту при дворе Альфонсо. [245] Однако положение Лоренцо Валлы при том же Суде еще более примечательно. В то время как Беккаделли призывал к легкомыслию молодежи в оправдание своего язычества и с запозданием сожалел о своих прошлых безумствах, [246] Валла демонстрировал стойкий вид обдуманного критика, враждебного по всем пунктам традициям и морали Церкви. Родители этого замечательного способного человека были уроженцами Пьяченцы, хотя, вероятно, родившись в Риме, он присвоил себе атрибут римлянина. [247] До того, как он обосновался в Неаполе, он уже успел отличиться "Диалогом об удовольствии", в котором противопоставил принципы стоиков и эпикурейцев, ясно дав понять, несмотря на осторожные оговорки, что он отстаивал права плоти в противовес учению философии и Церкви. Добродетель девственности, столь высоко ценимая христианами святыми, рассматривалась им как насилие над законами природы, как невыносимая мука, причиняемая человеку таким, каким его создал Бог. [248]

Атака, открытая Валлой на лицемерие и ложные доктрины монашества, была одновременно мощной и новаторской. Гуманистическая свобода мысли, принявшая форму остроумного персифлажа в анекдотах Поджо и проявившаяся как чистое язычество в стихотворениях Беккаделли, теперь надела более суровую маску здравого смысла и критицизма у Лоренцо Валлы. Оружие, которое он взял в свои руки при первом столкновении с церковным учением, он никогда не откладывал в сторону. До конца своей жизни Валла оставался непоколебимым сторонником непредвзятой критики, живым воплощением того "истинного духа", которому разум современного мира обязан своей движущей силой.

Прежде чем покинуть Рим в возрасте двадцати четырех лет, Валла пытался получить должность апостольского секретаря, но безуспешно. Вполне вероятно, что его молодость говорила против него меньше, чем его репутация человека прямолинейного и бесстрашного. В 1431 году мы слышим о нем в Павии, где, согласно клевете его врагов, [249] он подделал завещание и подвергся публичной епитимье по приказу епископа. Это, однако, всего лишь одна из тех историй, общий характер содержащихся в ней инвектив создает неопределенность. Гораздо больше для нашей цели подходит тот факт, что в этот период он стал высшим авторитетом по вопросам латинского стиля в Италии благодаря публикации своих "Элегантностей". Верный своему собственному гению, Валла проявил в этом виртуозном трактате качества, которые обеспечили ему уникальное место среди ученых своего времени. Формы правильной латинизации, которые другие люди выбирали как могли, строго придерживаясь античных моделей, он подверг критическому анализу, основав искусство стиля на научных принципах.

Когда Альфонсо пригласил Валлу в Неаполь в 1437 году, дав ему должность личного секретаря вместе с короной поэта, он, должно быть, знал характер человека, которому суждено было сыграть столь заметную роль в истории свободомыслия. Не исключено, что вражда между Арагонским домом и Папским престолом, возникшая из-за несовершенного права Альфонсо на неаполитанский престол и озлобленная интригами Церкви, побудила короля благосклонно отнестись к бескомпромиссному противнику папства. Во всяком случае, трактат Валлы о "Пожертвовании Константина", появившийся в 1440 году, приобрел характер политического памфлета. [250] "Изгнание" содержало жестокие личные оскорбления Евгения IV. и кардинал Вителлески. Основная часть трактата разрушила ткань лжи, которая веками навязывалась христианскому миру. Речь завершилась угрозой. Худшее наказание ожидало мирское и симониакальное духовенство, если папы откажутся отказаться от узурпированной ими светской власти и признаться в обмане, который разоблачила критика. Таким образом, между Валлой и Римом была объявлена война не на жизнь, а на смерть. Буря, вызванная его трактатом, поначалу бушевала так яростно, что Валла счел благоразумным обратиться в бегство. Он переправился морем в Барселону и пробыл там недолго, пока, убедившись в покровительстве Альфонсо, снова не вернулся в Неаполь. Из-под щита своего царственного покровителя он теперь продолжал выпускать стрелу за стрелой в своих врагов, утверждая, что письмо Христа к Авгару, о котором сообщает Евсевий, было явной подделкой, разоблачая плохой латинский стиль Вульгаты, обвиняя Святого Августина в ереси по поводу предопределения и отрицая подлинность Апостольского символа веры. То, что простой гуманист, полагающийся только на свою ученость, осмелился атаковать сильные стороны православия - его временные рамки, его любимый этический кодекс, его символ веры и его святоотеческие авторитеты, — вполне может вызвать наше восхищение. С камнями критики и пращей риторики этот Давид выступил против Голиафа Церкви; и хотя он не смог убить филистимлянина, он всадил ему в лоб первый из тех многочисленных снарядов, которыми батарея разума обрушилась на тираническую традицию в современном мире.

Нельзя было ожидать, что монахи, на которых Валла нападал с холодным презрением и чью власть над умами людей он был занят подрывом, оставят его в покое. Со всех кафедр Италии были произнесены проповеди против еретика и язычника; людей учили ненавидеть его как чудовище беззакония; и, наконец, был открыт инквизиционный суд, на заседание которого его вызвали. На допросы инквизиторов Валла ответил, что "он верил так, как верила Мать-Церковь: совершенно верно, что она ничего не *знала*, но он верил так, как верила она". Это было все, что они смогли вытянуть из презрительного ученого, который, открыто бросив им вызов, отправился к королю и умолял его приостановить заседание Суда. Альфонсо сказал монахам, что они должны оставить его секретаря в покое, и процесс был прекращен.

После смерти Евгения Николай V. вызвал Валлу в Рим не для того, чтобы он отвечал за свои ереси и оскорбления в папской коллегии адвокатов, а для того, чтобы получить должность апостольского писца с великолепными назначениями. Вступление Валлы в Римскую курию, хотя и не было отмечено никакими внешними церемониями, стало триумфом гуманизма над ортодоксией и традицией. Нам не нужно предполагать, что Николай пытался подкупить опасного антагониста, чтобы тот замолчал. Он просто хотел пристроить к своему Двору выдающегося ученого и привлечь его к труду перевода с греческого. К ереси и скептицизму он проявлял безразличие терпимого и просвещенного духа; с монахами, ненавидевшими Валлу, у папы в Риме не было ничего общего. Позиция, занятая Николаем по этому поводу, иллюстрирует пользу, которую ученость эпохи Возрождения извлекла из светскости папства.

Только после раскола Тевтонских церквей и вторжения испанцев в Италию Римский двор последовательно проводил политику преследований и репрессий.

Большая часть биографии Валлы поглощена историей его ссор с Поджо, Георгиосом Трапезунтиосом и другими известными людьми. Об этих литературных распрях уже было сказано достаточно; мне нет необходимости упоминать о них снова, разве что для того, чтобы привлечь внимание третьего придворного ученого Альфонсо. Бартоломмео Фацио, уроженец Специи, занимал должность историографа в Неаполе. В дополнение к своим "анналам жизни Альфонсо" он составил книгу о знаменитых людях и завоевал репутацию самого аккуратного латиниста в прозе своего времени. Фацио осмелился раскритиковать стиль Валлы, в работах которого, по его словам, он обнаружил пятьсот языковых ошибок. Они обменялись восемью книгами оскорблений и взаимных обвинений, и когда оба умерли в 1457 году, эта эпиграмма была составлена в ознаменование их вражды:

Ne vel in Elysiis sine vindice Valla susurret,
Facijs haud multos post obit ipse dies.

Развлечение, которое доставляли римским императорам бои на арене, а феодальной знати - ссоры их дураков, похоже, было извлечено итальянскими покровителями из дуэлей хорошо подобранных гуманистов. Легко представить, какую личную зависть, какое напряженное соперничество за княжескую милость скрывала эта война; не исключено и то, что нападение Фацио на Валли было вызвано скрытой злобой Беккаделли. Едва ли менее близок к личности Альфонсо, чем студенты, с которыми мы беседовали, был Джанантонио Порчелло, уроженец Неаполя. Он отличался владением стихосложением: беглость, с которой он изливал четвертые латинские элегии и гексаметры, приближалась к мастерству импровизатора Моло. Альфонсо отправил его в лагерь венецианцев во время войны, которую их генерал Пиччинино вел со Сфорцей в 1452-3 годах. Порчелло, который по этому случаю делил палатку с Пиччинино, написал латинскую историю кампании в стиле Ливия, с моральными размышлениями, речами и всем аппаратом римской риторики. Пиччинино фигурировал в роли Сципиона Эмилиана; Сфорца - в роли Ганнибала. Работа была посвящена Альфонсо. [251]

За исключением Лоренцо Валлы, [252] ученые Неаполитанского двора были скорее стилистами и поэтами, чем людьми эрудиции. Свобода как спекуляций, так и морали отличала общество Южной Италии, где защита могущественного монарха, находящегося в состоянии войны с Церковью, и вседозволенность роскошной столицы освободили гуманистов от таких незначительных ограничений, как общественное мнение и общепринятые приличия, наложенные на них в Риме и Флоренции.

Из-за заметного разнообразия, проявляемого различными штатами Италии, формы, принимаемые искусством и литературой, никогда не бывают в точности одинаковыми ни в одном из двух городов. Если уроженцы Обеих Сицилий сами не были склонны к строгой учености, то более легкие виды письма там процветали в изобилии, и Неаполь придавал литературе свой особый характер. В случае с Миланом этого не было. Тем не менее, Милан во времена правления последнего Висконти и первого Сфорца привлекает к себе внимание из-за несчастного случая с резиденцией Филельфо при герцогском дворе. Филиппо Мария Висконти был одним из самых отвратительных тиранов, которые когда-либо позорили цивилизованную страну. Запертый в стенах своего дворца среди астрологов, приспешников и монахов, тщательно защищенный от посторонних глаз и под присмотром двойной группы взаимно

подозрительных телохранителей, он не мог свободно поощрять ученых людей, которыми мы восхищаемся в Неаполе. Вокруг деспотов марки Висконти по необходимости должны царить уединение и тишина пустыни, где искусство и литература не могут процветать, хотя бы Пактол изливался, чтобы подпитывать их корни. Таким образом, история гуманизма в Милане имеет меньше отношения к городу или герцогскому кругу, чем к частным трудам студентов, привлеченных в Ломбардию обещанием высокой оплаты.

Пьеро Кандидо Декабрио начинал свою карьеру в качестве секретаря Филиппо Марии. Его энергичному перу изучающий итальянскую историю обязан мельчайшим и наиболее ярким из дошедших до нас очерков привычек и пороков тирана. Это остается лучшим названием Декабрио на память, хотя его произведения, оригинальные и переведенные, если мы можем доверять его эпитафии в Сан-Амброджо, насчитывали 127 книг, когда он умер в 1447 году. Современник Декабрио, Гаспарино да Барцицца, о котором уже упоминалось, [253] занимал место придворного оратора и писателя писем. Эту должность он передал своему сыну Гуинифорте, который также занимался воспитанием детей Франческо Сфорца. Однако ни один из этих людей не пролил особого света на Милан; они были просто орудиями герцогской роскоши, частью княжеского парада в эпоху, когда даже воинственные монархи стремились напичкать свои дворы педагогами и риториками.

С Филельфо дело обстояло иначе. Его исключительные способности делали его независимым от местного покровительства и привлекали всеобщее внимание к любому месту, которое он мог выбрать для своего проживания. Из всех гуманистов он был самым беспокойным в своем юморе и беспорядочным в движениях. И все же Милан на протяжении долгого периода его жизни был его штаб-квартирой; в Милан он вернулся, когда судьба отвернулась от него в другом месте; и с Миланом его имя всегда будет связано.

Франческо Филельфо родился в 1398 году в Толентино, на марше Анконы. Он изучал грамматику, риторику и латинскую литературу в Падуе, где в возрасте восемнадцати лет был назначен профессором. В 1417 году он получил приглашение преподавать красноречие и моральную философию в Венеции. Здесь он пробыл два года, извлекая много пользы из общества Гуарино да Верона и Витторино да Фельтре и завязав полезные связи с венецианской знатью. Несмотря на свой юный возраст, Филельфо уже успел произвести впечатление и завоевал уважение, которое свойственно людям с решительным характером и экстраординарными способностями. Доказательством этого является то, что после того, как он был принят в качестве гражданина Венеции государственным указом, он был назначен секретарем Бейли (*Bailo*, или Генеральным консулом) Константинополя в интересах своего друга Лионардо Джустиниани. Джустиниани также снабдил его деньгами на путешествие, и Филельфо в 1419 году отправился в столицу греческой учености. Из трех итальянских учителей — Гуарино, Ориспы и Филельфо, — которые совершили это путешествие с явной целью овладения греческим языком и коллекционирования греческих книг, Филельфо был, безусловно, самым выдающимся. Таким образом, историю его приключений можно рассматривать как образец того, что постигло их всех. Время, проведенное в море между Венецией и Византией, составило пять месяцев; Филельфо прибыл только в 1420 году, когда было уже далеко за полночь. Он сразу же поступил на воспитание к Иоанну Хрисолору, брату Мануила, чье влияние при императорском дворе привело Филельфо в расположение Иоанна Палеолога. Молодой итальянский студент, быстро освоивший греческий язык, получил титулы секретаря и советника и выполнил несколько важных дипломатических миссий для своего

императорского хозяина. Мы слышим, например, о том, что его послали к Сигизмунду, германскому императору, в Будуу, и о том, как он произнес в Кракове Эпиталамическую речь по поводу женитьбы короля Ладислава. Венецианский суд снова отправил его ко двору Амурата II, чтобы обсудить условия договора между Республикой и турцией.

Доверие, одинаково оказанное Филельфо его венецианскими и греческими покровителями, вполне могло склонить Хрисолораса благосклонно отнестись к привязанности, которая теперь возникла между итальянским иностранцем и его дочерью Феодорой. Феодоре было всего четырнадцать лет, но в полувосточном обществе греческой столицы ее молодость, вероятно, не была препятствием для вступления в брак. То, что она была связана кровными узами с императорской семьей, делало союз почетным для Филельфо; и все же нет достаточных оснований с уверенностью утверждать, что брак был настолько неравным, чтобы оправдать злобные предположения, высказанные позже Поджио. [254] Древней крови в Константинополе было предостаточно; но не хватало богатства, в то время как талант, благодаря которому Филельфо служила великим государствам и империям, сам по себе был достаточной гарантией сохранения Феодоры на достойном посту.

Вскоре после их свадьбы Филельфо получил предложение занять кафедру красноречия в Венеции со стипендией в 500 секвинов. В 1427 году, соблазнившись перспективой хорошей оплаты и растущей славы, он высадился со своей женой, их маленьким сыном, четырьмя рабынями и двумя слугами-мужчинами на пристани перед собором Святого Марка. [255] Цель его путешествия в Константинополь была полностью достигнута. После семи с половиной лет отсутствия он вернулся в свою родную страну с греческим образованием, возросшей репутацией и большим запасом греческих книг. [256] Его гордое хвастовство, часто повторяемое в последующей жизни, что ни один из живущих людей, кроме него, не овладел всей литературой древних на обоих языках, что никто другой не мог с равной универсальностью владеть прозой Цицерона, стихами Горация и Вергилия, а также греческим Гомера и Ксенофонта, не было пустым звуком. [257] Мы действительно можем улыбнуться его претензиям превзойти Вергилия, потому что он был оратором, и Цицерона, потому что он был поэтом, и их обоих вместе, потому что он мог писать по-гречески так же хорошо, как по-латыни. [258] Мы знаем, что его латинские гекзаметры таковы, что не только Вергилий, но и Цицерон пренебрег бы признанием, что его латинские речи шипели бы перед римской трибуной, и что его греческий стиль в то же время сдержан и туманен. Ни он, ни его современники не были достаточно критичны, чтобы понять силу этих возражений. Они видели только, что он обладал ключами ко всем знаниям древнего мира и что, помимо того, что он открыл эти сокровища для современных студентов, он также был компетентен придавать современным мыслям форму, которая подражала классическим шедеврам, каждому в своем роде. Взятые по самой низкой оценке, утверждения Филельфо, на самом деле вполне обоснованные, выделяют его как самого универсального ученого своего времени. Гением он не был: хотя его восприятие было грубым, его интеллект был скорее восприимчивым, чем оригинальным. О глубокой мысли, истинном вкусе, пронизательной критике или тонком воображении он ничего не знал. Невообразимого расцвета стиля нигде нет в его работах. И все же в ту эпоху требовался человек своего склада, который мог бы сфокусировать потоки света, заливавшие Италию из разных источников, собрать их в себе и передать студентам более счастливого века идеал всесторонней учености, реализованный Полициано и Эразмом.

Прием, оказанный Филельфо в Венеции, никоим образом не соответствовал обещаниям, которыми он соблазнялся, или той ценности, которую он придавал своим собственным услугам. В городе свирепствовала чума; знать разбежалась по своим загородным домам, и некому было слушать его лекции. Поэтому он с большой готовностью принял предложение, присланное ему из Болоньи, и в начале 1428 года мы находим его обосновавшимся в этом городе в качестве профессора красноречия и моральной философии со стипендией в 450 цехинов. Однако ему не суждено было оставаться там долго, поскольку беспокойное состояние города сделало преподавание невозможным; и когда от флорентийцев поступили лестные предложения, он поспешно уехал и перевез всю свою семью через Апеннины из Имолы. [259] Восторг, который он испытал при осмотре архитектурных памятников Флоренции, и энтузиазм, который он вызвал своими колоссальными знаниями в аудитории беспрецедентного разнообразия и многочисленности, выражены в его переписке с почти детским акцентом. "Все государство, - пишет он, [260] "повернуто, чтобы посмотреть на меня. Все люди любят и почитают меня, и превозносят меня до небес. Мое имя у всех на устах. Не только правители города, но и женщины благороднейшего происхождения уступают мне дорогу, оказывая мне такое большое уважение, что я стыжусь их поклонения. Моя аудитория насчитывает каждый день четыреста человек, в основном мужчин преклонных лет и достоинства сенаторов". Это были безмятежные дни пребывания Филельфо во Флоренции, [261] когда он все еще наслаждался дружбой ученых людей, получая новые задания от Университета с повышением заработной платы, [262] и когда он еще не завоевал ненависти фракции Медичи. Его трудолюбие в ту эпоху было поразительным. Он начинал день с чтения и объяснения "Тускуланцев" и риторических трактатов Цицерона; затем переходил к Ливию или Гомеру; после короткого отдыха в полдень возобновлял свои труды с Терентием и греческим автором, Фукидидом или Ксенофонтом. По праздникам он читал Данте аудитории, собиравшейся в Кафедральном соборе, преподнося эти лекции в качестве бесплатного подарка жителям Флоренции. Среди этих общественных трудов, тяжесть которых можно оценить, вспомнив, что требовалось от профессоров в пятнадцатом веке, [263] Филельфо все еще находил досуг для частной работы. Он перевел две речи Лисия, "Риторику" Аристотеля, два Жизнеописания Плутарха и панегирики Ксенофонта Агесилаю и спартанским институтам.

В то же время у него было достаточно энергии для продолжения распрей, в которые он вскоре оказался вовлечен с флорентийскими учеными. Высокомерие, проявляемое Филельфо, его подлость в личной жизни и неосторожность на публике были настолько велики, [264], что даже люди, пригласившие его, стали его злейшими врагами. Никколо де Никколи, всегда ревнивый к превосходству и склонный обижаться, был первым, с кем он поссорился; затем последовали Карло Марсуппини и Амброджо Траверсари, пока, наконец, вся партия Медичи не воспылала против него ненавистью. Филельфо, со своей стороны, не жалел ни сатиры, ни клеветы; и когда надвигался политический кризис, который на какое-то время угнетал фракцию Медичи, он объявил себя публичным противником Козимо. Уже весной 1433 года однажды утром, когда он шел в университет, Филиппо, головорез из Казале, нанес ему удар ножом в лицо; похоже, нет никаких оснований сомневаться в том, что, как твердо верил сам Филельфо, Медичи заплатили этому человеку за его убийство. Когда тот же самый браво впоследствии последовал за ним в Сиену, [265] Филельфо нанял грека по имени Антонио Мария, чтобы отомстить своим врагам во Флоренции. Маловероятно, что чисто литературная ссора дошла бы до таких крайностей. Даже гнусность инвектив Поджио и ярость сатиры Филельфо не в состоянии объяснить вмешательство наемных убийц. Однако мы знаем, что Филельфо не ограничивался клеветой и

критикой своих литературных соперников. Во время заключения Козимо он открыто призывал синьорию лишить его жизни; когда он жил в изгнании в Венеции, он преследовал его отвратительной клеветой; и теперь, по возвращении Козимо, хотя сам был изгнан из города как мятежник и проскрипtum, он продолжал возбуждать бюргеров Флоренции и дворы Италии против тирана. [266]

Причиной переезда Филельфо в Сиену было следующее: — Когда его положение во Флоренции стало невыносимым, он получил приглашение от Антонио Петруччи читать лекции в течение двух лет со стипендией в 350 флоринов. Филельфо ответил, что предпочитает небольшую плату и покой большому доходу среди мечей и ядов своих завистливых соперников. Соответственно, он поселился на четыре года в Сиене, во дворце Пикколомини. Подобно многим великим и достойным восхищения людям, он обладал беспокойным нравом, всегда радовался всему новому, но всегда ворчал, когда на губах появлялся горький привкус. Теперь на него посыпались самые почетные приглашения. За его услугами обращались Базельский совет, венецианский сенат, император Востока Евгений IV, университеты Перуджи и Болоньи, а также герцог Миланский. Однако только в 1439 году его любовь к переменам в сочетании с соблазнами более высокой оплаты побудили его согласиться с предложениями сената Болоньи. Затем он еще раз пересек Апеннины и еще раз, после краткого пребывания в несколько месяцев, снова покинул Болонью и переехал в Милан. Прием, оказанный ему Филиппо Марией Висконти, был самым лестным. Надев ему на палец бриллиантовое кольцо, герцог приветствовал его среди знати своего двора в День Нового 1440 года. Так началась связь Филельфо со столицей Ломбардии, которая, хотя и часто прерывалась, так и не была полностью разорвана до самой его смерти.

Щедрость Висконти превосходила щедрость любого из покровителей Филельфо, [267] в то время как образ жизни в "Милане" в точности соответствовал его тщеславному темпераменту. Он любил разбрасываться своими деньгами среди лордов, появляться на придворных празднествах и возглавлять торжественные мероприятия в ранге оратора. Более того, не было соперника, достаточно сильного, чтобы угрожать подрыву его популярности. [268] Мы находим его во время его пребывания в Милане постоянно занятым упражнениями в риторике. Общественные и частные происшествия самого различного характера использовали его мастерство, и нет никаких сомнений в том, что его большой профессорский доход значительно увеличился за счет подарков, полученных от покровителей и работодателей. [269] В дополнение к трудам на своем кафедре он занимался различными литературными произведениями. Его сатиры и оды постепенно разрастались в увесистые тома. [270] Другие беглые произведения в прозе он собрал под названием "Медиоланский праздник". Тем временем он вел активную переписку, как дружескую, так и поучительную, с учеными и князьями своего времени. [271] Не было ни одной ветви писем, в которую он, руководствуясь возвышенным самоутверждением, не желал и не горел желанием вмешаться. Как во Флоренции он исповедовал Данте, так и здесь, в Милане, по приказу герцога, он взялся комментировать Петрарку и фактически сочинил поэму о святом Иоанне Крестителе в *"терца рима"*. Есть что-то нелепое в том, что этот Висконти, будущий Ирод, каким он и был на самом деле, поручил Филельфо, отъявленному язычнику, пересказать стихами жизнь предтечи Христа. Если Филельфо и презирал что-то больше священной истории, так это итальянский язык; и если и была задача, к которой он не подходил, так это сочинение стихов.

На второй год своего пребывания в Милане Филельфо потерял свою жену Теодору. Он быстро женился снова, выбрав себе в невесты красивую молодую леди из хорошей семьи в Милане. Ее звали Орсина Оснага. Поскольку я коснулся этого вопроса личной жизни Филельфо, возможно, стоит добавить, что когда он потерял свою вторую жену, он в третий раз женился на Лауре Маджоллини. В результате каждого из своих браков он приобретал немалое состояние, и все его невесты принадлежали к очень знатным семьям. Лучшее, что можно сказать о Филельфо как о мужчине, это то, что он, несомненно, был привязан к своим женам и многочисленным детям, которых они ему родили. [272] Это чувство, однако, не защитило его от многочисленных измен и не спасло его состояние от бремени внебрачных детей. [273] Сомнительно даже, не следует ли верить предположениям о худшем разврате, повторяемым со всей видимостью веры его врагами и с его стороны, но недостаточно убедительно опровергнутым. Филельфо был, по правде говоря, человеком огромной физической силы, чью энергию не мог исчерпать простой труд студента. Любовь и ненависть, семейные симпатии и бурные страсти поглощали часть его избыточной силы; и его никогда не сдерживали религиозные или моральные соображения. То, что было хорошо для греков и римлян, было хорошо и для него. Следует также отметить, что врожденное чувство деликатности, которое иногда служит защитой от чрезмерных темпераментов, было совершенно чуждо его натуре.

Во время бедствий, обрушившихся на штат Милан в связи со смертью Филиппо Марии, Филельфо поначалу поддерживал интересы бюргеров. Сохранилось письмо к флорентийцам, в котором он призывает их помочь сестре-содружеству в час крайней опасности. Однако было неестественно, что гуманист, который не стремился к свободе и чьи личные интересы заставляли его желать стабильного правления любой ценой, продолжал оставаться верным республике, столь расстроенной, как Милан. Когда Карло Гонзага обманул миланцев, впусив войска Франческо Сфорца, Филельфо первым приветствовал нового монарха торжественной речью. Он выразил глубокое восхищение генералом, который благодаря тщательному управлению и двурушничеству поставил себя во главе третьего государства на полуострове. Однако его переписка в этот период доказывает, что на душе у него было беспокойно и что он желал перемен. В дерзком письме, адресованном Николаю V. Он добивался церковных привилегий, предполагая, что обещание епископской митры обеспечит его великолепные таланты для служения папству. [274] Как бы ни желал папа нанять Filelfo для своей переводческой фабрики в Риме, требуемая цена была слишком высока. Он не мог признать призвание, столь явно продиктованное корыстными мотивами; и принять на высокие посты Церкви по его собственной просьбе человека, обвиняемого во многих пороках, который дважды был женат, создало бы опасный прецедент. Филельфо, не получив ни существенного поощрения, ни категорического отказа, в третий раз обратился мыслями к супружеству и на этот раз обратился с молитвой к Богине Венере, в которой умолял мать Приапа поддержать своего приверженца. Умный исследователь эпохи Возрождения не преминет заметить душевное состояние, подразумеваемое сопоставлением этого письма Святому Отцу и этой оды Венере.

Теперь Филельфо был вынужден довольствоваться покровительством Франческо Сфорца, принца, не имевшего от природы склонности к литературе, но достаточно мудрого, чтобы понимать, что *парвеню* меньше всего может позволить себе пренебрегать модой своего времени. Письма, которые он писал в этот период, изобилуют наглыми требованиями денег, ворчливыми воплями по поводу бедности, на которую был обречен первый ученый столетия, и жестокими угрозами возмездия, если ему не выплатят жалованье. [275] Не только Франческо Сфорца, но и все посетители, на которых Филельфо считал, что у него есть претензии,

подверглись нападкам со стороны рептилий и угрозам со стороны рептилий. Среди наиболее выдающихся князей, пострадавших от этого литературного разбоя, можно упомянуть Алессандро Сфорцу, Лодовико Гонзагу и трех пап подряд. [276] Не без строгой справедливости современник описал его в следующих суровых выражениях: "Он клеветник, завистник, тщеславен и настолько жаден до золота, что воздаст хвалу или порицание в соответствии с получаемыми им дарами, и то, и другое достойно презрения, поскольку исходит из порочащего источника". [277] Жадность Филельфо поистине отвратительна, если вспомнить, что он получил гораздо больше, чем любой столь же выдающийся ученик его возраста. Не нелиберальность покровителей, а его собственные роскошные привычки довели его до нищенства. Все то время, пока он орал плохими латинскими стихами, он жил дорого, потакая показным вкусам и находя деньги на нечистые пристрастия. Чтобы подтвердить свои притязания на щедрость герцога Миланского, он начал гигантскую латинскую эпопею о жизни Сфорца. Без плана, простая стихотворная хроника, обремененная глупыми мифологическими механизмами и напичканная льстивыми излишествами, эта свинцовая Сфорциада ползла до тех пор, пока не было написано 12 800 строк. Только первые восемь его книг были опубликованы в MS., и они никогда не печатались. [278]

Честными и нечестными средствами Филельфо сумел завоевать блестящую репутацию по всей Италии. Его путешествие в Неаполь в 1453 году напоминало триумфальное шествие. Николай V. с отличием принимал его, читал его печально известные сатиры, подарил ему кошелек в 500 дукатов и предложил ежегодную стипендию в размере 600 долларов, если он посвятит свой талант переводу. Альфонсо окрестил его рыцарем и собственноручно возложил лавр поэта на его чело. Когда он проезжал по их столицам, принцы принимали его как равного. В Ферраре он пользовался гостеприимством герцога Борсо, в Мантуе - дружбой маркиза Лодовико Гонзаги; грозный Джисмондо Пандольфо Малатеста приветствовал его в Римини, а генерал Якопо Пиччинино - в своем лагере при Фоссомброне. Эта слава не ограничивалась только Италией. После падения Константинополя он обратился с письмом к султану, умоляя его освободить из плена его тещу и двух ее дочерей; красноречие гуманиста оказало эту услугу турецкому завоевателю, который отказался принять выкуп за родственников столь прославленного оратора. [279]

До смерти Франческо Сфорца Милан оставался городом, который выбрал Филельфо. После этого события он обратил свои мысли к Риму. Пий II, Павел II и Сикст IV последовательно свидетельствовали о своем уважении к нему либо умеренными подарками, достаточными, чтобы возбудить его алчность и обуздать его клеветнический нрав, либо переговорами, которые ни к чему не привели. Наконец, в 1474 году он получил из Рима предложение занять профессорскую кафедру с жалованьем в 600 флоринов и обещанием занять первую вакантную должность в Апостольской канцелярии.

Семидесятисемилетний старик еще раз пересек равнины Ломбардии, поднялся на Апеннины, проехал через Флоренцию, [280] и начал свои лекции с "тускуланцев" Цицерона двенадцатого января 1475 года в Риме. Знаки благосклонности, с которыми Сикст принял его, были в высшей степени почетными. Филельфо было разрешено сидеть в присутствии папы, и в День Рождества он стоял среди послов, пока Сикст служил мессу. Энергичный старый ученый сначала почувствовал, что вся его предыдущая жизнь была скучным прологом к этой блаженной пьесе. Вскоре, однако, на горизонте появилось облако. Казначей папы римского Миллиард Сикала был небрежен в выплатах. Филельфо в отместку описал Сиксту пороки Чикалы в самых

зловещих красках. [281] Хотя его стиль и красноречие всегда были вульгарными, концентрированная ярость и страстная ненависть этих инвектив не могут не поражать воображение. Подобная картина распутного и алчного казначея, нарисованная Филельфо и отправленная Сиксту, обладает зловещим юмором, который мог бы понравиться зрителям inferнальной комедии. Необходимо лишь иметь некоторое представление об этих трех мужчинах, чтобы ощутить его силу. Да и сам Сикстус недолго оставался в милости Филельфо. Частые поездки доказывают, насколько неустроенным он стал; наконец, в 1476 году он покинул Рим, чтобы никогда больше не возвращаться. Когда заклинание Пацци провалилось во Флоренции, Филельфо написал, чтобы поздравить Лоренцо Медичи с его побегом, и взялся за составление истории всей интриги. Результатом этого решения стали два длинных и яростных письма, адресованные Сиксту, в которых он обвинялся в участии в заговоре и обвинялся в пороке. [282] Эти послания были датированы Миланом, куда Филельфо удалился в 1476 году, обнаружив, что его третья жена умерла от чумы и похоронена накануне его прибытия. Его скорбь по этому поводу была неподдельной; и маловероятно, что он получил большое утешение от любопытного послания, адресованного ему Паоло Морозини, который, сам будучи мужем и отцом, пытался утешить семидесятилетнего профессора, изощренно злоупотребляя супружескими узами. [283] До таких нелепых причуд доводил своих приверженцев риторический дух гуманизма.

Последнее путешествие Филельфо совершил в 1481 году. Чувствуя себя не в своей тарелке и с болью в сердце, ветеран науки все еще жаждал дальнейших триумфов. Все его желания в течение некоторого времени были направлены на то, чтобы закончить свои дни во Флоренции, рядом с личностью Лоренцо Медичи; и когда пришло приглашение на кафедру греческой литературы, ему не терпелось отправиться в путь. Однако он был так беден, что секретарю герцога Якопо Антиквари пришлось одолжить ему денег на дорогу. [284] Ему едва удалось добраться до Флоренции, где он умер от дизентерии через две недели после прибытия в возрасте восьмидесяти трех лет. Флорентийцы похоронили его в церкви Аннунциаты.

Приведенный мною очерк жизни Филельфо изобилует деталями, выходящими за рамки настоящей главы. Отчасти это связано с обилием и превосходством авторитетных источников, собранных Росмини в его исчерпывающей биографии, но в большей степени с тем несомненным фактом, что Филельфо считается типичным гуманистом своего времени. Универсальность его достижений и впечатление, которое они производили на современников, его огромная физическая сила и непрестанная умственная активность, горячность, с которой он вел свои литературные войны, и неугомонность, которая гнала его из столицы в столицу Италии, сами по себе достаточны, чтобы выделить его как характерного героя второго периода гуманизма. Не менее характерными были качество и форма его литературного творчества, которые тогда до смешного переоценивались, а теперь, возможно, слишком легко обесцениваются. Есть что-то трогательное в уверенности в вечной славе, которая поддерживала студента на протяжении стольких лет неустанного труда. Это заставляет нас задаться вопросом, не обречены ли достижения человеческого интеллекта в области науки и открытий, какими бы приемлемыми они ни были для своего времени, на быстрое забвение, как и триумф Филельфо в области науки. Нет ничего нетленного, кроме высокой мысли, которой искусство придало нерушимую форму красоты.

"Эпоха деспотов" [285] содержит обещание более подробной информации о Витторино да Фельтре, раскрыть которую сейчас пришло время. Его отца звали Бруто де Рамбальдони; но, родившись в Фельтре в 1378 году, он взял от места своего рождения фамилию, под которой он наиболее известен.

Как и большинство его современников, Витторино изучал латынь у Иоанна Равеннского и риторику у Гаспарино да Барцицца. Бедность вынуждала его в то же время содержать себя, беря учеников; однако эта тяжелая работа была настолько неоплачиваемой, что, когда он захотел посетить математические лекции Бьяджио Пелакане, ему пришлось заплатить этому скупому и эксцентричному учителю личными услугами. Как Гайдн получил столь желанные наставления от Порпоры, сыграв роль камердинера, [286] так Витторино стал судомойкой Пелакане, [287] для того, чтобы он мог овладеть геометрией. Эти ранние исследования проводились в Падуе, из которой он, по-видимому, переехал примерно в 1417 году в Венецию. Здесь он подружился с Гуарино да Верона и, выучив греческий, вернулся в свой старый университет в качестве профессора риторики. [288] Гений Витторино склонялся к частному преподаванию, и именно этим он выделяется среди современных гуманистов. Соответственно, мы обнаруживаем, что, как только он поселился в Падуе, он открыл школу для определенного числа молодых людей, отобранных без учета ранга или богатства. От более богатых учеников он требовал платы, пропорциональной их средствам; от бедных он ничего не требовал: таким образом, богатые были вынуждены поддерживать нуждающихся, в то время как учитель получал для себя благородное удовлетворение, избавляя стремящихся к знанию от давления нужды и лишений. О другой выгоде, кроме этой, он никогда не думал. Только настоящим ученикам разрешалось оставаться в школе Витторино; моральные правила были строгими, и от всех его учеников ожидали возвышенного мышления и простой жизни. Эта щедрая преданность делу обучения ради него самого сильно контрастирует с эгоизмом и тщеславием других гуманистов. Когда Филельфо однажды убедили открыть школу для многообещающих молодых людей благородного происхождения, он презрительно спросил, ожидают ли его друзья, что он получит звание лицензированного ресторатора. [289] Он был неспособен осознать возможность сделать что-либо, что не придало бы ему блеска или не поставило бы его в центр всеобщего внимания.

Витторино было трудно управлять своей школой в Падуе так строго, как ему хотелось. В государственной гимназии царил беспорядок, и ее ученикам разрешалась большая вольность в жизни. Поэтому в 1423 году он переехал в Венецию, где продолжил свою работу частного репетитора. Однако к этому времени он приобрел значительную репутацию педагога, чьим заботам можно было безоговорочно доверить молодежь обоего пола — немалое свидетельство его доброты в тот век неуправляемых страстей и неопишуемых пороков. Маркиз Джан Франческо Гонзага искал учителя для своих детей, и его выбор пал на Витторино. Восхищение древностью было для этого принца не просто данью моде. Он любил историю саму по себе и питал особое почтение к римлянину Камиллу. Его практический здравый смысл подсказал ему, что, если он хочет, чтобы его сыновья и дочери получили всестороннее образование не только в гуманитарных науках и математике, но и в республиканских добродетелях древних, которые тогда составляли идеал жизни в Италии, он должен быть готов полностью вверить их заботам назначенного ими губернатора. Витторино, который ни при каких других условиях не взял бы на себя этот долг, получил полный контроль над молодыми принцами и их слугами. Ему было назначено жалованье в двадцать цехинов в месяц, а также общий приказ о казначействе Мантуи. Новому дому была выделена вилла под названием Casa Zojosa, что мы можем

перевести как "Радостный сад", и там Витторино утвердился в качестве хозяина в 1425 году. Ему предстояло многое сделать, прежде чем это жилище можно было превратить из дома удовольствий средневекового монарха в полумонашеский курорт для прилежных студентов. В его открытых галереях и расписных банкетных залах молодой Гонзага отдыхал с любимыми друзьями, избранными из мантуанской знати. Столы ломились от золотых и серебряных тарелок, надушенные лакеи разносили по кругу богатые вина и блюда с высокой приправой, а аллеи сада эхом разносились под звуки лютни и виолы. Не прибегая к каким-либо резким или внезапным переменам, Витторино постепенно и под разными предлогами удалось уволить наиболее опасных друзей и слуг своих учеников. Был нанят строгий привратник с приказом не допускать подозрительных посетителей. Простая одежда, простые привычки и скудное питание стали правилом в доме, и Витторино ухитрился сделать эти перемены не менее приятными, чем благотворными для своих учеников. Когда от бывших товарищей принцев и их родителей поступили жалобы, он четко изложил свой план обучения маркизу, у которого хватило здравого смысла одобрить все, что он сделал.

Старший из детей Джан Франческо, Лодовико, был ленивым юношей, склонным к обжорству и уже слишком толстым для своего возраста. Следующий, Карло, перерос свои силы и нуждался в более плотной пище. Витторино разработал системы питания и физической подготовки, соответствующие их различным темпераментам, поставив своей единственной целью повысить их бодрость и, умножая источники рационального удовольствия, расположить их к энергичному проявлению своих способностей. Он ни в коем случае не пренебрегал тем, что мы называем легкой атлетикой. Действительно, фундаментальной аксиомой его метода было то, что только крепкое тело может содержать здоровый дух. Мальчики, которые сидели, уткнувшись в книги, или посещали уединенные места, погруженные в мечты, не находили благосклонности в его глазах. Упражнениям в гимнастическом зале или школе верховой езды он предпочитал игры на свежем воздухе; охотой и рыбной ловлей, борьбой и фехтованием, бегом и прыжками занимались его ученики в парке перед их дворцом. Закалить их против суровых условий жары и холода, сделать их умеренными в еде и питье, натренировать их голоса и улучшить осанку было его первой заботой. Поскольку он не мог сам руководить их образованием во всех его отраслях, он нанял подчиненный ему штат наставников; грамматики, логики, математики, художники и мастера верховой езды, танцев, пения, плавания, фехтования начали заполнять залы "Веселого сада". У каждого была своя задача, которую он должен был выполнить, в то время как Витторино изучал всю схему в целом. "Возможно, - говорит Росмини, [290] "единственными науками, которые не преподавались в этой академии, были гражданское и каноническое право и естественная физика".

Не следует воображать, что столь обширный аппарат существовал исключительно для молодого Гонзага. Благородные юноши со всех дворов Италии и студенты из отдаленных уголков Европы стремились поступить в школу Витторино. Наиболее многообещающих из этих учеников, которые по своему рангу и склонностям подходили для общения со своими княжескими подопечными, учитель поселил под своей крышей, в то время как остальным он предоставил подходящее жилье поблизости. Многие из них были бедными студентами, которые, таким образом, были обязаны его щедрости участием в самой утонченной и научной культуре, какую только мог предложить их век. [291] Отдавая дань уважения Витторино да Фельтре, мы должны помнить о чести, которой также обязан Джан Франческо Гонзага. Если бы этот принц не был наделен истинной щедростью души и свободой от мелких предрассудков, Витторино никогда не смог бы разработать систему, основанную на чистых демократических принципах,

которые даже сейчас могут считаться непревзойденным образовательным идеалом. Если учитель, опять же, был в состоянии обеспечить шестьдесят бедных учеников одновременно — обучать, кормить, одевать и снабжать их дорогими книгами, мы уверены, что его друг маркиз должен был пополнить свой кошелек дополнительными средствами на благотворительные цели. [292]

Многочисленные биографы Витторино передали множество деталей, иллюстрирующих его метод преподавания. Он обычно читал классических авторов вслух, предваряя их биографическими примечаниями в качестве введения и объясняя суть, а также язык своего текста по мере продолжения. Иногда он заставлял своих учеников читать, исправляя их произношение и заставляя подчеркивать смысл. Он во многом полагался на заучивание наизусть и повторение, как на самое верное средство формирования хорошего стиля. Одаренный более тонким языковым чутьем, чем большинство его современников, он следил за тем, чтобы его ученики различали различные типы литературного мастерства, не путая Цицерона с Сенекой или Вергилия с Луканом, но стремясь оценить особые качества каждого из них. Стремясь усвоить чистые принципы вкуса, он сначала ограничил их Вергилием и Гомером, Цицероном и Демосфеном. Этих четырех авторов он считал высшими мастерами выражения. Овидий был слишком пышен, Ювенал слишком груб, чтобы служить путеводителями для тироса. Можно было бы спокойно изучать Горация и Персия среди сатириков, Теренция среди поэтов-комиков. Несмотря на авторитет Сенеки как философа-эссеиста, Витторино осуждал вычурность его риторики; и хотя он восхвалял красоту латинских элегистов, он считал их неподходящими для обучения молодежи. Критика такого рода, хотя она может показаться нам очевидной и поверхностной, была чрезвычайно редкой в пятнадцатом веке, когда ученые были слишком склонны пренебрегать различиями в стиле древних авторов и этичностью их произведений. Утонченность, отличавшая Витторино, заставляла его предпочитать изящество сдержанных манер звучным фразам выразительной декламации. Его учеников учили видеть, что сначала им есть что сказать, а потом говорить это просто и элегантно.

Эта чистота вкуса была для Витторино не просто вопросом эстетической чувствительности. Привычки, которые ожесточают разум или унижают тело, какими бы санкционированными они ни были по тогдашним обычаям, встречались в его присутствии с трудом. Ругань, непристойные выражения, вульгарные шутки и сердитые препирательства строго наказывались. Он требовал от своих учеников личной нравственности и соблюдения религиозных обрядов. Ложь считалась тяжким преступлением. Те, кто оказывался несговорчивым по этим вопросам, исключались из его школы. Об остальных Веспасиано особо пишет, что "его дом был святилищем манер, поступков и слов". [293]

О благородных итальянских юношах, получивших образование в семье Гонзага в Мантуе, достаточно было сказано в другом месте. [294] Те, кому интересно ознакомиться с подобными подробностями, найдут в приложении к обширной биографии Росмини заметки о сорока более или менее выдающихся учениках. [295] Помимо двух уже упомянутых сыновей Джан Франческо Гонзаги, Витторино воспитал еще троих детей своего хозяина — Джанлусидо, Алессандро и Сесилию. [296] Полностью посвятив себя заботам о преподавании и больше стремясь сохранить добрую славу своих учеников, чем обеспечить бессмертие литературы, Витторино не завещал никаких произведений потомкам. Он дожил до крепкой и бодрой старости; и когда он умер в 1446 году, выяснилось, что прославленный ученый, столько лет пользовавшийся щедростью своего княжеского покровителя, не накопил достаточно денег, чтобы оплатить

собственные похороны. Все, что у него было, он тратил на благотворительность при жизни, полагаясь на доброту своих друзей, которые похоронят его после смерти. Немногие жизни, о которых есть какие-либо записи в истории, столь же достойны похвалы, как жизнь Витторино; немногие люди более благородно осознали идею жить ради высших целей своего времени; немногим удалось сохранить себя настолько незапятнанными пороками окружающего их мира.

Благодаря покровительству, оказанному Витторино да Фельтре, двор Мантуи занял одно из первых мест среди высших школ гуманизма в Италии. Феррара добилась аналогичного отличия благодаря щедрости Дома Эсте. Однако то, что уже было сказано о Милане, в меньшей степени применимо к Ферраре. Искусства и литература, хотя и процветали с необычайным блеском при покровителях Боярдо, Ариосто и Тассо, были всего лишь аксессуарами к великолепной и сладострастной придворной жизни. Литература была немногим лучше экзотики, культивируемой из-за ее редкости и красоты принцами семьи Эсте.

Золотой век культуры в Ферраре началась в 1402 году, когда Никколо III. вновь открыт университет. Двадцать семь лет спустя Гуарино да Верона превратил его в одно из пяти главных мест образования Юга. Жизнь этого выдающегося ученого во многом напоминает жизнь Филельфо, хотя их характеры были очень разными. Гуарино родился в Вероне в 1370 году в семье уважаемых родителей. Он изучал латынь в школе Джованни да Равенна и, будучи еще восемнадцатилетним юношей, отправился в Константинополь на средства знатного венецианца Паоло Зане, чтобы выучить греческий. Прожив пять лет в Греции, он вернулся в Венецию и начал читать лекции перед переполненной аудиторией. [297] Как и все гуманисты, он, по—видимому, предпочитал временные занятия постоянным - переезжал из Венеции в Верону, из Трента в Падую, из Болоньи во Флоренцию и повсюду приобретал ту солидную репутацию учителя, которой он был обязан приглашению Никколо д'Эсте в 1429 году. Теперь ему было почти шестьдесят, он владел обоими языками и хорошо был знаком с методом обучения. Маркиз Феррара нанял его в качестве наставника к своему незаконнорожденному сыну Лионелло, очевидному наследнику своего трона. В течение семи лет Гуарино полностью посвятил себя образованию этого юноши, который считался одним из лучших ученых своего времени. Допуская, что репутация образованного человека была легкомысленно присвоена принцам их литературными паразитами, кажется несомненным, что Лионелло получил от своего наставника нечто большее, чем просто поверхностные познания в культуре. Среди удовольствий от охоты, которой он был страстно предан, и развлечений самого веселого двора Италии он находил время для переписки на научные темы с Поджо, Филельфо, Декабрио и Франческо Барбаро. Его разговор обычно касался модных тем античной этики, и его любимыми собеседниками были люди с хорошим образованием. Неудивительно, что гуманисты, видевшие в нем будущего Августа, с неподдельной скорбью оплакивали его раннюю смерть, хотя нам, которые могут судить о нем только по общему стандарту его семьи, может быть позволено придерживаться своего мнения. Портрет Лионелло в профиль, ныне хранящийся в Национальной галерее, во всяком случае, не слишком располагает нас в его пользу.

Гуарино, как и его друг Витторино, прославился своим методом преподавания и точным порядком преподавания дисциплины. [298] Студенты стекались со всех городов Италии в его лекционный зал; ибо, как только его учебные занятия с принцем позволили, он получил публичное назначение профессором красноречия от Ferrarese Consiglio de' Savi. На этом посту он проработал много лет, поддерживая свою репутацию студента и наполняя университеты Италии своими учениками. Фраза, описывающая его образ жизни в глубокой старости, может

быть использована для иллюстрации энтузиазма, который поддерживал жизненную энергию ученых того поколения: "У него изумительная память, а его привычка к чтению настолько неутомима, что он едва находит время на еду, сон или выезд за границу; и все же его члены и чувства полны энергии молодости. [299] Гуарино был одним из немногих гуманистов, чей моральный облик вызывал такое же уважение, как и его ученость. Когда он умер в возрасте девяноста лет, отец шести мальчиков и семи девочек от своей жены Таддеи Чендраты из Вероны, можно было с уверенностью сказать, что он воплотил в жизнь идеал умеренного ученого. И все же этот несравненный учитель молодежи выступил в защиту непристойных стихов Беккаделли: этот отшельник гуманизма сочинил ядовитые оскорбления вместе с худшими из своих современников. [300] Такие контрасты были достаточно распространены в пятнадцатом веке.

Имя Джованни Ориспа не должно быть опущено в связи с Феррарой. Он родился в 1369 году в Ното на Сицилии, дожил до преклонных лет и умер в 1459 году. В ранней юности он тоже отправился в Константинополь и вернулся, нагруженный рукописями и знаниями, чтобы преподавать гуманитарные науки в Италии. Таким образом, его жизнь образует тесную параллель с жизнью Гуарино и Филельфо. Ориспа, однако, был одарен менее несдержанным характером, чем Филельфо; и он не добился такого профессорского успеха, как Гуарино. В своей школе в Ферраре он наслаждался более спокойными радостями студенческой жизни, "преданный", как выразился Филельфо, "безмятежным музам". [301]

Давать отчет обо всех мелких Дворах, где гуманизм процветал под покровительством мелких князьков, было бы утомительно и невыгодно. Достаточно заметить, что университеты в этот век неутомимой энергии продолжали формировать ученых, стремившихся пробиться в качестве секретарей и наставников, в то время как знать соревновалась за честь и прибыль, которые можно было извлечь из службы выдающихся умов и умелых перьев. Таким образом, семена классической культуры были посеяны в каждом маленьком городке, который мог похвастаться своим замком. Карпи, например, готовил почву для процветания Альдуса и Мусуруса. В Форли орделаффи, обреченные на вымирание в недалеком будущем, оказали защиту Codrus Urceus. [302] Мирандола становилась местом рождения могущественного Пико. Алессандро и Костанцо Сфорца украсили свою светлость Пезаро библиотекой, которая могла соперничать с библиотеками Рима и Флоренции. [303] В крепости Римини Сигизмондо Пандольфо Малатеста беседовал с учеными людьми всякий раз, когда его интриги и военные обязанности давали ему досуг. Отчаянный и безбожный тиран, чьи страсти граничили с безумием, и чье имя стало притчей во языцех для обозначения всех пороков, позорящих человечество, обуздал свой нрав перед мелкими остряками вроде Порчеллио и вырезал свидетельство своей пламенной любви к науке на храме, возведенном в честь его славы в Римини. Той же страсти к учености, что и у его брата Малатесты Новелло, крошечный городок Чезена был обязан основанием библиотеки, не только хорошо укомплектованной книгами, но и обеспечиваемой ежегодным доходом в 300 золотых флоринов на ее содержание. Деньги, потраченные на стипендии при этих второстепенных дворах, были заработаны, по большей части, на военной службе — богатство флорентийских и венецианских граждан, миланских деспотов и амбициозных пап перетекало через руки профессиональных военачальников в карманы книготорговцев и студентов. Следовательно, случилось так, что импульс, данный в то время обучению в небольших городах,

был лишь временным. С падением Малатешти и семьи Сфорца, например, эрудиция умерла в Римини и Пезаро.

Так могло бы быть и в Урбино, если бы дому Монтефельтро не удалось благодаря мудрому поведению и благоразумным бракам противостоять посягательствам Церкви и передать свое герцогство семье Делла Ровере. Как бы то ни было, Урбино на протяжении трех поколений сохранял отпечаток культуры и утонченности, наложенный на него добрым герцогом Фредериком. О своей знаменитой библиотеке Веспасиано, участвовавший в ее формировании, сообщил нам мельчайшие и интересные подробности. [304] В течение более четырнадцати лет герцог постоянно нанимал тридцать или сорок переписчиков для переписывания греческих и латинских рукописей. В его коллекции нашли место не только классические произведения на обоих языках, но и церковные и средневековые авторы, итальянские поэты и произведения современных гуманистов. Стоимость всего этого оценивалась значительно более чем в 30 000 дукатов. Каждый том был в малиновом переплете с серебряными застёжками; листы были из пергамента, изысканно украшенного миниатюрами; во всей библиотеке нельзя было найти ни одной печатной книги, потому что герцог постеснялся бы владеть такой. Восхищение Веспасиано этими изящно отделанными рукописями и презрение, которое он выражает к новому искусству книгопечатания, в высшей степени характерны. [305] В другом месте мной уже было сказано достаточно о Федерико да Монтефельтро и его покровительстве обучению. [306] В коллекции королевы в Виндзоре есть любопытная картина, приписываемая Мелоцце да Форли, о которой мне, возможно, будет позволено рассказать в этом месте, поскольку она представляет более чем обычный интерес для изучающих гуманизм при итальянских дворах. В большом прямоугольном зале, освещенном сверху окнами в куполе, сидит герцог Урбинский в мантии и значках Ордена Подвязки, положив левую руку на фолиант. Его сын Гвидобальдо, мальчик лет одиннадцати или чуть больше, стоит на коленях у герцога, одетый в желтое дамастовое платье, отделанное жемчугом. Позади них, на приподнятой скамье с письменным столом перед ней, сидят трое мужчин, один облачен в красный костюм прелата, второй - в черное церковное одеяние, а третий - в светский костюм. У двери, ведущей в коридор, стоят слуги и младшие придворные. Вся компания внимательно слушает седовласого гуманиста в черной мантии, сидящего за чем-то вроде кафедры напротив герцога и его сына. На столе перед ним раскрыта большая книга в малиновом переплете с серебряными застёжками; по движению его губ ясно, что он читает вслух отрывки из какого-то классического или церковного автора и объясняет их для своей прославленной аудитории. Идентифицировать ученого и троих мужчин, стоявших за спиной Федерико, было бы не так уж невозможно, если бы можно было установить точную дату создания этой любопытной работы, поскольку это явно портреты. Мне нравится воображать, что в непрофессионале мы, возможно, узнаем превосходного Веспасиано. Подобные предположения, однако, опасны; между тем картина имеет внутреннюю ценность как уникальное изображение, насколько мне известно, сцены, часто происходящей при итальянских дворах, где прослушивание лекций составляло часть повседневного занятия.

Здесь уместно поговорить о Веспасиано да Бистиччи, о "Жизнеописаниях выдающихся людей" которого я имел возможность так много почерпнуть. Особый интерес вызывает к нему как к последнему из средневековых переписчиков и в то же время первому из современных книготорговцев. [307] Помимо того, что Веспасиано был агентом Козимо Медичи, Николая V. и Фридриха Урбинского, он поставлял рукописи на зарубежные рынки, отправляя их по заказу в Венгрию, Португалию, Германию и Англию. Масштабы его профессии сделали его крупнейшим работодателем переписчиков в Европе в тот момент, когда эта отрасль была вот-вот вытеснена,

и когда ученые уже интересовались новостями об искусстве, которое экономило расходы и сокращало труд студента. [308] Веспасиано, родившийся в 1421 году во Флоренции, прожил до 1498 года; так что после того, как он помог сформировать три величайших собрания рукописей в Италии, он стал свидетелем триумфа книгопечатания и, возможно, даже держал в руках Музей, выпущенный из Альдинской типографии в 1493 году. Веспасиано был не простым торговцем. Его знания о книгах, которые он продавал, были точными; постоянное изучение позволяло ему не обращать внимания на переписчиков и ручаться за точность их расшифровок. [309] В то же время его профессия привела его к тесной близости с ведущими учеными того времени, так что новая культура доходила до него через разговоры и знакомую переписку. Как биограф Веспасиано обладал редкими достоинствами. Лично знакомый с людьми, о которых писал, он нарисовал их характеры с похвальной лаконичностью и простотой. В его набросках нет панегирического акцента, нет клеветнических намеков. Можно даже сказать, что они страдают от скрытности мнений и замалчивания фактов. Ненависть Веспасиано к пороку и любовь к добродетели были настолько искренними, что в своем стремлении почтить литераторов и их покровителей он смягчил резкие очертания и обошел молчанием все, что заслуживает осуждения. Он меньше стремился изобразить характер в стиле Тацита или Гвиччардини, чем рассказать то, что он знал о прогрессе образования в его эпоху. Этический замысел его творчества очевиден. Качества, которые он любит восхвалять, - это благочестие, целомудрие, щедрость, преданность делу либеральной культуры и благородный патриотизм. О пороках, придавших зловещий блеск эпохе, в которую он жил, о политических распрях, разделивших города на враждебные партии, и о несовершенстве характеров выдающихся людей, мы ничего не слышим от Веспасиано. Приятно завершить эту главу выражением благодарности человеку, столь безупречному в своей жизни, столь милосердному в своих суждениях и столь заслуживающему доверия в его описании современной истории.

ГЛАВА VI

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ГУМАНИЗМА

Улучшение вкуса и критики—Кружки и академии—Возрождение итальянской литературы—Книгопечатание—Флоренция, столица образования—Лоренцо Медичи и его окружение—Государственная политика Лоренцо—Литературное покровительство—Разнообразие его дарований—Собрания Платоновского общества—Марсилио Фичино—Его обучение платоноведению—Переводы Платона и неоплатоников—Гармония между Платоном и христианством—Джованни Пико—Его первое появление во Флоренции—Его Тезисы, предложенные в Риме—Порицание Церкви—Его изучение каббалы—Широкая концепция обучения—Оккультные науки—Кристофоро Ландино—Профессор изящной литературы—Виргилианские исследования—Камальдозезские диспуты—Лео Баттиста Альберти—Его разносторонность—Бартоломмео Скала—Неясное происхождение—Канцлер Флоренции—Анджело Полициано—Ранняя жизнь—Перевод Гомера—"Homerici Juvenis"—Истинный гений Полициано—Владение латынью и греческим—Возрождение античности в его лице—Его профессорская работа—"Сборник"—Отношение к Медичи—Римская наука того периода—Пий II.—Помпоний Лет—Его академия и образ жизни—Преследования при Павле II.—Гуманизм в Неаполе—Понтан—Его Академия—Его труды—Академии, учрежденные во всех городах

Италии—Введение книгопечатания—Свейнхайм и Паннарц—Ранняя венецианская пресса—Флоренция—Ченнини—Гомер Алопы—Изменения в науке, вызванные книгопечатанием—Жизнь Альдо Мануцио—Княжеский дом Пио в Карпи—Греческие книги до Альдо—Альдинская пресса в Венеции—История ее деятельности—Альдо и Эразмус—Альдо и греческие беженцы—Смерть Альдо—Его семья и преемники—Неакадемия—Спасение греческой литературы.

В четырех предыдущих главах я обрисовал возникновение и прогресс итальянского гуманизма с большей подробностью, чем это необходимо сейчас для описания истории его дальнейшего развития. Учеными первого и второго периодов была отвоевана вся область древней литературы; классика была возвращена современному миру в их целостности. Петрарка первым воспытал энтузиазмом, без которого не могла быть выполнена столь великая работа, его непосредственные преемники овладели греческим языком и исследовали все области античности. Однако новому поколению студентов еще многого предстояло достичь, ибо критика тогда только зарождалась; изящество стиля было мало понято; неразборчивая эрудиция выдавалась за ученость, а грубое словоблудие - за красноречие. Гуманисты третьего века, все еще пылающие рвением, вдохновлявшим Петрарку, и извлекающие выгоду из трудов своих предшественников, поднялись на более высокий уровень культуры. Их слава в том, что они очистили грубый и туманный стиль средневековых латинистов, ввели методы сравнительной и эстетической критики и выделили характерные черты авторов и периодов, которые они изучали.

Можно кратко изложить характерные черты этой третьей эпохи гуманизма. Сделав свое дело, посеяв семена культурного вещания, бродячие профессора второго периода начинают исчезать, и литературная республика имеет тенденцию формироваться вокруг выдающихся людей в узких кругах и ученых кругах. Таким образом, это эпоха академий. Во-вторых, примечательно, что итальянской литературе, почти полностью заброшенной в первом порыве увлечения античностью, сейчас уделяется почти столько же внимания, сколько классике. Поскольку возрождение итальянского языка в золотой век Возрождения станет темой моего последнего тома, имен Лоренцо Медичи и Полициано во Флоренции, Боярдо в Ферраре и Санназаро в Неаполе может быть здесь достаточно, чтобы указать точки соприкосновения науки и национальной литературы. Целое столетие ушло на приобретение гуманистической культуры; когда она была приобретена, она принесла плоды не только в виде более изысканной учености, но и в новых формах поэзии и прозы для народа. Третьей заметной чертой того периода является создание печатного станка. Энергия, с которой немногим более чем за пятьдесят лет тексты классических авторов стали неразрушимыми благодаря случайности или времени и стали доступны студентам по всей Европе, требует особого внимания в этой главе.

Флоренция по-прежнему остается столицей образования. Самые блестящие гуманисты, собравшиеся вокруг личности Лоренцо Медичи, издают законы по всей Италии, определяя своими вкусами и исследованиями тон интеллектуального общества. Сам Лоренцо в столь глубоком и истинном смысле является главным духом этого круга, что описание его положения в республике вряд ли будет считаться отступлением.

Перед своей смертью в 1464 году Козимо Медичи преуспел в том, чтобы сделать свою семью необходимой государству Флоренция. Несмотря на то, что ему мешали амбициозные соперники и интриги партии, которую он сформировал для управления республикой, Козимо ухитрился настолько усложнить государственные финансы своим собственным банковским бизнесом и

настолько привязать к себе ведущих бюргеров различными обязательствами, что, хотя он никоим образом не влиял на стиль деспота, Флоренция принадлежала его дому более уверенно, чем Болонья Бентивольи. Для продолжения этой власти, основанной на интригах и скрепленной коррупцией, было абсолютно необходимо, чтобы дух Козимо сохранился в его преемниках. Одно-единственное неверное движение, разоблачающее тиранию, которую так тщательно скрывали, оскорбляющее республиканское тщеславие флорентийцев, или применение силы там, где до сих пор все достигалось хитростью, разрушило бы в ту эпоху перспективы семьи Медичи. Настолько верно, что история этого века в Италии - это не столько история государств, сколько история индивидуальностей, людей. Принципы, которые Макиавелли свел к правлению в своем эссе о принце, можно изучать на примере жизней авантюристов пятнадцатого века, которые, подобно Чезаре Борджиа, осознавали необходимость использования насилия для достижения особых целей или, подобно Медичи, понимали, что суверенитет лучше держать рукой в бархатной перчатке, чем в стальной кольчуге. Медичи обеих ветвей на протяжении восьми последовательных поколений демонстрировали в своей общей линии политики, в катастрофах, которые сопровождали их отклонение от нее, и в средствах, которые они использовали для восстановления своего влияния, действие того, что Бальзак называет *политическим человеком*, с поразительной ясностью для изучающего философию.

И сын, и внук Козимо хорошо понимали роль, которую им предстояло сыграть, и играли ее так умело, что даже ошибок младшего Пьеро, гения Савонаролы, и неудач старшей линии Медичи было недостаточно, чтобы остановить постепенное подчинение государства, инициированное им. Отец Лоренцо, Пьеро, которого флорентийцы называли *Готтозо*, сильно страдал от слабого здоровья и не мог взять на себя ведущую роль в политике. [310] Однако полномочия, возложенные на его отца, были подтверждены для него. Выборы оставались в руках партии Медичи, и назначенный в их пользу *балия* продолжал контролировать государство. Опасный заговор против жизни Пьеро, в котором участвовали Лука Питти и Диотисальви Нерони, доказал, что его враги считали главу рода Медичи лидером республики. Именно благодаря благоразумным действиям молодого Лоренцо этот заговор провалился, и Медичи даже укрепились после падения своих врагов. Из тона поздравлений, адресованных по этому случаю правящими державами Италии Пьеро и Лоренцо, мы можем заключить, что за пределами Флоренции их уже считали принцами, хотя они все еще вели простую жизнь, подобающую бюргерам, в городских стенах.

Женитьбой своего сына Лоренцо на Клариче дельи Орсини из знатного римского дома Пьеро обозначил признаки отхода от осторожной политики Козимо. Флорентийцы с подозрением относились к иностранным союзам, и совет Пандольфини своим сыновьям избегать фамильярности с территориальными магнатами в точности отражал дух республики. [311] Аналогичным образом образование как Лоренцо, так и Джулиано, их общение с королевскими гостями и видные места, отведенные им во время церемоний, указывали на продвижение к деспотизму. То, что одна семья должна была играть роль принимающей стороны для республики, соответствовало нравам того времени. Выполнение Медичи этого долга не вызвало зависти у бюргеров; однако это позволило амбициозному дому занять уникальное положение и, оставаясь, по-видимому, простыми гражданами, сделать шаг в направлении суверенитета.

После смерти Пьеро в 1469 году главные деятели партии Медичи посетили Лоренцо и, выразив свои соболезнования, умоляли его стать преемником своего отца на посту президента государства. Среди руководителей города преобладало мнение, что при существующих

условиях итальянской политики невозможно управлять речью посполитой без титульного главы. Таким образом, Лоренцо, которому тогда шел двадцать второй год, начал политическую карьеру, в ходе которой он не только поддерживал баланс сил в Италии, но и перестроил внутреннее управление Флоренции в интересах своей семьи и еще больше укрепил их позиции, установив связи с Папским престолом. Направляя все способности своего мощного и тонкого интеллекта на укрепление тирании, Лоренцо был слишком мудр, чтобы изображать из себя деспота. Он фамильярно беседовал с горожанами, поощрял художников и ученых обращаться к нему на равных и старался не употреблять титулов. Его личный темперамент делал задачу быть фактически сувереном, в то время как он действовал как гражданин, сравнительно легкой, его главные трудности возникали из-за необходимости, в условиях которой он трудился, подобно своему деду Козимо, управлять страной через партию, состоящую из людей, отличающихся происхождением и способностями, могущественных благодаря богатству и связям. Поддерживать хорошее настроение этой партии, льстить ее членам демонстрацией влияния и заручиться их согласием на изменения, которые он внес в государственную машину Флоренции, было задачей его жизни. Создав группу клиентов, связанных с ним разнообразными интересами и обязательствами, он преуспел в обуздании партии Медиков и исключении из доверительных учреждений всех опасных и недовольных лиц. Доброжелательность города в целом была обеспечена процветанием внутри страны и миром за рубежом, которыми были отмечены последние четырнадцать лет его правления, в то время как блеск его зарубежных связей в немалой степени способствовал его популярности. Флорентийцы гордились гражданином, который вывел их в первый ряд итальянских держав и который воздерживался от принятия стиля суверена. Таким образом, Лоренцо решил самую сложную из политических проблем — проблему использования тесной олигархии для поддержания деспотизма в свободном и ревнивом государстве. Ни один из его соперников не сохранил достаточной власти, чтобы отобрать скипетр у его сыновей, когда они попытаются завладеть им.

Корни рода Медичи не цеплялись ни за одну часть Флоренции в отдельности. Они казались поверхностными; однако они пронизывали землю во всех направлениях. Поскольку они были связаны со всеми интересами, как общественными, так и частными в городе, вырезать их означало отрезать какой-то жизненно важный элемент. В этом был секрет их могущества в следующем поколении, когда, изгнанные и низведенные до уровня бастардов, Медичи вернулись из двух изгнаний, пережили опасности осады и убийство Алессандро и, наконец, приняли герцогскую корону в лице последнего отпрыска их младшей ветви. Политику, столь настойчиво проводимую поколениями, столь мощно применяемую Лоренцо, можно сравнить с нападением осьминога, который вцепляется в свою жертву множеством крошечных щупалец и ждет, пока у нее не иссякнут силы, прежде чем вонзить клюв в жизненно важное место.

В одном Лоренцо уступал своему деду. У него не было коммерческого таланта. После того как банковский бизнес Медичи пришел в упадок, он фактически обанкротился, в то время как его личные расходы постоянно увеличивались. Чтобы вернуть свое состояние, ему было необходимо получить в полное распоряжение государственную казну. Это было реальной целью конституционной революции 1480 года, в результате которой его Тайный совет взял на себя активные функции государства. Если бы Лоренцо был столь же велик в финансах, как и в управлении людьми, путь его сына Пьеро в катастрофическом 1494 году мог бы быть свободен.

Если Лоренцо пренебрегал погоней за богатством, с помощью которой Козимо поднялся из ничтожества до диктатуры Флоренции, то он превзошел своего деда в использовании литературного покровительства. Не будет парадоксальным утверждать, что в его политике мы можем проследить подчинение подлинной любви к искусству и литературе управлению государством. Новая культура была одним из инструментов, которые помогли построить его деспотизм. Благодаря своему глубокому и восторженному участию в интеллектуальных интересах своего времени, он проникся тесной симпатией к флорентийцам, которые были рады признать своим лидером, безусловно, самого способного из известных людей Италии. В зависимости от того, какую точку зрения мы выберем, мы можем рассматривать его либо как тирана, втягивающего свою страну в долги и опасные войны, развращающего мораль и ослабляющего дух народа, систематически поработавшего Афины современного мира ради основания мелкого княжества; либо как самого либерально настроенного аристократа своей эпохи, рожденного для того, чтобы играть первую роль во Флорентийской республике, и тщательно использующего свое богатство и влияние для продвижения своих сограждан в культуре, образовании, искусстве, жизненных благах. Савонарола и флорентийские историки придерживаются первого из этих двух мнений. Сисмонди в своей страсти к свободе выдвигает против Лоренцо обвинения в политических убийствах, которые он допустил, в ослаблении Флоренции, в национальном долге, понесенном республикой, в изнурительных войнах с Сикстом, которые велись в его защиту. Напротив, его панегиристы любят изображать его как умиротворителя Италии, восстановителя флорентийской поэзии, глубокого критика и щедрого покровителя. Истина заключается в сочетании этих двух, казалось бы, противоречивых суждений. Лоренцо был представителем своей нации в тот момент, когда политические институты повсюду склонялись к деспотизму и когда духовная жизнь итальянцев нашла свое самое благородное выражение в искусстве и литературе. Флорентийское княжество было навязано ему политикой Козимо, голосованием знатных граждан и примером братских республик, все из которых, за исключением Венеции, подчинились власти правителей. При желании ему, возможно, было бы трудно сохранить содружество в его целостности. Немногие, кроме доктринеров, верили в *governo misto*; только аристократы желали *governo stretto*; все, кроме демократов, боялись *governo largo*. И все же новая конституция должна была быть составлена по одному из этих типов, и флорентийцы должны были быть обучены использовать ее с осторожностью, прежде чем Лоренцо смог бы сложить с себя полномочия диктатора с какой-либо перспективой свободы для города, находящегося в его ведении. Такого бескорыстного патриотизма перед лицом таких непреодолимых трудностей и в противовес всем тенденциям эпохи нельзя было ожидать от олигарха эпохи Возрождения, рожденного в пурпуре и с младенчества привыкшего к интригам.

Лоренцо был человеком удивительно разностороннего ума. Он обладал одной из тех редких натур, которые способны постигать все знания и сочувствовать самым разнообразным формам жизни. Хотя он ни на минуту не ослаблял своей хватки в политике, среди философов он слыл мудрецом, среди литераторов - оригинальным и изящным поэтом, среди ученых - греком, чувствительным ко всем тонкостям аттического идиoma, среди художников - любителем, одаренным утонченной проницательностью и непревзойденным вкусом. Искатели удовольствий знали в нем распутника, который дрался на турнирах с самыми смелыми, танцевал и маскировался с самыми веселыми, искал приключений на ночных улицах и присоединялся к людям в их первомайских играх и карнавальным гуляниям. Благочестивые превозносили его как автора религиозных восхвалений и мистерий, глубокого богослова,

критика проповедей. Он был не менее известен своими шутками и остротами, чем содержательными апофегами и сентенциями, разбирался в скоте так же хорошо, как и в статуях, чувствовал себя как дома в кругу семьи, так и во время разгула оргии, был готов рассуждать о Платоне так же охотно, как планировать кампанию или замышлять смерть опасного гражданина. Апологет всегда может сослаться на то, что Лоренцо был воплощением самых выдающихся качеств своей нации, что многогранность Ренессанса нашла в нем свое самое полное воплощение. В пятнадцатом веке долгом Италии было не установление религиозной или конституционной свободы, а возрождение культуры. До начала разрушительных захватнических войн даже патриотам могло казаться, что Флоренции больше нужен Меценат, чем Камилл. Поэтому о государе, который в своем лице сочетал все достижения, который сочувствием и советом знал, как стимулировать гений людей, превосходящих его в специальных искусствах и науках, который щедро тратил свое состояние на общественно полезные дела, чей дворец служил местом сбора остроумия и учености, чей зал заседаний был школой государственных деятелей, который выражал свою эпоху в каждом слове и каждом поступке, в своих пороках и добродетелях, в своих преступлениях и великодушных поступках, нельзя справедливо судить по абстрактному стандарту республиканской морали. Тем не менее, верно, что Лоренцо ослабил и поработил Флоренцию. После своей смерти он оставил ее социально более распущенной, политически более слабой, интеллектуально более похожей на него самого, чем он ее нашел. У него не хватило величия подняться над духом своего века или сделать себя Периклом, а не Писистратом своей республики. Другими словами, он был адекватен Италии эпохи Возрождения, а не превосходил ее.

Итак, это был человек, вокруг которого собирались величайшие ученые третьего периода, за столом которого сидели Анджело Полициано, Кристофоро Ландино, Марсилио Фичино, Джованни Пико делла Мирандола, Лео Баттиста Альберти, Микеланджело Буонарроти, Луиджи Пульчи. Простого перечисления этих имен достаточно, чтобы пробудить массу воспоминаний в сознании тех, кому дороги итальянское искусство и поэзия. Виллы Лоренцо, где этот блестящий круг встречался для серьезных бесед или светской беседы, приумножая трезвые удовольствия итальянской сельской жизни всем, что остроумие и ученость могли породить в утонченном и редком, так часто воспевались поэтами и прославлялись историками, что Кареджи, Каффаджоло и Поджо-а-Кахано знакомы нам не менее, чем прилежные оттенки Академизма. "На вилле, нависающей над башнями Флоренции, - пишет строгий Хэллам, тронутый более обычного красноречием волнующей душу красотой своей темы, - на крутом склоне этого высокого холма, увенчанного метрополией, древним Фьезоле, в садах, которым мог бы позавидовать Талли, в окружении Фичино, Ландино и Политиано он наслаждался в часы досуга прекрасными видениями платонической философии, для которых все еще летняя свежесть итальянского неба кажется самым подходящим сопровождением". Пока мы взбираемся вверх, поднимаясь по крутому склону Фьезоле или задерживаясь под розовыми деревьями, которые сбрасывают свои лепестки со стен сада Кареджи, мы снова представляем, как "великая эпоха мира начинается заново"; снова распускаются цветы той чудесной весны. В то время как солнце садится за горы Каррары, и Апеннины становятся пурпурно-золотыми, и Флоренция спит рядом с серебристым Арно, а в вышине загораются крупные итальянские звезды, мы вспоминаем, как эти могущественные главные духи наблюдали за появлением новых планет в духовных небесах. Савонарола снова сидит в своей камере внизу, размышляя о раболепии Флоренции, о развращенности безбожной Церкви. Микеланджело, сидящий между Фичино и Полициано, с

голосами пророков, вибрирующими в его памяти, и с музыкой Платона, звучащей в его ушах, опирается подбородком на руку и локтем на колено, как его собственный Иеремия, погруженный в размышления, последствием которых станут Сикстинская капелла и гробницы Медичи. Затем, когда напряжение мысли, "снимающее Платона с его небес", начинает утомлять, Пульчи нарушает тишину совершенно новой песней Морганте, или мальчику-певцу предлагается настроить свою мандолину на последнюю балладу.

Нетрудно объяснить влияние Платона на мыслителей пятнадцатого века. Среди философов Платона сияет, как Утренняя звезда—οὐτὸ ἔσπερος· οὔτε ἔσπερος οὔτω θαυματοστός—в полярных сияний светильники, обаятельным и убедительным внимание всего мира, когда человек стоит на пороге новых открытий. То, что он поработил лучшие умы в то время, когда чувство красоты было так остро развито и когда зарождение новой жизни было так сильно, не более чем естественно. Философствовать и очеловечивать религиозные чувства, ставшие достоянием монахов и торговцев прощением; установить согласие между язычеством, которое очаровало мир, и католической верой, от которой мир еще не устал; удовлетворить новорожденное ощущение божественной и доселе непостижимой тайны на небе и земле; придать видимость истины мечтам о магии и астрологии, которые выдавались за науку, — всего этого страстно жаждали люди Возрождения. Кто мог бы оказать лучшую помощь, чем Платон и неоплатоники, чье очарование стиля и высокопарный мистицизм соответствовали амбициозной незрелости неразвитой мысли? Для интерпретации платоновского учения был необходим иерофант. Марсилио Фичино с ранней юности был выделен для этой цели — избран в мудрости Козимо Медичи, подготовлен специальными методами обучения и посвящен служению единственному философу. [312]

Когда Марсилио было восемнадцать лет, он поступил в дом Медичи и начал изучать греческий, чтобы получить квалификацию для перевода Платона на латынь. Его здоровье было хрупким, чувствительность обостренной; характер его интеллекта, склонного к мистицизму и теологии, подходил ему для выполнения трудной задачи объединения религии с философией. Было бы несправедливо причислять его к языческим гуманистам, которые стремились оправдать свое неверие или отсутствие морали авторитетом классиков. Фичино на протяжении всей своей жизни оставался искренним христианином. В возрасте сорока лет, не без серьезных размышлений и зрелой решимости, он принимал заказы и добросовестно выполнял обязанности своего целителя. О древности он судил по меркам христианского вероучения. Если он утверждал, что Сократ и Платон вместе с евангелистами свидетельствовали об истине откровения, или что тот же дух вдохновлял законы Моисея и греческого философа, — это, по его мнению, было фактически не чем иным, как распространением авторитета от отцов церкви к мудрецам древнего мира. Церковь, причислив сивилл к числу пророков, фактически санкционировала канонизацию Платона; в то время как всесторонний обзор истории как непрерывного целого, который со времен Петрарки выделял более благородный тип гуманизма, сделал философскую религию Фичино приемлемой даже для ортодоксов. Спекулятивные мистики пятнадцатого века, однако, не смогли понять, что, признавая вдохновение в классических авторах, они молчаливо отрицали уникальную ценность откровения; и что, исследуя религиозную традицию повсюду, они поставили под сомнение особую божественность Христа. Савонарола ясно понимал это; поэтому он осудил платоников как еретиков, которые тщетно лепетали о вещах, которых не понимали. Непреходящая ценность их спекуляций, какими бы грубыми и некритичными они сейчас ни казались, состоит в том, что

человеческий разум предъявляет большие претензии к библиопоклонству и церковному авторитету.

Фичино было сорок четыре года, когда он закончил перевод сочинений Платона на латынь. Прошло еще пять лет, прежде чем первое издание было напечатано в 1482 году за счет Филиппо Валори. Здесь можно случайно упомянуть, что благодаря этой помощи флорентийская аристократия внесла существенный вклад в распространение культуры. Настоящий философ в своем отсутствии амбиций и свободе от скупости, Фичино был слишком беден, чтобы публиковать свои собственные произведения; и то, что верно для него, применимо ко многим наиболее выдающимся авторам того времени. Великие литературные начинания того столетия требовали существенной помощи состоятельных людей, чья щедрость вознаграждалась уведомлением в колофоне или на титульном листе. [313] Когда, например, первое издание Гомера было выпущено из печати Лоренцо Алопой в 1488 году, два брата из семьи Нерли, Бернардо и Нери, взяли расходы на себя. [314] Вскоре за Платоном последовали "Жизнь философа" и трактат о "Платоновском учении о бессмертии". Последняя работа интересна как сборник теорий, обсуждавшихся кружком Медичи на их фестивалях в честь дня рождения Платона. Однако она не имеет внутренней ценности для критика или философа, являясь, по сути, не чем иным, как нагромождением цитат, взятых из античных мистиков и объединенных с более грубыми современными догадками. В 1486 году был завершен перевод Плотина, а в 1491 году был добавлен объемистый комментарий; оба были опубликованы через месяц после смерти Лоренцо в 1492 году. Версия Дионисия Ареопагита, чей трактат об "Иерархиях", хотя и отвергнутый Лоренцо Валлой, был принят Фичино как подлинный, завершает длинный список его переводов с греческого. Важность вклада Фичино в философию заключается в импульсе, который он придал изучению Платона. То, что он не понимал Платона и не отличал его философию от философии александрийских мистиков, ясно из каждого предложения его сочинений. Эпоха была некритичной, и ученые не осознали необходимости понимания отношения автора к истории мысли в целом, прежде чем попытаться объяснить его. Таким образом, они были удовлетворены тем, что читали Платона в отраженном свете Плотина и Гемиста Плетона и усваивали только те части его учения, которые соответствовали их собственной теологии. Учение о планетарных влияниях и мифы, придуманные для выражения природы души, — другими словами, сознательно поэтические мысли Платона — казались Фичино более ценными, чем теория идей, в которой глубочайшие проблемы представляются пониманию в логической форме. Средние века досыта наработались диалектикой; Ренессанс со страстью размышлял о смутных мыслях, которые давали простор его воображению. Никакие мечты поэта или мистика не могли превзойти реальность в эпоху Лионардо да Винчи и Христофора Колумба.

Если в последние годы Платона изучали более тщательно, то никогда его не любили так сильно и не боготворили так преданно, как во Флорентийской академии. Кто сейчас строит святилище и зажигает лампаду перед его статуей? Кто увенчивает его бюст лаврами или празднует его день рождения и день смерти торжественными празднествами и помпезными панегириками? Которые встречаются через определенные промежутки времени, чтобы прочесть его слова и проникнуть в их скрытый смысл, подпитывая пламя его алтаря ладаном своих самых драгоценных мыслей? Именно внешними знаками, подобными этим, тогда полными искреннего значения, а теперь ребяческими и лишенными значимости, люди эпохи Возрождения, любящие зрелища, свидетельствовали о своем долгу благодарности Платону. Один из таких праздников в честь дня рождения Фичино живо описал в своем письме Якопо Браччиолини

("Симпозиум пролегоменов и Платона"). После банкета текст "Симпозиума" был вынесен на обсуждение. Джованни Кавальканти интерпретировал речи Федра и Павсания, Ландино - Аристофана; Карло Марсуппини взял на себя роль Агафона, в то время как Томмазо Бенчи объяснял эзотерическое значение Диотимы. Интересно, был ли кто-нибудь на роль Алкивиада; или, может быть, Лоренцо сидел и пил, пока день не залил луга Вальдарно, передавая по кругу кубок с двумя ручками и поднимая тонкие вопросы о комедии и трагедии?

Среди академиков, часто посещавших дворец Лоренцо во Флоренции, в 1484 году появился молодой человек королевского происхождения и завораживающей красоты. "Природа, - писал Полициано, - казалось, осыпала этого человека, или героя, всеми своими дарами. Он был высок и прекрасно сложен; в его лице сияло что-то божественное. Проницательный, одаренный потрясающей памятью, в учебе он был неутомим, в своем стиле проницателен и красноречив. Вы не могли бы сказать, что придавало ему большой блеск - его таланты или его моральные качества. Знакомый со всеми разделами философии и владеющий многими языками, он стоял выше всяких похвал. " Это был Джованни Пико делла Мирандола, чей портрет в галерее Уффици, с длинными каштановыми волосами и проницательными серыми глазами, привлекает внимание даже тех, кто не знает, кого на нем изображают. Ему было немногим больше двадцати, когда он приехал во Флоренцию. Его личная привлекательность, благородные манеры, великолепный стиль жизни и разнообразные достижения сделали его кумиром флорентийского общества; и на какое-то время он отдался, по крайней мере частично, любви и развлечениям своего времени. [315] Но Пико был рожден не для удовольствий. Ни один человек не воплотил в жизнь более полно возвышенный идеал человечности, превосходящий физические наслаждения и облагороженный интеллектуальной энергией, этот триумф мысли эпохи Возрождения. [316] Есть даже причина сожалеть о том, что вместе с юношескими безумствами он отложил в сторону сборник своих латинских стихотворений, который высоко оценил Полициано, и не приложил усилий для сохранения этих итальянских стихов, о потере которых мы сожалеем не меньше, чем о потере Лионардо. В то время как Пико продолжал жить как подобает графу Мирандоле, он лично с каждым годом склонялся ко все более серьезным и заумным занятиям и к все большему аскетизму, пока, наконец, принц не превратился в философа, литератора - в мистика.

Способности Пико проявились в раннем детстве. Его мать, племянница великого Боярдо, заметила его редкие способности к учебе и отправила его в возрасте четырнадцати лет в Болонью. Там он овладел не только гуманитарными науками, но и тем, чему учили в области математики, логики, философии и восточных языков. Впоследствии он продолжил свое образование в Париже, штаб-квартире схоластического богословия. Мощная память Пико, должно быть, сослужила ему хорошую службу: записано, что одно чтение навсегда запечатлело в его сознании язык и содержание изучаемых текстов. Эта способность к удержанию знаний также не сопровождалась какой-либо замедленностью умственных способностей. В какой степени он полагался на свои способности к полемике, а также на свои обширные запасы эрудиции, было доказано публикацией знаменитых "девятисот тезисов" в Риме в 1486 году. Эти вопросы, по-видимому, были сформулированы в защиту платонического мистицизма, который уже начал поглощать его внимание. Философам и теологам, которым было предложено поспорить с ним в споре, был предложен на выбор весь список. Пико был готов отстаивать каждую из своих позиций без дополнительной подготовки. Церковное благоразумие, однако, не позволило поборникам православия выйти на арену. Они сочли более безопасным выдвинуть обвинение в ереси против Пико, чьи тезисы были осуждены в записке Иннокентия VIII,

датированной 5 августа 1486 года. Только 18 июня 1493 года он был окончательно освобожден от запрета неортодоксальности распоряжением Александра VI. В течение этого долгого промежутка времени он испытывал сильное душевное беспокойство, ибо даже его здравый рассудок дрогнул при мысли о смерти под папским запретом. То, что человек, столь чистый в своей жизни и столь искренний в своем благочестии, был заклеен как еретик, а затем помилован двумя такими папами, является одной из любопытных аномалий того времени.

Гармонизировать христианскую и классическую традиции было проблемой, которую грубо пытался решить Манетти. Пико подошел к ней в более философском духе и решил посвятить этой задаче всю свою жизнь. Антагонизм между священной и мирской литературой казался более очевидным ученым эпохи Возрождения, чем нам, поскольку они придавали более серьезное значение учению о последней как правилу жизни. И все же Пико не столько стремился просто примирить враждебные системы мышления или опровергнуть ошибки евреев и язычников. Ему пришла в голову великая идея единства знания; и, овладев *всеобщей мудростью* своего века, он стремился уловить душу истины, которая оживляет все системы. Не только классика и Священные Писания, но и труды схоластов, глоссы арабских философов и более неясные произведения еврейской эрудиции имели для него непреходящую ценность. Оценивая авторов по достоинству и презирая тривиальные вопросы, поднимаемые недалекими умниками среди студентов-стилистов, он освободил себя от худшего недостатка гуманизма и задумал учиться в либеральном духе. Лучшим доказательством такого широкого признания всей литературы, способствующей здравому мышлению, является письмо Эрмолао Барбаро. [317] После вежливого упоминания цicerоновской элегантности стиля своего корреспондента он продолжает: "И что я тем временем должен был потерять в изучении Фомы Аквинского, Джона Скотта, Альберта Великого и Аверроэса лучшие годы своей жизни — те долгие, кропотливые бдения, в ходе которых я, возможно, мог бы извлечь некоторую пользу из вежливой учености! В качестве утешения мне пришла в голову мысль, что если бы некоторые из них могли снова вернуться к жизни, то, может быть, люди, столь сильные в аргументации, не нашли бы веских доводов в защиту своего собственного дела; может быть, один из них, более красноречивый, чем Павел, не смог бы защищать в терминах, максимально свободных от варварства, свой варварский стиль, говоря, возможно, таким образом: "Мы жили славно, друг Ермолай, и для потомков будем жить не в школах грамматиков и не в учебных заведениях молодых умов, но в обществе философов". конклавы мудрецов, где вопросы для обсуждения касаются не матери Андромахи или сыновей Ниобы и подобных незначительных мелочей, а вещей человеческих и божественных; в созерцании, исследовании и анализе которых мы были настолько тонкими, пытливыми и нетерпеливыми, что иногда могли показаться слишком щепетильными и придирчивыми, если, конечно, возможно быть слишком любопытными или привередливыми в поисках истины. Пусть тот, кто обвиняет нас в тупости, докажет на опыте, не имеем ли мы, варвары, бога красноречия в наших сердцах, а не на наших устах; не нуждаемся ли мы, при недостатке способности к приукрашенной речи, в мудрости; а приукрашивать мудрость украшениями может быть большим преступлением, чем демонстрировать ее в некультурной грубости".

В период его изучения платонизма во Флоренции случай свел Пико с евреем, у которого был выставлен на продажу экземпляр "Каббалы". В эти дебри заумных знаний Пико погрузился со всем пылом своего могучего интеллекта. Азиатские фантазии, александрийские мифы, христианские доктрины, еврейские традиции так чудесно смешались в этом запутанном комментарии, что Пико поверил, что нашел ключ к своей великой проблеме, квинтэссенцию

всей истины. Ему казалось, что наука греков и вера христиан могут быть поняты только в свете каббалы. Он приобрел рукопись, посвятил все свое внимание ее изучению и задумал грандиозную работу, призванную доказать гармонию философских систем в христианстве и объяснить христианскую доктрину с помощью эзотерического учения евреев. [318] Взгляд Пико на связь между философией, богословием и религией ясно изложен в следующем предложении из письма Альду Мануцию (11 февраля 1491 г.): "Philosophia veritatem quærit, theologia invenit, religio possidet" ("Философия ищет истину, теология открывает ее, религия обладает ею"). Смерть настигла его прежде, чем была написана книга, призванная продемонстрировать эти позиции и тем самым установить согласие всех серьезных и ищущих истину систем. Он умер в возрасте тридцати одного года, в тот самый день, когда Карл VIII вступил во Флоренцию.

Принимая каббалу, Пико не мог отвергнуть магию. Однако он продемонстрировал свой здравый смысл энергичной атакой на так называемую науку судебной астрологии. Строго говоря, дух гуманизма противостоял этому безумию. Петрарка давно осудил его вместе с шарлатанами, которые использовали его жаргон, чтобы навязывать его миру; и все же, несмотря на гуманизм, безумие не только сохранялось, но, казалось, увеличивалось по мере распространения рационального знания. В университетах были основаны кафедры астрологии, папы римские обращались к звездам в важных случаях, а деспоты не осмеливались действовать без совета своих прорицателей. Эти люди нередко сопровождали величайших полководцев в их походах. Их услуги покупались республиками; граждане нанимали их для составления гороскопов, строительства домов, расположения магазинов, выбора подходящего момента для поездок, приема гостей в свои семьи и даты свадеб. Предпринимать серьезный шаг в жизни без одобрения астролога стало считаться опасным. Даже Фичино верил в гороскопы и планетарные влияния; позже Кардан тоже. Можно вспомнить, что Екатерина Медичи позволяла флорентийцу Руджиери делиться своими тайными советами во время правления трех королей и Павла III. всегда получал санкцию своего звездочета, прежде чем проводить консисторию. По мере того, как религия становилась менее реальной, и возрастали сложные опасности коррумпированного общества, астрология приобретала все большее значение. Следовательно, это не было пустой тратой красноречия, как жаловался Полициано, когда Пико направил свою атаку против этого заблуждения, обвинив его в унижении интеллекта и открытии пути для безнравственности всех видов. [319]

Поскольку острый интеллект Пико распознал поверхностность астрологических претензий, тем более следует сожалеть о том, что он пал жертвой гибридного мистицизма и магической бессмыслицы Каббалы. Здесь мы имеем еще одно доказательство того, что критика все еще находилась в зачаточном состоянии. Гениальным людям эпохи Возрождения было легче завоевать возвышенную позицию для созерцания, предугадать единство человеческих достижений и постичь величие человеческого предназначения, чем принять знания прошлого на основе простой исторической оценки. То, что завораживало их воображение, проходило для них слишком легко, чтобы быть правдой и доказанным. Однако все, что им требовалось, - это время для переваривания и ассимиляции накопленных ими знаний. Если бы Контрреформация не остановила дальнейший рост итальянской науки, дух, живший в Пико, несомненно, породил бы философскую школу, не имеющую себе равных в Европе. Как я уже сказал, этого достаточно для краткого трактата Пико о "Достоинстве человека".

Поскольку Пико был самым молодым, Кристофоро Ландино был старейшим членом медицинского круга. Он родился во Флоренции в 1424 году, за девять лет до Фичино, с которым он разделял обязанности наставника Лоренцо в его детстве. Ландино получил кафедру риторики и поэзии в 1457 году и продолжал до своей смерти в 1504 году преподавать латинскую литературу во Флоренции. В то время как Фичино и Пико представляли изучение философии, он посвятил себя исключительно науке, комментируя Горация и Вергилия и переводя "Естественные истории" Плиния. Примечательной чертой профессорской деятельности Ландино было внимание, которое он уделял итальянским поэтам. В 1460 году он начал читать лекции о Петрарке, а в 1481 году опубликовал издание Данте с объемистыми комментариями. Копию этого труда, напечатанную на пергаменте, в великолепном переплете и скрепленную черными застёжками, которую Ландино подарил с торжественной речью синьории Флоренции, до сих пор можно увидеть в библиотеке Мальябекчи. Автор был награжден домом в Борго-алла-Коллина, старинной резиденции его семьи.

Хотя имя Кристофоро Ландино сейчас наиболее известно в связи с его исследованиями Данте, одна из его латинских работ, "Камальдозские дискуссии", [320] всегда сохранит особый интерес для изучающих флорентийский гуманизм. Этот трактат составлен в подражание Цицероновским, а не Платоновским диалогам; можно сказать, что "тускуланцы" послужили Ландино образцом для подражания. Он начинает с рассказа о том, как покинул свою виллу в Казентино в сопровождении брата, чтобы посетить расположенное на холме святилище Святого Ромуальдо. [321] Там он встретился с Лоренцо и Джулиано де Медичи, которых сопровождали знатные юноши Флоренции — Пьеро и Донато Аччиуоли, Аламанно Ринуччини, Марко Паренти и Антонио Каниджиани — все они покинули Флоренцию, чтобы насладиться остатком летней прохлады среди елей и каштанов Апеннин. Сформированная таким образом вечеринка завершилась прибытием Лео Баттисты Альберти и Марсилио Фичино. Разговор, который изо дня в день поддерживают эти близкие друзья и ярые ученые, составляет суть диалога. Сидя на траве у фонтана, недалеко от того места, где Ромуальдо в состоянии транса было приказано сменить черные одежды ордена бенедиктинцев на белоснежные ливреи ангелов, они, что вполне естественно, начали сравнивать активную жизнь, которую они оставили во Флоренции, с созерцательной жизнью философов и святых. Альберти повел беседу панегириком *βίος θεωρητικός*, подкрепляя платоновский тезис богатством иллюстраций и присущим ему очарованием красноречия. Лоренцо поддержал аргумент в пользу *βίος πρακτικός*. Если Альберти доказал, что уединение и медитация являются кормилицами великих духов, что человек, общаясь с природой, вступает в полное владение своим ментальным царством, то Лоренцо указал, что это завершение самокультуры находит свое применение и ценность только в мировой торговле. Философ должен спуститься со своей высоты и смешаться с людьми, чтобы упражнять способности, развившиеся в результате созерцания. Пока предполагается, что художник и государственный деятель проведут дебаты о знаменитом дистихе Гете —

Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Sich ein Charakter in dem Strom der Welt.

Зрители решили, в духе немецкого поэта, что полностью сформировавшийся человек, обладающий как характером, так и талантом, должен подчиняться каждому методу обучения. Так закончилась дискуссия первого дня. В течение трех следующих дней Альберти вел беседу о поэзии Вергилия, демонстрируя ее аллегорическое значение и связывая ее скрытую

философию с философией Платона. Ясно, что в этой части своей работы Ландино излагал суть своих собственных исследований по Вергилиану. Вся книга, как и "Придворный" Кастильоне, представляет собой прекрасный образец тем, на которые велись светские беседы среди утонченных и культурных людей. Настойка платонизма особенно характерна для круга Медичи.

Выдающееся место, отведенное в этом диалоге Лео Баттисте Альберти, доказывает особое уважение, которым пользовался этот самый замечательный человек во Флоренции, где, однако, он проживал крайне редко. Его имя всегда будет связано с именем Лионардо да Винчи, ибо, хотя Лионардо, пришедший в более счастливый момент, затмил славу Альберти, все же они оба были отлиты по одной и той же форме. Альберти, действительно, мог бы служить как раз тем типом многогранных, не по годам развитых и всесторонне развитых гениальных людей, которые существовали только в эпоху Возрождения. Физическая сила и ловкость были даны ему при рождении в той же мере, что и его умственные способности. Записано, что он мог перепрыгнуть через стоящего прямо человека, пробить своими стрелами самые прочные доспехи и так ловко подбросить монету, что она касалась самой высокой точки крыши церкви или дворца. Говорят, что самые дикие лошади дрожали под ним, как будто животные, подобно людям, чувствовали магнетизм его личности. Его проникновение во все отрасли знаний казалось интуитивным, а его владение искусствами было врожденным. В возрасте двадцати лет он сочинил комедию "Филодоксиус", которая считалась античной и была опубликована Aldi как произведение Лепида Комикуса в 1588 году. Что касается музыки, то, хотя он и не занимался ею специально, он был непревзойденным мастером, сочиняя мелодии, которые приводили в восторг научных ценителей. Он писал картины и написал три книги по живописи; практиковался в архитектуре и составил десять книг по строительству. От его книг, в основном портретов, ничего не сохранилось; но церковь Сан-Андреа в Мантуе, Палаццо Ручеллаи во Флоренции и реконструированная церковь Сан-Франческо в Римини свидетельствуют о его величии как архитектора. Фасад последнего здания более классический, чем у любого другого памятника раннего Возрождения. Как образец римской античности, он стоит в одном ряду с Палаццо делла Раджоне Палладио в Винченце. Будучи еще молодым человеком, Альберти, перегруженный, по всей вероятности, огромной активностью своих умственных и физических сил, страдал от болезни, приведшей к частичной потере памяти. Гуманистические и юридические исследования, которыми он занимался, пришлось оставить; тем не менее, ничуть не обескураженный, он теперь обратил свой пластический гений к философии и математике, справедливо рассудив, что они предъявляют меньше требований к пассивности, чем к активной силе ума. Считается, что он предвосхитил некоторые современные открытия в оптике и, безусловно, продвинул науку о перспективе. Как и его компаньон Лионардо, он уделял внимание механике и изобрел механизмы для подъема затонувших кораблей. Как и Лионардо, он никогда не уставал исследовать природу, проводить любопытные эксперименты и наблюдать за ее более секретными операциями. Как физиономист и прорицатель, он приобрел репутацию, граничащую с волшебством. Это было так, как если бы его утонченная чувствительность и острота внимания одарили его вторым зрением. Глубина его сочувствия к внешнему миру подтверждается утверждением его анонимного биографа, что, когда он увидел осенние кукурузные поля и виноградники, на его глаза навернулись слезы. Все живые существа, обладающие красотой, завоевали его любовь, и даже в стариках он находил очарование, соответствующее старости. Иностранцы, путешественники и рабочие, сведущие в различных ремеслах, составляли его любимую компанию, ибо в приобретении разнообразных знаний он был неутомим. В обществе в целом его мудрость и остроумие, красноречие его речи и блеск его

импровизации делали его чрезвычайно привлекательным. Были составлены подборки сентенций, почерпнутых из его застольных бесед, из которых анонимная биография содержит достаточную подборку. В то же время нам рассказывают, что в разгар блестящих острот или ожесточенных споров он внезапно впадал в задумчивость и сидел за столом, погруженный в молчаливое созерцание. Альберти был одним из первых авторов чистой итальянской прозы в период ее возрождения; но эта часть его интеллектуальной деятельности относится к истории итальянской литературы, и ее нет необходимости здесь затрагивать. Достаточно бегло взглянуть на одну из самых привлекательных, вызывающих симпатию фигур пятнадцатого века.

Чтобы завершить картину флорентийского круга, мы должны в последнюю очередь обратить внимание на двух мужчин, поднятых Медичи из рядов народа. - Я приехал в республику без всего, простой нищий, самого низкого происхождения, без денег, положения, связей или родни. Козимо, отец своей страны, вырастил меня, приняв в свою семью". Так написал Бартоломмео Скала, [322] сын мельника, который дожил до того, чтобы стать канцлером Флоренции. Великолепие этого поста значительно поубавилось с тех времен, когда его занимали Бруни, Марсуппини и Поджо; да и Скала, будучи студентом, не мог сравниться с этими людьми. Его латинская история первого крестового похода была скорее объемным, чем великим произведением, на которое не обратили бы внимания, если бы Тассо не использовал его при составлении своего эпоса. Однако почести и богатства обрушились на канцлера в таком изобилии, что он стал высокомерным и насмеялся над великим Полициано, обвиняя его в неполноценности. Вражда между этими людьми не ограничивалась литературой. Дочь Скалы, гораздо лучший ученый, чем он сам, привлекла внимание Полициано, и они обменялись греческими эпиграммами. Диктатор итальянской словесности теперь добивался руки прекрасной Алессандры, которая была богата не только ученостью, но и светским снаряжением. Когда она отдалась Майклу Маруллусу Тарканьоте, греку, его гневу не было предела; вместо любовных утех он теперь сочинял сатирические эпиграммы, ругая Маруллуса по-латыни ничуть не меньше, чем Алессандру по-гречески. [323]

Анджело Полициано родился в 1454 году. Его имя, столь известное в итальянской литературе, является латинизированной версией места его рождения, Монтепульчано. Его отец, Бенедетто Амброджини, был человеком довольно влиятельным, но состоятельным, который пал жертвой вражды личных врагов среди своих сограждан, оставив свою вдову и пятерых маленьких детей почти без средств к существованию. [324] Этим объясняется неясность, которая долгое время окутывала историю детства Полициано, а также сомнения, высказываемые по поводу фамилии его семьи. В возрасте десяти лет он поступил учиться во Флорентийский университет, где извлек пользу из учения Ландино, Аргиропулоса, Андроникоса Каллистоса и Фичино. Не по годам развитый его гений проявился в латинских стихотворениях и греческих эпиграммах, написанных, когда он был еще мальчиком. В тринадцать лет он опубликовал латинские письма; в семнадцать он распространял греческие стихи среди ученых мужей Флоренции; в восемнадцать он редактировал "Катулла", хвастаясь тем, что проявил больше усердия, чем любой другой ученик, в исправлении и иллюстрировании древних. Еще в 1470 году он не только задумал перевести Гомера на латинские стихи, но и уже приступил ко второй "Илиаде". Первая книга была известна ученым в латинской версии Марсуппини. Полициано довел свой собственный перевод до конца пятой книги, получив за собой гордый титул *Homericus juvenis*; дальше этого, по необъяснимым причинам, он так и не продвинулся, так что последнее желание Николая V, главное желание ученых пятнадцатого века - латинская Илиада гекзаметрами — так и осталось невыполненным.

Слава об этом великом начинании привлекла к Полициано всеобщее внимание. Вполне вероятно, что Фичино впервые познакомил его с Лоренцо де Медичи, который принял молодого студента в свой дом и взял на себя ответственность за его будущее состояние. "Щедрость Лоренцо Медичи, этого великого и мудрого человека, - писал Полициано в "Спустя годы", - подняла меня из темного и скромного положения, к которому меня привело мое рождение, до той степени достоинства и отличия, которой я пользуюсь сейчас, не имея никаких других рекомендаций, кроме моих литературных способностей". Еще не достигнув тридцатилетнего возраста, Полициано преподавал греческую и латинскую литературу во Флорентийском университете и взял на себя заботу о детях Лоренцо. Если Лоренцо олицетворяет государственное искусство своего времени, то Полициано не менее выразительно представляет его высшие достижения в науке. Он был первым итальянцем, сочетавшим в совершенстве владение латынью и правильное понимание греческого языка с великолепным талантом к родной литературе. Филельфо хвастался, что может писать на обоих классических языках с одинаковой легкостью, и упражнял свою прозаическую музу *в terza rima*. Но у Филельфо не было ни поэтического жара, ни чувства стиля. Полициано, напротив, был прирожденным поэтом, *святым* в самом прямом смысле этого слова. О его итальянских стихах мне придется поговорить в другом месте: те, кто их изучал, знают, что "Орфей", "Станца" и "Иней" оправдывают притязания Полициано на почетное среднее место между Петраркой и Ариосто. Итальянская поэзия обрела новое направление благодаря его гению, и все, что он написал, принесло плоды следующему поколению. О его латинской поэзии я также предлагаю подробнее поговорить в [следующей главе](#).

В Полициано снова ожил дух римской литературы. Если его нельзя сравнить с авторами эпохи Августа, то он выдержит испытание, по крайней мере, поэтами серебряного века. Ни Статий, ни Авзоний не создали большего количества музыкальных гекзаметров и не выразили свое чувство естественной красоты фразами, отмеченными большей спонтанной грацией. Из его греческих элегий сохранилось всего несколько экземпляров. Они, несмотря на некоторые вольности, не оправданные чисто греческой просодией, могли бы претендовать на место в "Антологии" среди эпиграмм Агафия и Павла Силенциария. [325] Дорические двустипхи о двух прекрасных мальчиках и любовный сонет юноше Хризоктому читаются как отрывки из Μοῦσα παιδική. [326] Что примечательно в греческой и латинской поэзии Полициано, так это то, что в них проявляется итальянский стиль автора. Это не просто подражания классике. "Розовая беглость" "Инея" вновь появляется в этих *прологах*, демонстрируя, что три языка использовались с равной легкостью и что на каждом из них поэт запечатлел свой собственный гений.

То, что было сказано о его стихах, с не меньшей силой применимо и к его прозаическому творчеству. Полициано писал по-латыни, как будто это был живой язык, не отбирая фразы из Цицерона и не воспроизводя периоды Ливия, а доверяя своему инстинкту и слуху, с легкостью осознанной силы. Гуманизм первого и второго периодов достиг у Полициано свободы изобразительного искусства. Через него, как через линзу, лучи предшествующей культуры передавались столбом чистого света. Он понял, к чему стремились итальянцы — к новому рождению античности в живом человеке современного мира. Видоизменяя этот высокий панегирик, можно признать, что у Полициано были недостатки его качеств. Используя латынь со свободой мастера, он не позаботился о том, чтобы очистить свой стиль от устаревших слов и надуманных фраз или сохранить дикцию одного периода в каждом сочинении. Беглость речи выдавала его в словоохотливости, и его описания часто скорее расплывчаты, чем энергичны. По точности он также не выдерживает сравнения с некоторыми более современными учеными.

Заслуга, однако, остается за ним в том, что он был самым обширным и наименее раболепным толкователем древних текстов для современного мира. Само его несовершенство, если судить по меркам Бембо, ставит его выше пуристов, поскольку он обладал силой и мужеством выражать себя на своем собственном языке, вместо того чтобы осторожно ступать только по следам цицерона или виргилиана.

Как профессор, ни один из гуманистов не добился более блестящих успехов, чем Полициано. Среди его учеников можно назвать лучших студентов Европы. Не говоря уже об итальянцах, достаточно упомянуть имена Рейхлина, Гроцина, Линакре и португальцев Тессира, которые принесли каждый в свою страну культуру, приобретенную ими во Флоренции. Первое появление Полициано в лекционном зале не было рассчитано на то, чтобы вызвать восхищение. Плохо сложенный, с немного прищуренными глазами и непропорционально большим носом, он казался более подходящим для роли ученого-одиночки, чем Орфея из классической литературы. [327] Однако, как только он открыл рот и начал говорить с изысканными и разнообразными интонациями необычайно красивого голоса, его слушатели были прикованы к своим местам. Неуклюжесть учителя была забыта; очарованные своими ушами и интеллектом, они жадно впитывали его красноречие, аплодируя импровизациям, которыми он иллюстрировал дух и намерения своих авторов, и молча впитывая обширные и упорядоченные запасы знаний, которые он так расточительно разбрасывал. Было бы бесполезно сколько-нибудь подробно излагать здесь то, что известно о темах этих лекций. За годы своего профессорства Полициано не только изучил всю классическую литературу, но и опубликовал конспекты курсов по Овидию, Светонию, Статию, Плинию младшему, авторам исторических трудов Августа и Квинтилиану. Некоторые из его лучших латинских стихотворений были написаны в качестве предисловия к авторам, которых он публично объяснял. Вергилий прославлялся в "Манто", а Гомер - в "Амбре"; "Рустикус" служил прелюдией к "Георгике", в то время как "Нутриция" служила введением к изучению древней и современной поэзии. Он также не ограничивал свое внимание изящной литературой. Любопытный отрывок в прозе под названием "Ламия" был задуман как прелюдия к предшествующей "Аналитике" Аристотеля. Среди его переводов следует упомянуть Эпиктета, Геродиана, Гиппократ, Галена, "Эротика" Плутарха и "Хармиды" Платона. Однако его величайшим достижением стало издание "Пандектов" Юстиниана по знаменитой рукописи, которую Флоренция отняла у Пизы, как пизанцы ранее отняли ее у Амальфи. Не следует забывать, что все эти начинания требовали серьезного труда по исправлению и критике. Рукопись приходилось сравнивать и согласовывать тексты, когда аппарат для этой высшей формы обучения был еще крайне скуден. Хотя ученики до Полициано понимали необходимость сопоставления кодексов, определения их относительного возраста и, по возможности, их сопоставления с авторитетными источниками, он был первым, кто делал это систематически и рассудительно. К исправлению он прибегал только тогда, когда текст казался безнадежным. Одна только его работа над "Пандектами" предполагает затраты огромного труда.

Результаты более беглых исследований Полициано и некоторые записи бесед на литературные темы с Лоренцо были опубликованы в 1489 году под названием "Сборник". [328] Форма была заимствована из "Ночных кошмаров" Авла Геллия; по сути, этот сборник предвосхитил гениальную критику Эразма. Волнение, вызванное его появлением, ярко описано в следующем письме Якопуса Антиквари, секретаря герцога Миланского: [329]—"Зайдя недавно, по своему обыкновению, в одно из государственных учреждений, я обнаружил нескольких молодых клерков, пренебрегающих делами своего принца и погруженных в изучение книги, которая

была роздана им листами. Когда я спросил, что за новая книга вышла, они ответили: "Сборники Полициана". Я взобрался на их стол, сел среди них и начал читать с таким же рвением. Но поскольку я не мог проводить там много времени, я сразу же послал в киоск книготорговца за экземпляром этого произведения. " К этому времени слава Полициано затмила славу всех его современников. Он вел фамильярную переписку с местными и иностранными князьями и имел во Флоренции своего рода двор среди образованных людей, которые приезжали со всех концов Италии, чтобы побеседовать с ним. Эта популярность становилась еще более обременительной, или, по крайней мере, он делал вид, что находит ее таковой. "Хочет ли мужчина девиз для рукояти своего меча или букет для кольца", - пишет он, [330] "надпись для своей спальни или приспособление для своей тарелки, или даже для своих кастрюль и сковородок, он как никто другой стремится к Политике. Едва ли найдется стена, которую я не испачкал, подобно улитке, излияниями своего мозга. Один дразнит меня за уловы и застольные песни, другой - за серьезную беседу, третий - за серенаду, четвертый - за карнавальную балладу. "Говорят, что при выполнении этих поручений он проявил большую вежливость; и, вероятно, они не стоили ему особых хлопот, потому что во всей своей работе он был не менее быстр, чем эlegantен. Он хвастался, что продиктовал перевод Геродиана, расхаживая взад и вперед по своей комнате, в течение дня или двух; и главный недостаток его стихов - их беглость.

Остается еще поговорить о личных отношениях Полициано с семьей Медичи. Впервые войдя в дом Лоренцо, он взял на себя обучение сыновей своего покровителя и продолжал руководить их образованием до тех пор, пока их мать Клариса не увидела причин не доверять его личному влиянию. Без сомнения, в характере великого ученого было много такого, что оправдывало ее мнение о том, что он не годится на роль постоянного спутника молодых людей. Какой бы ни была правда о причине его последней болезни, сохранилось достаточно его греческих и итальянских стихов, чтобы доказать, что его нравственность была распушенной, а его представление о жизни скорее языческим, чем христианским. [331] Клариса решила, что ему не следует оставаться под одной крышей с ее детьми; и хотя его дружеские отношения с семьей Медичи продолжались непрерывно, похоже, что после 1480 года он давал уроки классической литературы только своим бывшим ученикам.

Полициано, как бы он ни гордился своими достижениями, не хватало более благородного качества - самоуважения. Он снизошел до того, что льстил Лоренцо и выпрашивал подарки фразами, которые напоминают нам самые прозаичные эпиграммы Филельфо. [332] Что ученый должен хвастаться своими собственными достижениями [333] и превозносить своего покровителя до небес, что он должен просить денег и произносить панегирики против оплаты не казалась унижительной для гениального человека пятнадцатого века. И все же эти привычки литературного попрошайничества и поедания жаб оказали самое пагубное влияние. Итальянская литература никогда не теряла превосходных степеней и преувеличений, привнесенных гуманистами, и Пьетро Аретино можно назвать прямым потомком Филельфо и Полициано.

Следует признать, что переоценить Лоренцо с точки зрения ученого было бы трудно, в то время как привязанность, которая связывала студента со своим покровителем, была искренней. Полициано, наблюдавший за последними минутами жизни Лоренцо, описал сцену его смерти в

письме, отмеченном трогательной скорбью, которое он адресовал Антиквари, и доказал латинской монодией, которую он сочинил и оставил незаконченной, что скорбь по умершему мастеру могла вдохновить его музу на более возвышенные чувства, чем любое ожидание будущих благосклонностей, пока он был жив.

Через два года после смерти Лоренцо Полициано умер сам, обесчещенный и заподозренный семьей Пьянони. Савонарола смел карнавальные колесницы, маски и безделушки праздничного правления Лоренцо в кучу мусора. Вместо *риспетти* и *баллат* город наполнился припевом "Мизеререс", а пророчество доминиканца о крови и разорении заглушило своими громовыми раскатами ученые рассуждения греческих профессоров. Таким образом, оплакивание Полициано Лоренцо было, так сказать, пророчеством о его собственной судьбе:

Quis dabit capiti meo
Aquam? quis oculis meis
Fontem lachrymarum dabit?
Ut nocte fleam,
Ut luce fleam.
Sic turtur viduus solet,
Sic cygnus moriens solet,
Sic lusciniā conqueri.

"О, если бы моя голова была водой, а глаза - источником слез, чтобы я мог плакать день и ночь! Так скорбит овдовевшая горлица; так скорбит умирающий лебедь; так скорбит соловей". В эти страстные слова плача, уникальные в литературе гуманизма по своей форме и чувству, врывается песня покинутого ученого. "Ах, горе! Ах, горе мне! О горе! О горе! Молния поразила наше лавровое дерево, наш лавр, дорогой для всех Муз и танцев нимф, под раскидистыми ветвями которого сам Бог Песни играл на арфе и пел более сладостно. Теперь все вокруг немое; теперь все безмолвствует, и некому слышать. О, если бы моя голова была водой, а глаза - фонтаном слез!"

По крайней мере, эту милость боги даровали Полициано, чтобы он умер в тот же год, что и его друг Пико делла Мирандола, за несколько недель до того, как потоп, предсказанный Савонаролой, разразился над Италией. На его могиле в Сан—Марко была начертана пародийная эпитафия -

Politianus
in hoc tumultu jacet
Angelus unum
qui caput et linguas
res nova tres habuit.
Obiit an. MCCCCLXXXIV
Сентябрь. XXIV. Это
XL. [334]

Бембо, сменивший его при диктатуре итальянской литературы, сочинил вполне достойную элегию о человеке, которого он справедливо окрестил "Полициано, мастером авзонийской лиры".

Успехи римской науки постоянно менялись в зависимости от личных вкусов каждого последующего папы. Каликст III полностью отличался от своего предшественника Николая V. Сведущий в теологии и средневековых науках, он был мертв для интересов гуманистической литературы. Веспасиано уверяет нас, что, когда он вошел в библиотеку Ватикана и увидел ее греческих и латинских авторов в красных и серебряных переплетах, вместо того, чтобы восхвалять щедрость Николая, он воскликнул: "Веди в че эгли ха консумато робба делла Къеза ди Дио!" [335] Эней Сильвий Пикколомини занимал высокое место среди гуманисты. Как оратор, придворный, государственный секретарь и литератор, он разделял общие качества класса, к которому принадлежал. Будучи сокурсником Беккаделли в Сиене, он свободно наслаждался радостями юности и не считал вредным сочинять романы в стиле Лонга и Ахилла Татия. Эти рассказы, вместе с его знакомыми письмами, историями, космографическими трактатами, риторическими рассуждениями, апофтегмами и комментариями, написанными бегло и живописно на латыни, отличали его остроумием и талантом от просто усердных студентов его возраста. [336] Перемена, однако, произошла с ним, когда он принял титул Пия II. с тиарой. [337] Обучение в Италии мало чем было связано с его покровительством, и хотя он укрепил позиции гуманистов в Риме, основав Колледж аббревиатуров, он больше стремился защитить христианский мир от турок, чем показать свою культурную столицу. Обвинять в этом Пия было бы узколобостью. Опыт европейской политики расширил его взгляды за пределы более узкого круга итальянских интересов; и есть что-то благородное, но и жалкое в его попытке осуществить призрачную надежду на космополитическое дело. Павел II. был в основном известен своими преследованиями римских платоников; [338] и Сикст IV, хотя он заслуживает того, чтобы его помнили как понтифика, открывшего библиотеку Ватикана для публики, не играет заметной роли в истории науки. С Тирабоски можно посоветоваться по поводу его отказа платить профессорам римской сапиенцы. Об Иннокентии VIII. ничего не нужно говорить; и ни один изучающий историю не ожидает найти записи об Александре VI. потраченные впустую деньги на покровительство учебе. Борджиа, действительно, мир обязан этому проклятию католицизма, этому продолжающемуся преступлению государственной измены против истины и либеральной культуры, подчинению прессы церковному контролю.

При этих папах гуманизм должен был процветать, насколько это было возможно, в обществе частных лиц. Соответственно, мы обнаруживаем, что римские ученые образовывали между собой академии и ученые кружки. Самый выдающийся из них получил свое название в честь своего основателя, Юлия Помпония Лета. Он был незаконнорожденным отпрыском княжеского дома Сансеверини, которому, когда тот прославился и они стремились к его дружбе, он написал знаменитое послание: "*Помпоний Летус когнатис и его близкие приветствуют. Quod petitis fieri non potest. Valete.*" [339] Помпоний получил стипендию от Валлы, и направляет всю свою энергию на латыни, отщей, он даже сказал, чтобы выучить греческий язык, чтобы она не отвлекала его от любимых занятий. Он сделал объектом своих самых серьезных усилий не только восстановление знаний о древних, но и приведение своей жизни и манер в соответствие с их стандартами. Люди восхваляли в нем второго Катона за трезвость поведения, скудное питание и сельскую трудолюбивость. Он возделывал свою собственную землю по методам Варрона и Колумеллы, по праздникам ходил на рыбалку и охоту на дичь и ел свою скудную трапезу, как римский стоик, под раскидистыми ветвями дуба в Кампанье. Величественные

особняки прелатов его не привлекали. Он предпочитал свой собственный скромный дом на Эсквилине, свой сад на Квиринале. Именно здесь его любимые ученые беседовали с ним на досуге; и в эти убежища философа приходили важные незнакомцы, жаждавшие увидеть римлянина, живущего во всех отношениях подобно античному мудрецу. Римская высшая школа многим обязана его неутомимому трудолюбию. На протяжении долгих лет он читал лекции о ведущих латинских авторах, критически изучая их тексты и готовя новые издания их работ. Перед рассветом он зажигал фонарь, брал посох и отправлялся из Эсквилина в лекционный зал, где, каким бы ранним ни был час и каким бы ненастным ни было время года, он был уверен, что найдет переполненную аудиторию. Однако Помпоний Лет приобрел свою великую известность не как профессор и не оставил неизгладимого впечатления в римском обществе. Этого он добился, создав академию с общепризнанной целью изучения латинских древностей и содействия внедрению античных обычаев в современную жизнь. Участники группы взяли классические имена, сменив свои итальянские отчества на причудливые титулы вроде Callimachus Experiens, Asclepiades, Glaucus, Volscus и Petrejus. Они ежегодно отмечали день рождения Рима, празднуя Палилию с языческой торжественностью, разыгрывая комедии Плавта и стремясь возродить юмор старых ателланских фарсов. Из этого круга Понтан и Санназаро, Платина, Сабелликус и Мольца, Янус Паррасий и будущий Павел III. мы с гордостью называли себя участниками группы. Только из языка, на котором такие люди ссылаются на Лета, мы получаем должное представление о его влиянии; ибо он оставил после себя немного как автор и имел обыкновение хвастаться, что, подобно Сократу и Христу, он надеялся, что его запомнят через его учеников. В 1468 году эта римская академия приобрела новую известность благодаря преследованиям Павла II, который отчасти подозревал в ее собраниях политическую цель, а отчасти возмущался открытым язычеством ее руководителей. Мне нет нужды здесь повторять историю его крестового похода против ученых. Достаточно упомянуть, что Летус был заключен в тюрьму на короткое время и что в тюрьме он написал извинения за свою жизнь, защищаясь от обвинения в неуместной страсти к юной венецианской ученице и заявляя об искренности своей веры в христианство. После освобождения из замка Сан-Анджело он был вынужден прекратить заседания своей академии, которые не возобновлялись до правления Сикста. Анджело был вынужден прекратить заседания своей академии. Помпоний Лет дожил до папства Александра и умер в 1498 году в возрасте семидесяти лет. Его тело было увенчано лавровым венком в церкви Арасели. Сорок епископов вместе с иностранными послами в Риме и представителями рода Борджиа, которые были специально посланы для этой цели, были свидетелями церемонии и слушали надгробную речь. Лет пожелал, чтобы его тело поместили в саркофаг на Аппиевой дороге. Это желание не было выполнено. Его перевезли из Арасели в Сан-Сальваторе в Лауро и там похоронили как христианина.

В то время как академия Помпония Лета процветала в Риме, академия Неаполя была не менее активна под председательством Иовиана Понтана. По-видимому, он возник на общественных собраниях, организованных Беккаделли, и проводил свои собрания в здании, названном в честь своего основателя *Портикус Антонианус*. Когда смерть разрушила блестящий круг, окружавший Альфонсо Великодушного, Понтанус взял на себя руководство учеными людьми Неаполя и придал статус клуба тому, что раньше было простым собранием образованных ученых. Участники группы перевели свои имена на латиницу; многие из них стали более известны под вымышленными титулами, чем под своими итальянскими фамилиями. Санназаро, например, приобрел широкую известность как Акций Синцерус. Понтанус сам был уроженцем Черето в Сполетано. Родившись в 1426 году, он в юном возрасте поселился в Неаполе, где

Беккаделли представил его своим королевским покровителям. Во времена правления Фердинанда I, Альфонсо II и Фердинанда II. Понтан занимал пост секретаря, наставника и посла, сопровождая своих хозяев в их военных экспедициях и ведя переговоры по их делам при папском дворе. Когда Карл VIII вступил в Неаполь как завоеватель, Понтан приветствовал его панегирической речью, доказав, что он скорее учтив и своекорыстен, чем верен князьям, которым он так долго служил. Гвиччардини отмечает, что этот акт неблагодарности запятнал добрую славу Понтана. И все же в его защиту можно сказать, что ни один моралист того времени так смело не обличал преступления и пороки итальянских государей; и вполне возможно, что Понтан действительно надеялся, что Карл откроет для Неаполя лучшую эпоху.

Он отличался среди ученых своего времени чистотой латинского стиля; ему принадлежит заслуга написания стихов, которые могли бы соперничать с хорошими образцами античности. Его гексаметры о звездах и метеорах под названием "Урания" снискали восторженную похвалу его собственного поколения и впоследствии послужили Фракасторо образцом для написания его собственной дидактической поэмы. Его любовные элегии отличаются буйством красок и чувственной силой фразы, которые кажутся особенно подходящими для Неаполитанского залива, где они были вдохновлены. Как прозаик, Понтан заслуживает того, чтобы его помнили, в частности, благодаря его моральным трактатам. В отличие от массы современных диалогов на этические темы, они изобилуют иллюстрациями, взятыми из недавней истории, так что даже сейчас студентам, стремящимся собрать характерные детали и составить справедливое мнение о морали эпохи Возрождения, может быть полезно ознакомиться с ними. На протяжении всех своих работ Понтанус показывает себя оригинальным и энергичным мыслителем, в совершенстве владеющим латинской наукой, не желающим довольствоваться голым подражанием и стремящимся выразить факты современной жизни, актуальные личные эмоции в стиле точной латыни. Когда он умер в 1503 году, он оставил в Неаполе одну из самых процветающих школ неоязыческих поэтов, которые только можно найти в Италии; Лилиус Гиральдус использует старую метафору троянского коня, чтобы описать количество и энергию ученых, вышедших из него.

В церкви Монте-Оливето в Неаполе можно увидеть группу из терракоты, раскрашенную в подражание жизни. Альфонсо II, Понтан и Санназаро преклоняют колени в благоговении перед телом умершего Христа. Понтан, представляющий Никодима, - суровый мужчина с резкими чертами лица, с мощным костяком и волокнистыми сухожилиями, созданный для серьезной работы в учебе или в полевых условиях. Санназаро, который расшифровывается как Иосиф Аримафейский, лыс, толстощик, с кустистыми бровями и тяжелым выражением лица. Физические характеристики этих людей и их акт веры находятся в любопытном противоречии с представлением, которое мы составили о них после прочтения "Элегий" и "Аркадии".

Римская академия Помпония Лейта и Неаполитанская академия Понтана продолжали существовать после смерти их основателей, в то время как аналогичные учреждения возникли в каждом городе Италии. Говорить о них подробно было бы совершенно невозможно. С началом шестнадцатого века они утратили свой классический характер и приобрели фантастические итальянские названия. Таким образом, римский кружок остроумцев и ученых называл себя *I Vignaiuoli*. Участники, среди которых были Берни, Ла Каса, Фиренцуола, Мауро, Мольца, взяли себе такие титулы, как *Агресте*, *Мосто*, *Котоньо* и так далее. Кардинал Ипполито Медичи основал в Риме клуб по изучению Витрувия. Он собирался дважды в неделю и был известен как *Le Virtù*. В Болонье *Вурдарио* посвятил свою энергию исправлению печатных текстов;

Ситибонди изучал юриспруденцию, *Дести* культивировал вымершее рыцарство. Помимо них, единственный город Болонья произвел *Соннаккиози*, *Озиози*, *Десиози*, *Стордити*, *Конфузи*, *Политикани*, *Нестабильи*, *Гелати*, *Уморози*. По мере того как шел век, академий в Италии становилось все больше, а их названия становились все более абсурдными. В Равенне была своя *Информация*, в Фазэнце — *Смаррити*, в Мачерате - *Катенати*, в Фабриано - *Разобщенность*, в Перудже - *Бесчувственность*, в Урбино - *Ассордити*, в Неаполе - *Серени*, *Арденти* и *Инкогнити* - и так далее до бесконечности. Во Флоренции Платоновская академия продолжала процветать под покровительством семьи Ручеллаи, в садах которой собралась компания, описанная Филиппо де Нерли, [340] до 1522 года, когда она была подавлена по случаю заговора против Джулио Медичи. Герцог Козимо возродил его под названием Флорентийской академии в 1540 году, когда его труды были полностью посвящены Петrarке и итальянскому языку. В 1572 году появилась знаменитая академия под названием *Делла Круска*, единственное из этих более поздних обществ, которое приобрело европейскую репутацию.

Те, кому интересно следить за историей академий, могут быть отсыланы к исчерпывающим уведомлениям Тирабоски. Со дня их итальянизации они перестают принадлежать истории гуманизма; что оправдывает упоминание о них здесь, так это тот факт, что они были обязаны своим появлением ученым третьего периода. Худшие недостатки итальянской эрудиции — педантизм и стилистическое жеманство — были увековечены кружками, боготворившими Петрарку и занимавшимися самой праздной из всех литературных проблем, когда такой великий писатель, как Аннибале Каро, считал хорошим вкусом написать диссертацию о носе президента, а трудолюбие разумных людей было поглощено сочинением сонетов с помощью бесчисленных детских каламбуров к их собственным названиям. В последующую эпоху политического застоя и церковного гнета академии были игрушками нации, быстро вырождавшейся в интеллектуальную тупость. Не без изумления читаем мы хвалебные речи, произносимые Мильтоном по поводу "ученых и приветливых собраний частых академиков и приобретения мудрых и искусных речитативов, приправленных красноречивыми и изящными призывами к любви и практике справедливости, умеренности и стойкости духа". То, что он с восхищением наблюдал в Италии, он хотел бы видеть подражанием в Англии, очевидно, не смущенной бессилием и бесплодием академических диссертаций. [341]

Остается поговорить о создании книгопечатания в Италии - событии, не менее важном для сохранения и распространения классического образования, чем предыдущее открытие рукописей. был незаменим для его возрождения. В этой связи уместно упомянуть то, что должно быть сказано об эрудированном обществе Венеции; в то время как последние награды третьего периода по праву принадлежат одному из самых благородно мыслящих ученых Италии, Альду Мануцию.

В 1462 году Адольф Нассауский разграбил Майнц и разогнал его типографии по Европе. Три года спустя два немца по фамилии Свейнхайм и Паннарц, работавшие под руководством Фуста, открыли типографию в Суббиако, маленькой деревушке в Сабинских горах. Здесь, в октябре 1465 года, свет увидело первое издание "Лактанция". Вскоре после этого немецкие печатники покинули Суббиако и поселились под защитой Массими в Риме, где они продолжали выпускать латинских авторов из своего издательства. [342] В 1646 году Джон из Спайрса обосновался в Венеции. Вскоре к нему присоединились его брат Винделино (так итальянцы пишут это имя) и француз Николас Дженсон. Во Флоренции не было прессы до 1471 года, когда Бернардо Ченнини напечатал комментарий Сервия к "Буколикам" Вергилия. "Георгики" и "Энеида"

появились в следующем году. Однако Ченнини принадлежит честь быть первым итальянцем, создавшим свой собственный типаж. Как и многие другие выдающиеся мастера, он был по профессии ювелиром; в своем обращении к читателю он называет себя *aurifex omnium judicio præstantissimus*, добавляя, ссылаясь на типографику, *expressis ante calide characteribus ac deinde fusis literis volumen hoc primum impresserunt*. Следует также процитировать последнее предложение обращения: *Флорентийская изобретательность не имеет значения*. Другие печатники открыли мастерские во Флоренции в течение нескольких лет — Иоанн из Майнца в 1472 году, Николай из Бреслау в 1477 году, Антонио Мискомини в 1481 году и Лоренцо Алопа из Венеции, который подарил миру Гомера с греческим шрифтом в 1488 году. Тем не менее, Флоренцию предвосхитили многие другие города, ибо, как только новое искусство пустило корни в Италии, оно распространилось подобно дикому пожару. Исключая из подсчета более мелкие места, было подсчитано, что до 1500 года в Италии было напечатано 4987 книг, из которых 298 принадлежат Болонье, 300 - Флоренции, 629 - Милану, 929 - Риму и 2835 - Венеции. Диспропорция между активностью Флоренции и Венеции в книжной торговле заслуживает внимания, хотя я вряд ли знаю, как это объяснить. Пятьдесят городков и несколько незначительных городов — Пинероло, Савона, Пьеве-ди-Сакко, Чивидале, Сончино, Кивассо, Скандиано, например, — могли похвастаться местной прессой. Работающие на скорую руку печатники наладили свое оборудование на полгода или около того в отдаленной деревне, напечатали там то, что попало под руку, и двинулись дальше.

В то время как ученые радовались искусству, которое, по словам одного из них, "избавило от труда их больные суставы", переписчики жаловались, что у них отнимут их занятие. Свисток локомотива в начале нынешнего столетия причинял кучерам дилижансов не больше огорчения, чем скрип деревянного печатного станка тем бедным переписчикам. И все же, как бы быстро ни распространялось трудосберегающее изобретение, обычно у вытесненной отрасли промышленности есть время умереть легкой смертью, а у ремесленников - найти работу в новом ремесле. Веспасиано, который на двадцать шесть лет пережил первую книгу, напечатанную во Флоренции, мог позволить себе даже презирать прессу. [343] Знатные люди, от покровительства которых он зависел, не вдруг передали свои обычаи от переписчика наборщику; и нельзя было ожидать, что такое по сути демократическое искусство, как книгопечатание, сразу же найдет расположение аристократии. Принц с библиотекой рукописей. стоимостью 40 000 дукатов ненавидел машину, которая помещала равное количество более читаемых томов в пределах досягаемости средней квалификации. Более того, определенное подозрение в подрывной деятельности и вседозволенности витало в прессе. Это было в некоторой степени оправдано фактами, поскольку прессе было суждено стать самым грозным двигателем современного разума. Церковники снова усомнились в том, благочестиво ли беспорядочное распространение книг, и Александр VI протянул руку, чтобы обуздать дьявола печатника. Однако сдерживание распространения книгопечатания привело бы к чрезмерному напряжению сил любой человеческой тирании. Все, что могла сделать Церковь, - это поставить свою продукцию под контроль епископа.

Хотя переписчики рукописей были выброшены с работы печатным станком, это дало важный стимул другим отраслям промышленности Италии. Бумажные фабрики Фабриано и Колле в Валь д'Эльса стали ценным имуществом; [344] Наборщики и ридеры начали формировать отдельный класс ремесленников, в то время как нуждающиеся ученые нашли рынок сбыта для своих талантов в домах издателей. Если мы примем во внимание объем литературной работы, которую пришлось выполнить, прежде чем греческие, латинские и древнееврейские тексты могли быть

подготовлены для печати, сложность получения правильных копий авторитетных кодексов и скрупулезное внимание, затраченное на корректурные листы, мы сможем понять, что люди, жившие за счет обучения, находили новое искусство прибыльным.

Вместо того чтобы работать над предыдущими изданиями, издатели были обязаны, в первую очередь, собрать рукописи. С этой целью они либо сами путешествовали из города в город, либо нанимали компетентных помощников. Затем необходимо было изучить философов, поэтов, историков, математиков и мистиков, чьи работы они намеревались напечатать, чтобы не допустить ошибки в значении слов. Орфография и пунктуация должны были быть исправлены; и между многими чтениями могло быть принято только одно. Предоставление миру первого издания потребовало гораздо большего беспокойства по этим вопросам, чем воспроизведение книги, которую уже часто печатали. Ни один человек не смог бы выполнить такие задачи в одиночку. Таким образом, мы обнаруживаем, что десятки ученых людей были объединены для этой цели, жили под одной крышей, редактировали копию для наборщика, наблюдали за работающими людьми, читали текст вслух и исправляли гранки с бдительностью, которая в наши дни почти не требуется. Более того, весь этот труд был выполнен без помощи грамматиков, лексиконов и других вспомогательных средств. Поистине, мы можем без преувеличения сказать, что Альди из Венеции и Стефани из Парижа более достойны чествования за заслуги, оказанные человечеству в области науки, чем эти современные критики древних текстов, Порсоны и Лахманы, чьи имена у каждого на устах. Энтузиазм открытий и богатое поле для оригинального творчества, предложенное этим первым редакторам, можно рассматривать как компенсацию за их непосильный труд.

Теобальдо Маннуччи, более известный как Альдо Мануцио, родился в 1450 году в Сермонете, недалеко от Веллетри. После того, как клиент в княжеском доме Карпи, он добавил имя Пио в его отчества, и подписал его публикации с полным описанием, *Альд Пуй Manutius Роман Эт Philhellen*, Ἀλδος ὁ Μανούτιος Ῥωμαῖος καὶ Φιλέλλην. Он изучал латынь в Риме под руководством Гаспарино да Верона и греческий в Ферраре под руководством Гуарино да Верона, которому он посвятил своего Теокрита в 1495 году. Получив квалификацию для выполнения работы репетитора или профессора, согласно обычаю того столетия, и подружившись со многими ведущими итальянскими учеными, он в 1482 году переехал жить в Мирандолу к своему старому другу и сокурснику Джованни Пико. Там он пробыл два года, наслаждаясь обществом феникса своего возраста и продолжая изучать греческий язык совместно с Эммануэлем Адрамиттеносом, ученым критянином. Прежде чем Пико переехал во Флоренцию, он добился для Альдо должности наставника своих племянников Альберто и Лионелло Пио. Карпи владел семьей Пио в качестве ее хозяев с тринадцатого века, когда они пришли к власти, как и многие ломбардские дворяне, ловко используя императорские привилегии. [345] Этот маленький городок, расположенный на полпути между Корреджо, Мирандолой и Моденой, настолько незначителен, что его название было опущено из указателя к справочнику Мюррея; да и на самом деле, кроме памяти об Альдо и Альберто Пио и церкви, построенной Бальдассаре Перуцци, мало что может рекомендовать его вниманию путешественников. Под руководством Альдо два молодых принца стали отличными учеными. Альберто, в частности, своей склонностью к философским исследованиям доказал, что унаследовал от своей матери, сестры Джованни Пико, что-то от духа Мирандолы. Когда Альдус опубликовал свое великое издание Аристотеля, он написал его своему бывшему ученику с греческим посвящением, в котором назвал его τῷ τῶν ὄντων ἐραστῇ. Не может быть никаких сомнений в том, что знание Альберто греческого языка и философии было гораздо более глубоким, чем у многих более

прославленных принцев того времени. И все же у него было очень мало возможностей для спокойного изучения классической литературы или для покровительства ученых людей в Карпи. Изгнанный империалистами из своего наследства, он умер в Париже в 1530 году, проведя жизнь на дипломатической службе и в доверенных дипломатических учреждениях. Бронзовый памятник на его могиле все еще можно увидеть [346] в Галерее Лувра. Величественный ученый, облаченный в богатые доспехи эпохи Возрождения, полулежит, подперев голову правой рукой; в левой держит открытую книгу. Поза меланхолической задумчивости, декоративная, но бесполезная кираса и том, открытый, когда ножны меча закрыты, придают портрету этого принца в изгнании значение аллегии. Такие символы подходили гению Италии в эпоху иностранных захватчиков.

Весь мир в долгу перед Альберто Пио, поскольку он предоставил Альдо средства, необходимые для запуска его печатного станка, и подарил ему земли в Карпи, где его семья получила образование. Когда Альдо задумал амбициозный проект издания всей литературы Греции, четыре итальянских города уже могли претендовать на звание греческих изданий. Милан берет на себя инициативу. В 1476 году Грамматика Ласкариса была напечатана там Дионисием Паравизини при содействии Деметрия Критского. [347] В 1480 году появились книги Эзопа и Феокрита без названия издателя. В 1486 году два критянина, Александр и Лаоникен, отредактировали греческую псалтирь. В 1493 году "Исократ", подготовленный Деметриусом Халкондиласом, был издан Генрихом Немцем и Себастьяном Понтремоло. Далее следует Венеция, где еще в 1484 году "Эротематика" Хризолораса была произведена неким Peregrinus Bononiensis. В 1488 году в Виченце последовало переиздание Грамматики Ласкариса благодаря Леонарду Ахатесу из Базеля, а в 1490 году - переиздание "Эротематики". Флоренция, как мы уже видели, подарила Гомера миру в 1488 году. Деметрий Халкондилас переработал текст; Деметрий Критянин предоставил модели для типов; издателем был Алопа из Венеции. Следует отметить, что, за исключением Гомера и Феокрита, ни одна настоящая классика первой величины не появлялась до основания Aldine Press. Я могу также добавить, что миланский Исократ действительно был современником Музея, Галеомиомахии и Псалтири, изданных Альдо как предшественники его греческой библиотеки — Πρόδρομοι τῆς Ἑλληνικῆς βιβλιοθήκης. Этот факт делает его тридцать три первых издания всех величайших и наиболее объемистых греческих авторов между 1494 и 1515 годами еще более примечательными.

Именно в Карпи в 1490 году Альдо окончательно оформил свой проект создания греческой прессы. Его покровители хотели, чтобы он основал его в их замке Нови; но Альдо справедливо рассудил, что в Венеции он будет в большей безопасности от военных потрясений, а также в более удобном месте для привлечения помощи греческих ученых и композиторов. Соответственно, он снял дом и поселился недалеко от С. Агостино. Этот дом быстро превратился в греческую колонию. Из указаний Альдо печатникам можно сделать вывод, что его торговля велась почти исключительно греками и что греческий был языком его семьи. Инструкции переплетчикам относительно порядка расположения листов и способа сшивания были даны на греческом; и многие любопытные греческие фразы, по-видимому, возникли в соответствии с требованиями новой отрасли промышленности. Таким образом, мы видим, ἵνα συνδεθῇσεται ἑλληνιστὶ на греческий шить, и καττιτερίνη χειρὶ для вида; в то время как сам Альдо описывается как χαρακτῆρος ἐφευρέτης τούτων γραμμάτων ὡς εἴρηται. Предисловия, почти всегда составленные на греческом, доказывают, что в настоящее время в Италии читают на этом языке, поскольку Альдо полагался на многочисленных покупателей своих больших и дорогостоящих изданий. Греческий шрифт, для отливки которого он предоставил оборудование

в своем собственном доме, был создан по образцу, предоставленному Марком Мусурусом, критянином, который принял латинские заказы и поселился в Карпи, и от которого Альдо получил важную помощь в подготовке изданий для печати. Композиторы, точно так же, были в основном критянами. Мы слышим об одном из них, по имени Аристубулос Апостолиос, в то время как Джон Грегоропулос, другой критянин, шурин Мусуруса, исполнял роль чтеца. Чернила, которыми пользовался Альдо, были изготовлены в его собственном доме, где у него, кроме того, было подчиненное переплетное производство. Бумага, превосходящая все, что производилось с тех пор, поступала с фабрик Фабриано. Нетрудно представить, что этот улей греческой промышленности часто насчитывал более тридцати человек, не считая ремесленников, занятых поделно в более мелких конторах.

Руководство этим большим заведением, усугублявшееся тревогами, связанными с выпуском стольких еще не отредактированных книг, сильно подорвало здоровье и силы Альдо. За прошедшие годы у него, кажется, не было ни одной минуты, которую он мог бы назвать своей. Посетители и незнакомые люди постоянно требовали от него часов досуга, и, чтобы выделить время для ведения своих дел, он был вынужден повесить на своей двери табличку с запрещающим уведомлением. [348] Помимо более обычных перерывов, которым подвергается каждый выдающийся человек, ему приходилось бороться с особыми трудностями из-за новизны своего предприятия. Предисловия ко многим его публикациям содержат намеки на забастовки его рабочих, [349] на пиратство книготорговцев-конкурентов, [350] на трудность получения подлинных рукописей., [351] и на перебои, вызванные войной. Дважды приостанавливалась работа книгопечатания, сначала в 1506 году, а затем снова в 1510 году. В течение целых двух лет в последний период промышленность Венеции была парализована союзными войсками Камбрейской лиги. Посвящение первого издания Платона, 1513 г., Льву X. завершается молитвой, великолепной по серьезности и простоте своего красноречия, в которой Альдо сравнивает невзгоды войны и бедствия Италии с возвышенными и мирными целями ученика. Весь ужасный опыт этой расточительной кампании, от последствий которой Венецианская республика так и не оправилась полностью, по-видимому, находит выражение в страстном, но почтительном обращении великого печатника к ученому папе. Два года назад пресса Альдо бездействовала, в то время как французы заливали Брешию кровью, а равнины Равенны были усеяны трупами итальянцев, испанцев, галлов и германцев, встреченных Ронко в страстном, но бесплодном конфликте. Теперь, среди своих заброшенных дворцов и безмолвных лагун, Венеция протянула Европе мирный дар Платона. Студент, который трудился, чтобы сделать его совершенным, обратился к Христу и Его наместнику с призывом отказаться от оружия, которое делает человека жестоким, к искусству, которое гуманизирует народы.

Несмотря на все эти занятия, разочарования и отвлечения внимания, Альдо, поддерживаемый энтузиазмом своего великого начинания, никогда не ослабевал. Некоторые из его предисловий, после описания препятствий, с которыми ему приходилось бороться, разражались криками триумфа. Какая радость, восклицает он, видеть эти тома древних, спасенные из книгохранилищ (βιβλιοτάφοι) и безвозмездно переданные миру! [352] Ни один человек не мог бы быть более великодушно озабочен, чем он, служением делу науки путем максимально широкого распространения книг по умеренной цене. Ни один художник никогда так скрупулезно не стремился придать наилучшую возможную форму, предельную точность каждой детали своей работы. Когда мы рассматриваем красоту альдинских томов и критическое

совершенство их текстов, мы можем быть справедливо поражены их ценами. "Мусий" был продан примерно за один шиллинг наших денег, "Феокрит" - примерно за два шиллинга. Пять томов, содержащих все сочинение Аристотеля, можно было приобрести за сумму, безусловно, не превышающую 8 фунтов стерлингов. Каждый том карманной серии, возглавляемой в 1501 году 8vo. Вергилий и включающей греческих, латинских и итальянских авторов, стоил около двух шиллингов. Для этой библиотеки знаменитый курсивный шрифт, известный как Aldine, был заимствован из почерка Петрарки и вырезан Франческо да Болоньей. [353] Похоже, что по мере роста своей торговли Альдо основал компанию, которая разделяла риски и прибыль от бизнеса. [354] Тем не менее, расходы на публикацию были такими большими, ненадежность книжного рынка такой большой, а привилегии авторского права, предоставленные Папой или венецианским сенатом, такими несовершенными, [355] что Альдо, посвятив свою жизнь этому произведению и завещав его мировой греческой литературе, умер сравнительно бедным. Эразм, всегда несколько ворчливый, обвинял его в скупости; однако именно его щедрость по отношению к сотрудникам, его открытость при покупке дорогостоящего оборудования для критических изданий заставляли его быть экономным.

Отдельного внимания заслуживают первые издания греческих книг, опубликованные Альдо. В 1493 году или раньше появились "Герой и Леандр" Мусея, поэма, которая в ту не критичную эпоху считалась произведением мифического предшественника Гомера. [356] В 1495 году свет увидел первый том Аристотеля, сопровождаемый многочисленными греческими эпиграммами и греческим письмом Сципиона Фортигуэрры, который сожалеет в нем о смерти Пико, Полициано и Ермолао Барбаро. Остальные четыре тома вышли в 1497 и 1498 годах. В последний из этих лет Альдо с помощью своего друга Мусуруса поставил девять комедий Аристофана; рукописи "Лисистраты" и "Тесмофориаза" были впоследствии обнаружены в Урбино и опубликованы Джунтой в 1515 году. В 1502 году появились Фукидид, Софокл и Геродот, за которыми в 1503 году последовали "Эллины" Ксенофонта и Еврипид, [357] и в 1504 году Демосфен. После этого наступает затишье, частично вызванное беспорядками, возникшими в Лиге Блуа. В 1508 году список греческих ораторов возобновляется; в то время как в 1509 году должны быть представлены второстепенные произведения Плутарха. Затем следует еще одна остановка из-за войны. В 1513 году был опубликован Платон, а в 1514 году - Пиндар, Исихий и Афиней.

В предыдущем сообщении я опустил уведомление о незначительных изданиях, а также о перепечатках. Чтобы завершить историю альдинского издания греческих книг, следует упомянуть, что преемники Альдо продолжили его работу, подарив миру Павсания, Страбона, Эсхила, Галена, Гиппократы и Лонгина; так что, когда эстены из Парижа отправились на поиски итальянских издателей, они нашли только Анакреона, Максима Тирия и Диодора Сицилийского, которые еще не были отредактированы.

Мы не должны забывать, что, в то время как Альдо усердно печатал греческих авторов, он продолжал рассылать латинские и итальянские публикации из своего издательства. Таким образом, мы обнаруживаем, что "Этна" и "Асолани" Бембо, собрание сочинений Полициано, "Гипнеротомахия полифили", "Божественная комедия", "Козе Волгари" Петрарки, "Поэт христианский ветер", включая Пруденция, поэмы Понтана, письма Плиния младшего, "Аркадия" Санназаро, Квинтилиана, Валерия Максима и "Адагия" Эразма были напечатаны либо первыми изданиями, либо с невиданной ранее красотой шрифта и бумаги в период с 1495 по 1514 год.

Великий голландский ученый, который произвел эпоху в истории образования и передал власть письменности северу Европы, нанес визит в 1508 году в дом Альдо, где он лично руководил переизданием своих "Притчей". [358] У нас есть яркая картина печатания этой знаменитой книги в мастерской Альдо. "Мы вместе взялись за работу, - рассказывает Эразмус, - я писал, пока Альдо отдавал мой экземпляр в печать". В углу комнаты за своим столом сидел ученый с тонким пронизательным лицом, так хорошо изображенным Гольбейном, импровизируя новые абзацы и внося дополнения к своим предыдущим сборникам в блестящем латинском стиле, который никто другой написать не мог. Альдо взял рукопись у него из рук и передал наборщикам, которые редактировали гранки по мере их поступления из печати или совещались со своим читателем Серафином. [359] Эразм уже приобрел репутацию опасного вольнодумца и противника Церкви. С годами и распространением Реформации в Северной Европе он становился все более и более ненавистным для церковной власти. Дух бунта был воплощен в этом Вольтере шестнадцатого века, и духовенство не могло поднять другого оружия, кроме оружия преследования против столь блистательного поборника чистого разума. Поэтому епископы запретили любое перепечатывание "Адагии". Паулюсу Мануцию пришлось указывать это в своих каталогах как работу *Batavus quidam homo*. До такой степени либеральные науки были теперь заткнуты ртом и подавлены тиранами Контрреформации в той Италии, которая на протяжении двух предыдущих столетий была защитником свободной культуры в Европе.

Прежде чем завершить биографию Альдо Мануцио, возможно, было бы неплохо рассказать о наиболее выдающихся помощниках и сотрудниках, которых он собрал вокруг себя в своей академии в Венеции. [360] Новая академия, или Эллинистическая академия Альдина, была основана в 1500 году с особой целью продвижения греческих исследований и содействия публикации греческих авторов. Его правила были написаны на греческом языке; члены были обязаны говорить по-гречески; их официальные титулы были греческими; и их имена были написаны по-гречески. Так, Сципионе Фортигуэрра из Пистойи, подготовивший текст Демосфена для Альдо, называл себя Картероммахосом, а Алессандро Бондини, венецианский врач, работавший над изданием Аристотеля, носил имя Агатемерос. [361] К неакадемикам можно отнести самых выдающихся греков, проживавших в то время в Италии. Джон Ласкарис, императорской крови, учитель эллинизма во Франции при трех королях, был почетным членом. Этому великому ученому Альдо посвятил свое первое издание Софокла. Марк Мусурус занимал пост, имеющий более практическое значение. [362] Мы видели, что его почерк сформировался по образцу греческого шрифта Альдо. Его учености издания Аристофана, Платона, Пиндара, Исихия, Афиней и Павсания были обязаны своей критической точностью; в то время как совместно с Николаосом Бластосом и Захариасом Каллиерджи, двумя критскими печатниками, обосновавшимися в Венеции, он опубликовал первый латинский и греческий словарь. [363] Следует отметить, что критяне сыграли заметную роль в этом венецианском возрождении греческого языка. Аристобулос Апостолиос, Джоаннес Грегоропулос, Джоаннес Росос и Деметриус Дукас, все они уроженцы Крита, были членами Неакадемии. Первый как наборщик, второй как чтец, третий как переписчик, четвертый как редактор "Греческих ораторов" оказывал Альдо эффективную помощь. Среди итальянцев Пьетро Бембо, Алеандр и Альберто Пио занимали почетные должности, а не занимались активной промышленностью. Те, кто серьезно работал в Aldine press, были в основном венецианцами. Джироламо Аванзи, профессор философии в Падуе, переработал тексты Катутла, Сенеки и Авзония. Андреа Наваджеро, благородный венецианский поэт, исправлял Лукреция, Овидия, Теренция, Квинтилиана, Горация и Вергилия. Джамбаттиста Эгнацио оказал ту же услугу Валерию Максимусу, Письмам

Плиния, Лактанция, Тертуллиана, Авла Геллия и других латинских авторов. Перечислять всех выдающихся венецианцев, сыгравших свою роль в этой Академии, было бы утомительно; однако два имени Марино Санудо, знаменитого автора дневников, и Марко Антонио Коччо, по прозвищу Сабелликус, историка Республики, нельзя опустить. Из иностранцев с севера самым знаменитым был Эразм; для англичан наиболее интересным является Томас Линакр. Родившийся в 1460 году в Кентербери, он путешествовал по Италии и учился во Флоренции у Полициано и Халкондиласа. По возвращении в Англию он основал кафедру греческого языка в Оксфорде и умер в Лондоне в 1524 году. Его перевод на латынь "Сферы" Прокла был опубликован издательством Aldus в 1499 году. Ему и Гроцину принадлежит заслуга в том, что они стремились привить культуру Италии в университетах Англии.

Во время тяжелой болезни в 1498 году Альдо поклялся принять священный сан, если выздоровеет. Впоследствии он был освобожден от этого обязательства приказом Александра VI, а в следующем году женился на Марии, дочери Андреа Торресано из Асолы. Андреа несколькими годами ранее купил типографию, основанную Николасом Дженсоном в Венеции, так что женитьба Альдо на его дочери объединила интересы двух важных фирм. Отныне имена Альдуса и Асолануса были связаны на титульных листах альдинских изданий. Когда Альдо умер в 1514 году (1515 по новому стилю), он оставил трех сыновей — Мануцио, служившего в ордене в Асоле; Антонио, книготорговца в Болонье; [364] и Паоло Мануцио. Последний из этих сыновей, родившийся в Венеции в 1512 году, воспитывался своим дедом Андреа до самой смерти старика (1529). Он руководил типографией в Венеции и Риме, отделившись в 1540 году от своих дядей Асолани и завещав свое дело своему сыну по имени Альдо. Этот внук Альдо Мануцио, названный Скалигером "жалким и тугодумом, копией своего отца", начал свою карьеру с того, что в возрасте одиннадцати лет напечатал трактат "Изящные языки Тосканы и Латыни". Он женился на Франческе Лукреции Джунте, представительнице знаменитого дома печатников, и умер, не сохранив номера, в Риме в 1597 году. Таким образом, промышленность Альдо продолжалась на протяжении двух поколений до конца шестнадцатого века. Изображение дельфина и якоря, призванных символизировать быстроту исполнения в сочетании с твердостью обдумывания, и девиз *Festina lente*, который сэр Томас Браун перевел как "Быстрота, презируемая пунктуацией", хотя и изменялись время от времени в соответствии с различными вкусами, альдины никогда полностью не отказывались от него.. [365] Однако с годами их публикации стали менее важными, а красота их книг выродилась.

Проследивая историю предприятия Альдо, я вышел за пределы периода, описанного в этой главе. И все же я не знал, как лучше описать деятельность прессы в Италии, чем сосредоточив внимание на величайшем издателе, который когда-либо жил. Альдо Мануцио был не просто книготорговцем или печатником. Его ученость заслужила сердечные похвалы зрелых ученых, и ни один студент того времени не выражал более благородно и с большей убежденностью своего глубокого чувства достоинства, которое ученость придает душе человека. [366] То, что он был дружелюбен в частной жизни, доказывается близкими отношениями, которые он поддерживал с гуманистами, более раздражительной расой людей, чем даже поэты. [367] По отношению к своим коллегам по работе он был неизменно щедр в денежных вопросах, свободен от зависти и расточителен на похвалы. Стремясь к еще меньшей, чем ему полагается, доле заслуг, он желал, чтобы великое дело его жизни сошло за общее достижение его самого и его ученых товарищей. Поэтому он назвал свою греческую библиотеку "плодами Неакадемии", хотя никто лучше него не мог знать, что его собственный гений был жизнью и духом этого начинания. Его рукописи были так же открыты для обучения ученых, как и его печатные книги, которые свободно

раздавались публике. [368] "В сокровищнице Альдо, - пишет Эразмус, - не было ничего, кроме того, что он с готовностью передавал". Те, кто прочтет оценку его заслуг в области образования, сделанную выдающимися современниками, обнаружат, что язык Николаса Леонисена, Эразма и Антона Франческо Дони не преувеличен. [369] Но, чтобы понять их истинную ценность, мы должны иметь в виду, что до 1516 года, когда Фробен напечатал греческое Завещание в Базеле, в Северной Европе не появлялось ничего, кроме незначительных греческих переизданий. [370] Наконец, что делает место Альда в истории итальянского гуманизма чрезвычайно важным, так это тот факт, что примерно после 1520 года изучение греческого языка в Италии начало приходить в упадок в целом. Как будто истощенные огромной энергией, с которой Флоренция приобрела, а Венеция распространила греческую культуру, итальянцы снова впали в апатию. Потомки могут быть благодарны за то, что их ученики, Гроцин и Линакр, Рейхлин и Эразм, Стефани и Будей, к этому времени распространили эрудицию за пределы Альп, в то время как Альдо защитил литературу древней Греции от возможного уничтожения.

ГЛАВА VII

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД ГУМАНИЗМА

Падение гуманистов—Ученость пронизывает общество—Новый идеал жизни и нравов—Латинизация имен—Классические перифразы—Латинские эпосы на христианские темы—Язычество—Двор Льва X.—Почести Церкви ученым—Духовные лица мира—Меценаты в Риме—Папский и Императорский Рим—Моральное разложение—Социальная утонченность—Римская академия—Пьетро Бембо—Его жизнь в Ферраре—В Урбино—Приезжает в Рим—Работает у Льва—Уходит на пенсию в Падую—Его литературная диктатура—Якопо Садолето—Более серьезный гений, чем Бембо—Паулюс Джовиус—Латинский стилист—Его истории—Бальдассаре Кастильоне—Жизнь в Урбино и Риме—Придворный ученый—Его дипломатические миссии—Альберто Пио—Джан Франческо Пико делла Мирандола—Перипетии его жизни—Джером Алеандр—Востоковедение—Библиотека Ватикана—Его миссия в Германию—Ингирами, Бероальдо и Аччиуоли—Римский университет—Джон Ласкарис—Учеба музеев древностей—Происхождение "Corpus Inscriptionum"—Топографические исследования—Формирование Ватиканской скульптурной галереи—Открытие Лаокоона—Любовь к статуям в Италии эпохи Возрождения—Венецианские посланники в Бельведере—План Рафаэля по раскопкам Древнего Рима—Его письмо Льву—Влияние антикварных исследований на искусство—Интеллектуальное превосходство Рима в этот период—Падение—Адриан VI.—Разграбление Рима—Описание страданий ученых Валериано.

То, что известно как Возрождение Образования, было достигнуто до конца пятнадцатого века, и примерно в это время гуманизм начал терять доверие. К профессиональным ученым, которые господствовали в Италии в течение последних ста лет, теперь относились с подозрением как к претенциозным софистам или пустоголовым педантам. Их место заняли светские мужчины, утонченные придворные и вежливые стилисты, которые гордились своей общей культурой. Эта революция в общественном мнении была результатом различных причин, которые я попытаюсь изложить в другой главе. Для моей настоящей цели достаточно заметить, что знания, которыми

поначалу обладали несколько учителей, приобретенные с трудом и передаваемые снисходительно, теперь стали общим достоянием культурных людей. По мере того, как знания о классических авторах распространялись на более широкую территорию, сама по себе репутация солидного ученого перестала быть действительным титулом знаменитости. Было необходимо, чтобы литератор, воспитанный древностью, доказал свою гениальность какой-нибудь оригинальностью ума. Эпоха приобретений закончилась; началась эпоха применения. Этому результату во многом способствовал возродившийся интерес к итальянской литературе. Писатели больше не стыдились, подобно Бруни и Поджио, своего козе *волгари*. Напротив, самые великолепные произведения первой половины шестнадцатого века, Истории Гвиччардини и Макиавелли, Эпос Ариосто, "Кортегиано" Кастильоне и бурлескные поэмы Берни были написаны на сильном и утонченном итальянском. Вопрос в том, в какой степени влияние Лоренцо де Медичи, который всегда был более неравнодушен к народной литературе, чем к науке, определило рассматриваемое изменение, остается открытым. То, что Флоренция проложила путь своим великим авторам итальянской поэзии и прозы, не вызывает сомнений.

В то же время эрудиция пятнадцатого века охватила всю итальянскую нацию. Гуманизм проник во все сферы интеллектуальной деятельности и придал окраску всем общественным обычаям. Искусство живописи и скульптуры ощутило его влияние. Возник новый стиль архитектуры, сформированный по образцу римских памятников. Наука получила особое пристрастие от классиков, а философия была настолько сильно пронизана античными доктринами, что можно с полным основанием сказать, что Возрождение образования сдержало спонтанность итальянского интеллекта. У студентов не было достаточно времени, чтобы усвоить древность и выйти за ее пределы, прежде чем смерть Церкви и испанца была возложена на самые прекрасные области мысли. Однако проследить ход итальянской философии не входит в мои планы в этом томе. Споры Аристотеля и Платона о природе души, материализм Пьетро Помпонаццо, постепенное появление таких могущественных мыслителей, как Бруно и Кампанелла, теологический рационализм Аонио Палеарио и окончательное подавление свободной мысли Церковью относятся к истории Контрреформации. К той же печальной главе итальянской истории следует отнести труды первых математиков, астрономов и космографов, которые, углубившись в тексты Птолемея и Евклида, предвосхитили Коперника, побудили Колумба к его предприятию и проложили путь Галилею. Позор, связанный с тем, что наука и философия потерпели неудачу в Италии, когда их ранний расцвет был таким многообещающим, пал на пап и принцев второй половины шестнадцатого века. Рассказ об их появлении из исследований гуманистов должен стать прелюдией к будущей работе, посвященной Фарнези и Караффасу, инквизиторам и иезуитам. Только показав рост, который мог бы быть, мы можем продемонстрировать атрофию, которая была.

В этой главе остается описать четвертый период гуманизма, когда Италия, все еще проникнутая духом классического возрождения, установила законы социального воспитания для народов Севера. Нет ничего более трудного, чем изложить без преувеличения и в то же время с достаточной силой так называемое язычество Италии эпохи Возрождения. На первый взгляд и с определенных точек зрения кажется, что исключительное изучение классики произвело основательную метаморфозу морали и нравов. Когда, поразмыслив, эта видимость оказывается иллюзорной, мы, возможно, склоняемся к противоположному выводу, что ученость лишь задает своего рода моду, не оказывая глубокого влияния даже на воображение людей. Более полное знакомство с этим периодом проясняет, что подражание древним в мышлении, чувствах и языке не было простой аффектацией и что, каким бы частичным ни было его влияние, оно не

было поверхностным. В первом томе этого труда я попытался показать, в какой степени патриотизм тираноубийц и расточительность придворных были одинаково связаны с преобладающим изучением древнего мира. Немаловажно было то, что пороки и добродетели, светскость и энтузиазм той многогранной эпохи, вместе с ее высшими достижениями в искусстве, ее наиболее зрелыми произведениями в литературе, должны были постепенно принять классическую форму. Стандарты морали и эстетического вкуса были языческими, хотя нация в целом оставалась неизменной в католицизме. Именно этот разлад между исповедуемой народом религией и язычеством его идеала вдохновил Савонаролу на его пророчество.

Поскольку классический стиль был требованием эпохи, отсюда следовало, что ему приносили в жертву все. При крещении своих детей великие семьи отказывались от календарных святых и выбирали имена из мифологии. Этторе, Ахилл, Аталанта, Пентесилея, Лукреция, Порция, Алессандро, Аннибале, Лаомедонте, Федро, Ипполито и многие другие старинные титулы вошли в моду. Те, кто смог это сделать, перевели свои крестильные имена в латинские или греческие эквиваленты. Янус или Иовиан выдавался за Джованни, Пиерий - за Пьетро, Аоний - за Антонио, Луций Грассус - за Луку Грассо; немецкий прелат Иоанн Гориц был известен как Кориций, [371] а римский профессор Джанпаоло Паризио - как Янус Паррасий. Писатели, которые брались трактовать современные или религиозные темы, были доведены своим рвением к пуризму до самых странных приемов использования языка. Бог на латыни шестнадцатого века - это *Юпитер Оптимус Максимус*; Провидение становится *Фатумом*; святые - это *Divi*, а их статуи - *подобиями святого Духа*. Богородица превращается в *Dea Lauretana*, Петр и Павел - в *Dii tutelares Romæ*, души праведных - в *Manes pii*, а отлучение папы от церкви - в *Diræ*. Сам Святой Отец носит стиль *Верховного понтифика*; его тиара, из-за дикой путаницы идей, описывается как *infula Romulea*. Монахини - весталки, а кардиналы - авгуры. Для церковных праздников были найдены перифразы, из которых в качестве наглядного примера можно привести следующие: [372] '*Случайность сама по себе умирает, к дому никто не имеет доступа, сама по себе причина священной септемской Божественной молельни невидима; вечный эним люстричи умирает, как некое четвертое очищение, освящающее ностра пиета.*'

Вряд ли нужно добавлять, что, когда обязательства латинства достигли этого уровня, читать Цицерона было гораздо важнее, чем изучать Отцов Церкви. Хорошо известно, что Бембо посоветовал Садолето "избегать Посланий Святого Павла, чтобы его варварский стиль не испортил вам вкус: *U Omitte estъ nugas, non enim decent gravem virum tales ineptiae*". Однако степень распространения формального пуризма в латыни лучше всего прослеживается в "Христиаде" Вида и поэме "De Partu Virginis" Санназаро. [373] Санназаро не только призывает муз Геликона воспеть рождение Христа, но и заставляет Протея пророчествовать о его пришествии к богу реки Иордан. Архангел обнаруживает Марию, описанную поэтом как *spes fida Deorum*, намеревающуюся прочесть не что иное, как Сивиллы; и после того, как она получила его послание, духи патриархов, как говорят, кричат, потому что они хотят сбежать из Тартара и Ахерона и от отвратительного лая трехгорлой гончей.

Можно было бы обоснованно возразить Мильтону, что в "Вновь обретенном рае" он несколько принижает религиозное величие своего сюжета, облачая его в формы классического эпоса. Если он и допустил ошибку в этом направлении, то это ничто по сравнению с псевдоязыческой пародией Вида. О Боге Отце в "Христиаде" говорится как о *Высшем Отце нимбипотентах* и

Олимпийском Регнаторе— титулах, имевших свое реальное значение в латинской мифологии, которые с холодным формализмом были перенесены на Божество, сущность которого духовна, и культ которого не имеет примеси поклонения природе. Иисуса неизменно описывают как *Героев*; этот абсурд достигает своего апогея в следующей фразе о плохом воре на кресте: —

*Ipse etiam verbis morientem heroa superbis
Stringebat.*

Механизм, с помощью которого евреев заставляют желать смерти Христа, не менее нелеп. Вместо того, чтобы пытаться задействовать религиозные или этические мотивы, Вида представляет банду Горгон, Гарпий, Кентавров, Гидр и им подобных. Хлеб Тайной Вечери появляется под видом *sinceram Cererem*. Вино, смешанное с желчью, предложенное нашему Господу на кресте, является *corrupti pocula Bacchi*. Единственным оправданием этих гротескных компромиссов между библейским сюжетом и его мифологическим выражением является то, что никаким другим способом было бы невозможно придать стиху чисто латинскую форму. Поэт не смог осознать, что создает шедевр маньеризма *барокко*, сразу испортив стиль, который он стремился использовать, и тему, которую он взялся проиллюстрировать. Ему было достаточно надеть римскую тогу на своих святых и фарисеев и пощекотать вкус образованной публики намеками, напоминавшими им о Вергилии. Того же блаженства достиг Бембо, когда изобрел перефразировку "небесного зефира" для Святого Духа и описал Венецианский собор, призывающий папу *uti fidat diis immortalibus, пороки кворума на земле gerit*. Современного критика поражает не столько ненормативная лексика этих фраз, сколько их эстетическая пустота, диссонанс между предполагаемым значением и литературной формой.

Когда те же поэты впадают в искреннее язычество, в откровенных стихах, написанных Бембо для Приапа, в эпиграммах Беккаделли или в элегиях Акона и Иолы, мы чувствуем, что они более оправданы с художественной точки зрения. Следующие строки, например, из "Поэтики" Вида, по-своему звучны и красивы. Он обращается к Вергилию как к святому: —

*Te colimus, tibi certa damus, tibi thura, tibi aras,
Et tibi rite sacrum semper dicemus honorem.*

Или снова—

*Nos aspice præsens,
Pectoribusque tuos castis infunde calores
Adveniens pater, atque animis te te insere nostris.*

Здесь нет никакой путаницы между чувством и языком, выбранным для его выражения. Чувство, пусть и несколько искусственное и нереальное, по крайней мере соответствует форме.

Я довольно подробно остановился на примерах пуристических латинизмов, потому что они, по-видимому, представляют собой кульминационный момент изучения классики, поскольку они влияют на вкус в целом, а также потому, что они особенно характерны для периода, о котором я сейчас рассказываю. Именно в Риме, среди великих духовных лиц, эти языческие моды особенно процветали. Выдающиеся личности всех мастей находили приют у Льва X, принимая пурпур прелата и алый мундир кардинала из его снисходительных рук. Гений Возрождения, казалось, последовал за этим первым папой-медици из Флоренции. Хотя Лео был человеком

просто любящим удовольствия и восприимчивым по темпераменту, который не оставил неизгладимого впечатления на свой возраст, он, по крайней мере, умел ценить способности и находил максимум удовольствия в искусстве и литературе, которым с энтузиазмом покровительствовал. Этот сибарит интеллектуальной и чувственной роскоши дал свое имя тому, что называют золотым веком итальянской литературы, главным образом потому, что он привлекал в Рим лучших умов и удостаивался лести людей, чьи произведения пережили их.

В истории мало найдется более поразительных зрелищ, чем Рим в период понтификата Льва. В то время как папство стало светским владычеством, наука и искусства приобрели священнический облик, и самые дерзкие безнравственные поступки общества, сравнимого с обществом древней Империи, процветают при мелких дворах церковных князей. Столица христианского мира полна священников; но священники — это люди удовольствий и мира - элегантные латинисты и витиеватые риторы, поднявшиеся на высокие посты благодаря своим блестящим способностям. Мы уже видели, как гуманисты пробивались в Римскую курию в качестве писателей и сокращенцев и как щедро Николай V. поощрял ученость. И все же, какими бы незаменимыми ни стали ученые пятнадцатого века, они редко поднимались выше ранга апостольских секретарей; в то время как мало кто из профессиональных гуманистов заботился о том, чтобы принимать сани в Церкви. Они довольствовались официальным вознаграждением и полусветскими пособиями. Теперь все это изменилось. Самые выдающиеся литераторы сделали Церковь своей профессией. Садолето, Бембо и Алеандр, начавшие свою карьеру при Льве, получили шляпы кардиналов от Павла III. Паулюс Йовиус был рукоположен Климентом VII в епископа Ночеры и с отвращением удалился в Комо из-за того, что ему не удалось получить алую мантию в 1549 году. Говорят, что Марк Мусурус, возведенный в сан епископа Мальвазии, умер от разочарования, когда увидел, что такое же достоинство находится вне его досягаемости. Вида, латинский поэт, получил от Климента VII престол Альбы в Пьемонте, а Гиберти, опытный стилист, престол Вероны. Все эти люди оставили свой след при дворе Льва, который подал пример, которому последовал его преемник из династии Медичи, награждения мирских талантов и достижений церковными отличиями. Серьезно поставленный вопрос о приеме Рафаэля в Священную коллегия доказывает, до какой степени высшие почести Церкви стали почитаться как награды, и в какой-то степени оправдывает высокомерное предложение Пьетро Аретино продать свои услуги папству в обмен на кардинальскую шапку.

В биографиях этих баловней судьбы есть много общего. Происходили ли они из знатных семей, как Бембо, или выросли в сравнительной безвестности, как Биббиена, они рано привязывались к какому-нибудь выдающемуся принцу, [374] или поступали на службу к великому священнослужителю. Их литературные таланты, социальные достижения, успехи в общении с женщинами и дипломатическая служба в центрах итальянской политики привлекли к ним еще большее внимание. Таким образом, латинскую поэму Садолето о Лаокооне, "Каландру" Биббиены, исполнение Ингирами роли Федры в "Ипполите" Сенеки и дружбу Бембо с Лукрецией Борджиа можно назвать поворотными моментами в ранней истории этих прославленных прелатов. Добившись таким образом положения благодаря своим личным подаркам, они отправились в Рим в сопровождении своих соответствующих покровителей и получили должность от Льва. Садолето и Бембо стали его секретарями. Ингирами заведовал библиотекой Ватикана. [375] Разносторонние способности Биббиены были распределены между обязанностями государственного министра и распорядителя пирушек. Поскольку они сколотили свое состояние с помощью выдающихся покровителей, теперь они, в свою очередь, получили звание меценатов. В дополнение к Ватикану, в Риме было множество мелких дворов и

второстепенных кругов. Каждый кардинал и каждый посол обладали юрисдикцией, независимой от папы римского, и нередко находились в оппозиции к правящей власти. Основать академии, собрать вокруг себя умных людей и играть роль Мецената было честолюбием этих подчиненных князей. Во время понтификата Льва кардиналы Риарио, Джулио Медичи, Биббиена, Петруччи, Фарнезе, Алидози и Гонзага, не говоря уже о других, развлекали своих последователей - льстецов и поэтов, которые танцевали на их приемах, сопровождали их на публике и зарабатывали жалкие гроши комплиментами и посвящениями. Некоторые из этих священнослужителей-покровителей оказывали влияние на искусство, другие - на науку; третьи, и их было большинство, оказывали свое благоволение литературе. Говорят, что Ипполито Медичи содержал свиту из трехсот поэтов, среди которых упоминаются эlegantный Мольца и ученый Валериано. Моде, установленной таким образом Львом и Священной коллегией, следовали все выдающиеся люди Рима. Банкир Агостино Киджи сделал себе имя не только благодаря покровительству художникам, но и благодаря частной греческой типографии, основанной в его доме. [376] Бальдассаре Турини посвятил себя искусству строительства и декора. Бальдассаре Кастильоне, как посол из Мантуи и Феррары, и Альберто Пио, как принц Карпи и посол Франции, оказывали гостеприимство в своих дворцах ученым, среди которых они занимали немалое положение благодаря своим собственным заслугам.

Библиотеки, коллекции статуй и картин, фрески на мифологические сюжеты, садовые домики, построенные по античному образцу, надписи на латыни, бюсты императоров, бани и банкетные залы, украшенные на манер римских руин, — на такие объекты расточительно тратилось богатство Церкви. У потомков есть основания сожалеть о том, что в этом папском обществе, столь удивительно похожем на общество императорского Рима, не появилось сатирика. Гораций действительно нашел бы достаточно материала для юмористического описания, независимо от того, решил ли он высмеять нуждающихся клиентов, покидающих свои квартиры до рассвета и толпящихся в приемной прелата, или паразитов, над которыми в присутствии папы разыгрывались грубые розыгрыши, или льстецов, восхваляющих насмешливые добродетели своего господина в многочасовых декламациях. Более низкие пороки, чем тщеславие, лицемерие и раболепие, служили подходящими темами для не менее пламенных оскорблений, чем во втором и шестом стихах Ювенала. В Риме добродетельным женщинам не было места; но Фрина снова ожила в лице Империи, и сановники Церкви не считали зазорным выставлять напоказ свое предпочтение Гитону. [377] В отсутствие Горация или Ювенала нам приходится довольствоваться Банделло и другими романистами и одним драгоценным посланием Ариосто, описывающим трудности ведения дел при папском дворе, за исключением закулисного влияния и интриг в прихожей.

Переоценить моральное разложение Рима в начале шестнадцатого века почти невозможно. Легко переоценить реальную ценность литературы, кульминацией которой стали тонкости риторики и стиля. Нетрудно также ошибочно принять, как это сделали многие критики, закат изобразительного искусства за его расцвет в зените славы. И все же, хотя мы признаем, что общество погрязло в худших, чем языческие, пороках, и справедливо считаем Рим скорее приютом чуждых искусств и литературы, чем родным городом великих людей, мы не можем закрывать глаза на разнообразие света и красок этого Двора, уникального в современной истории. Культура, к которой долгое время стремилось итальянское общество, была здесь завершена. Печать универсальности была наложена на изобразительное искусство и литературу единственным властелином, который в тот момент заявлял о своей верности объединенному христианскому миру. Как красноречиво замечает историк города Рима,

"богате́йшая интеллектуальная жизнь здесь цвела в болоте пороков." Это была не жизнь великой поэзии, которая давным-давно умерла вместе с Данте. Это была не жизнь подлинной науки, которой было суждено родиться вместе с Галилеем. Это не была жизнь всесторонней учености, которая покоилась в могиле Полициано. Это даже не было жизнью прогрессивного искусства, ибо Рафаэль умер в ту эпоху, и хотя Микеланджело пережил ее, у его гения не было преемников. Но это была культурная жизнь, делавшая самых грубых и порочных чувствительными к смягчающим влияниям и готовившая для более могущественных наций возможности великих свершений.

В условиях политической слабости и морального разложения сформировался идеал утонченности, заимствованный из античности и ассимилированный современным образом жизни. Это был самый совершенный расцвет Возрождения, которому суждено было пережить упадок гуманизма и стать для последующей цивилизации тем, чем рыцарство было для средневековья. Благодаря постоянным усилиям патрициев и ученых приобрести тон классической культуры, во Флоренции и Риме вновь появилось нечто вроде античной вежливости; в то время как несколько общих курсов, посвященных изучению светского этикета, породили расу, отличавшуюся прежде всего своей интеллектуальной утонченностью. Воздействие этой эстетической атмосферы на гостей с Севера было необычайно разнообразным. Лютер, приехавший посмотреть Город Святых, обнаружил в Риме вместилище всех мерзостей, само логово антихриста. *Комитас* и *лицедейство* прелатов были для него объектом полнейшего отвращения. Эразм, напротив, писал из Лондона, что ничто, кроме Леты, не могло стереть его память об этом лучезарном городе — его свободе общения, его свете, его библиотеках, его сладкой беседе самых образованных ученых, его роскошном стиле жизни и всех тех произведениях искусства, которые сделали Рим театром наций. Сами итальянцы, извлеченные уроком из трагедии 1527 года, с не менее смешанными чувствами оглядывались назад на Рим Льва. La Casa упоминает *nimia humanitatis suavitas* — избыток сладости во всем, что делает общество гуманным, — как характеристику ушедшей эпохи. Эта чрезмерная приторность вежливости, конечный продукт искусства и учености Италии, распространившись по Европе и приспособившись ко вкусу более суровых национальностей, стала вежливостью Франции при Людовике XIV, *bel air* придворных королевы Анны.

Римская академия все еще продолжала свою деятельность, собираясь во дворцах более чем одного великого прелата. Сады Андже́ло Колоччи, секретаря Лео, друга Джона Ласкариса и самого выдающегося стилиста, служили его штаб-квартирой. Иногда поэт Блозиус Палладий принимал сподвижников на своей вилле у Тибра; иногда они пользовались гостеприимством Эгидия Канисия, генерала ордена августинцев; однажды они искали дом Садо́лето на Квиринале; в другой раз они пировали на винограднике Иоанна Горица, Кориция Сенекса. Празднества этого ученого общества, судя по описаниям его членов, отличались античной простотой и хорошим вкусом, резко контрастируя с банкетами простых мирских прелатов. [378] Когда Агостино Киджи принимал академиков на вилле Фарнезина, он умерил свое великолепие, чтобы соответствовать духу их основателя Лета, и опустил те проявления вульгарной пышности, которыми был отмечен его свадебный банкет. [379]

Список кандидатов Академии представляет перед нами самых выдающихся умов Рима. Прежде всего, это Пьетро Бембо, литератор, которого, подобно Петрарке, Поджо и Полициано, можно назвать наиболее полным представителем культуры своей эпохи. Его отец, Бернардо Бембо, был венецианцем благородного происхождения и образования. Его великодушному увлечению

итальянской литературой Равенна обязана гробницей Данте. Пьетро родился во Флоренции в 1470 году и получил раннее образование в этом городе. Поэтому тосканцы считают его хваленую чистоту дикции своим даром. Впоследствии он изучал греческий язык в Мессине под руководством Константина Ласкариса и изучал философию у Помпонаццо в Падуе. Когда трактат его учителя о "Бессмертии души" был осужден Латеранским собором, Бембо успешно использовал свое влияние в его интересах. Хотя он отрицал доказуемость этой доктрины и утверждал, что Аристотель не поддерживал ее, Помпонаццо подвергся лишь порицанию, вместо того чтобы быть сожженным, как Бруно. Однако такой удачей он был обязан не столько адвокации своего ученика, сколько беспечности Лео. Завершив свое академическое образование в 1498 году, Бембо присоединился к своему отцу при блестящем дворе Эстенси. Когда Лукреция Борджиа въехала в Феррару в 1502 году, она все еще находилась в зените своей красоты. Ее отец, Александр, с каждым днем становился все более могущественным в Риме, в то время как ее брат держал в своих руках центральные государства Италии. Величие рода Борджиа оказало честь невесте Альфонсо д'Эсте, и хотя принцы Феррары поначалу приняли ее с неохотой, вскоре они были покорены ее милостью. Между принцессой и придворным ученым быстро завязалась дружба, которая с годами крепла и поддерживалась перепиской на расстоянии. Лукреции Бембо посвятил "Гли Асолани", диалог на итальянском языке о платонической любви, [380] безусловно, самое свободное и гениальное из его произведений. Сборник его латинских стихотворений содержит эпиграмму на золотую змею, обвитую над ее запястьем, и элегию, в которой он восхваляет ее пение, танцы, игру и декламацию:

Quicquid agis, quicquid loqueris, delectat: et omnes
Præcedunt Charites, subsequiturque decor.

Эта связь, прославившаяся в анналах итальянской литературы, обеспечила Бембо выдающееся место в большом мире. Трогательная память об этом — письма Лукреции и прядь ее длинных желтых волос - до сих пор хранится в Миланской библиотеке Амброзиана.

Из Феррары Бембо в 1506 году переехал в Урбино, где Гвидобальдо да Монтефельтре собрал вокруг себя блестящую группу, описанную в "Кортегиано". Кульминация этого трактата, нашего самого ценного источника информации о придворной жизни Италии, ясно показывает, что Бембо играл первую роль в кругу, который в то время отличался утонченностью и остроумием. Многие города могли бы похвастаться большим и более роскошным сборищем знатных гостей, но ни один из них не соперничал с Урбино по блеску манер и воспитанию придворных. В своем диалоге, восхваляющем Гвидобальдо, Бембо воздал великолепную дань уважения принцу, в обществе которого он так многому научился и на службе у которого оставался до самой смерти герцога. [381] Джулиано де Медичи, с которым он жил в близких отношениях в Урбино, взял его с собой в Рим в 1512 году. Правление Льва должно было пролить новый свет на изгнанников-Медичи. Его победное восклицание, обращенное к своему брату: *"Годиамочи иль Папато пойче Дио се л'ха дато"*, прозвучало многообещающе для их многочисленных друзей и клиентов. Даже без рекомендации Джулиано маловероятно, что Лео упустил бы из виду человека, столь близкого ему по сердцу, как Бембо. Качества, которыми он больше всего восхищался — приятные манеры, красивое лицо, остроумие в разговоре и полное владение латинским стилем, без претензий на глубокую образованность или большую целеустремленность, — были воплощены в изысканном венецианце. Бембо был именно тем человеком, который сделал жизнь Лео приятной, потакая его поверхностным вкусам и подчиняя способности высокообразованного ума легкомысленным, хотя и интеллектуальным

развлечениям. Церковник, предостерегавший Садолето от порчи стиля изучением Библии, прозаик, рассовывавший свои сочинения по шестнадцати папкам, пересматривавший их при каждом извлечении, стихосложитель, сочинивший гимн С. Стивен и монолог для Приапа с не меньшей элегантностью были отлиты по той же форме, что и любящий удовольствия понтифик. Восемь лет он прожил в Риме, почитаемый Медичи и любимый всеми, кто его знал. Обязанности секретаря Лео, которые разделял его старый друг и сокурсник Садолето, не были обременительными, в то время как столичное общество предоставляло возможность проявить его самые блестящие способности. В 1520 году, утомленный почти тридцатилетней непрерывной придворной жизнью и подорванный тяжелой болезнью, Бембо удалился в Падую. Создание библиотеки и музея, садоводство, переписка и культивирование изученного им цicerоновского стиля теперь занимали его досуг на протяжении девятнадцати самых катастрофических для Италии лет. Образованные придворные той эпохи любили, таким образом, изображать римлян на своих виллах, цитируя Горация и Вергилия о прелестях деревенской жизни и воображая, что они уловили дух Цинцинната, прогуливаясь по ферме. Падуанский приют Бембо стал местом встречи всех самых способных людей Италии, центром колеблющегося общества высочайшей культуры. Павел III. отозвал его в Рим и сделал кардиналом в 1539 году. Когда он умер в 1547 году, его похоронили недалеко от Льва в церкви Минервы. Его могила украшена изрядной мраморной плитой.

Бембо сменил Полициано на посту диктатора итальянской литературы. Как и Полициано, он был одновременно ученым и писателем на итальянском языке; но он был далек от всеобъемлющего понимания или гениальности своего предшественника. Из всех "обезьян Цицерона", над которыми насмехался Эразм, он стоял на первом месте. Его исключительная преданность одному любимому автору сделала его латынь жесткой и манерной. Тосканские критики снова жаловались, что его итальянскому стилю не хватает нерва и идиомы. Он писал как инопланетянин, не в той манере, в которой родился. В своем страхе написать неправильно он закончил тем, что выразил скучные мысли с холодной формальностью. Даже иностранец может увидеть, что он использовал итальянский, как использовал латынь, не поддаваясь естественному импульсу и постоянно прилагая усилия для достижения определенного идеала. Отметку файла можно увидеть на каждой точке. Энергичность и спонтанность - это слова, которые не имеют никакого значения применительно к нему. Упадок итальянской прозы, переходящей в натужную манерность и скрупулезную аккуратность, в значительной степени следует отнести к его влиянию. И все же Бембо заслуживает похвалы за то, что бросил вызов мнению ученых, используя вульгарный язык; и по этому поводу несколько стихов из латинской поэмы, посвященной Эрколе Строцци, заслуживают цитирования в примечании. [382]

Карьера Якопо Садолето мало чем отличалась от карьеры его друга Бембо, хотя у этих двух мужчин много различий в характерах и складе ума. Родившийся в Модене в 1477 году, он изучал латынь в Ферраре и греческий в Риме, где поселился в царствование Александра VI. Его копия гексаметров на недавно обнаруженной статуе Лаокоона сделала его знаменитым. Какими бы холодными и вымученными ни казались эти стихи нам, читающим их как призовое упражнение, они обладали достоинством оригинальности при первом написании. Лев сделал поэта своим секретарем и епископом Карпантраса. Садолето провел значительную часть своей жизни, выполняя обязанности своего престола, сочиняя моральные трактаты, комментируя Псалмы и публикуя "Комментарий к Посланию к Римлянам". [383] Хотя его вкус был сильно пропитан

чичероновским пуризмом, его вкус был более строгим, чем у Бембо. Природа наделила его интеллектом, приспособленным к серьезным занятиям, искренней целеустремленностью и истинным благочестием. Живя на заре Реформации, Садолето глубоко осознавал опасность, грозящую Церкви; не избежал он и подозрения в том, что разделяет новую ересь. [384] Его знаменитое письмо Клименту VII после разграбления Рима в 1527 году показывает, что он рассматривал это бедствие как наказание, наложенное на безбожную столицу христианского мира. В 1536 году Павел III. отозвал его в Рим и сделал кардиналом. Он умер в 1547 году и был похоронен в Сан-Пьетро-ин-Винколи. Переписку Садолето можно отнести к числу наиболее ценных материалов для литературных анналов того периода.

Рядом с Садолето должно быть найдено место для серьезного и прилежного Эджидио Канизио. Он родился в Витербо в 1470 году и, следовательно, был точным современником Бембо. Его способности к латинскому ораторскому искусству снискали ему славу великого оратора, и обращение, с которым он открыл Латеранский собор в 1512 году, в том же году было опубликовано в прессе. Эгидиус уже был генералом ордена Августинцев. Пять лет спустя он получил красную шапочку кардинала, а в 1518 году представлял Святой Престол в качестве легата при Испанском дворе. Он умер в 1532 году, оставив огромную массу разнообразных работ по теологии, философии, библейской критике и всеобщей истории. Немногие из них были напечатаны. Говорят, что, помимо греческого и латыни, он был мастером иврита и халдейского, турецкого, персидского и арабского языков.

Более блестящую фигуру представляет остроумный, но недобросовестный историк Павел Иовий. Он родился в Комо в 1483 году и приехал в Рим в возрасте тридцати трех лет, когда начало его всеобъемлющей истории уже было написано. [385] Лео, который с удовольствием слушал декламации новых литературных произведений, заявил, что со времен Ливия не было написано ничего более совершенного. Эта высокая оценка побудила Иовия обосновать свою резиденцию в Риме, где Климент VII в 1528 году сделал его епископом Ночеры. Проведя двадцать один год в постоянном разочаровании в ожидании быть принятым в Священную коллегию, он удалился в Комо и умер во Флоренции в 1552 году. Иовиус был самым умным из всех латинистов, созданных итальянцами. Его стиль беглый, искрящийся анекдотами, в высшей степени живописный в своих описательных пассажах и украшенный характерными деталями. В дополнение к историческим трудам он написал серию биографий большой и разнообразной ценности, некоторые из которых представляют собой пасквилы, другие - панегирики, в то время как все они отмечены острой наблюдательностью и мастерством владения предметом. Он обычно говорил, что может пользоваться золотым или серебряным пером по своему желанию: золотое было использовано при Жизни Льва; серебряное, пропитанное иронической желчью, - при Жизни Адриана. Зарисовки выдающихся людей, известных под именем "Элогия", были составлены в качестве иллюстрации к картинной галерее портретов, собранных на его вилле. Среди них не только итальянцы, но и греки, немцы, французы и англичане, достойные люди всех мастей, умершие и живые. [386] Если бы Брантом выбрал латынь вместо французского, у него получилась бы книга, мало чем отличающаяся от книги о Юпитере. Разносторонность автора была дополнительно проиллюстрирована латинским трактатом о римских рыбах и итальянским эссе о девизах и приспособлениях. [387]

Среди знаменитостей Римской академии особое место должно быть отведено Бальдассаре Кастильоне; ибо, хотя его биография относится скорее к политическим, чем к литературным анналам того периода, немногие мужчины представляют эпоху Льва в ее культуре с большим

достоинством и изяществом вместе взятых. Он родился в 1478 году в Казатино, в герцогстве Мантуя; семья его отца владела графством Кастильоне, а мать была из рода Гонзага. В юности он получил образование, основанное на системе, введенной в моду Витторино и Гуарино, и стал живой иллюстрацией тех разнообразных достижений, которые он описал в "Кортегиано". Его ученость была основательной и элегантною; как автор латинских стихов он выделился среди лучших людей своего поколения. Чувствительный к красоте искусства, он проявил себя превосходным критиком современной живописи и античной скульптуры и помогал Рафаэлю в написании его знаменитого письма Льву об исследовании старого Рима. В то же время он не пренебрегал спортивными упражнениями, которые были неотъемлемой частью воспитания итальянского дворянина. Образованный во всех отношениях, он рано посвятил свои способности службе принцам; ибо в тот период в Италии не было сферы деятельности для такого персонажа вне Двора. Проведя некоторое время в Милане и Неаполе, Кастильоне переехал в Рим, где Юлий II понял, что его можно использовать в интересах своего племянника Франческо Марии делла Ровере. Федерико да Монтефельтре, герцог Урбино, умер в 1482 году, оставив своему сыну Гвидобальдо все свои поместья и титулы; но было известно, что у этого принца не могло быть наследников. На нем закончилась мужская линия Монтефельтри. Его сестра Джованна была замужем за Джованни делла Ровере, братом папы римского, и Юлий надеялся, что их сын Франческо Мария может быть объявлен наследником герцогства Урбино. Поэтому Кастильоне привязался к персоне Гвидобальдо с особой целью стать нужным князьям Урбино и поддержать притязания Франческо, тогда еще пятнадцатилетнего мальчика. О своей резиденции в Урбино и изысканном великолепии двора Гвидобальдо он оставил незабываемый след в своем "Кортегиано", этом зеркале благородного воспитания Европы шестнадцатого века. Гвидобальдо принял графа Кастильоне с заметной благосклонностью, назначил его капитаном пятидесяти латников и нанял на несколько доверенных должностей. Не менее важной из них была миссия в Англию, предпринятая в 1506 году Кастильоне в качестве доверенного лица Гвидобальдо для получения ордена Подвязки от Генриха VII. вручение Ордена Подвязки. После смерти Гвидобальдо Франческо Мария делла Ровере был провозглашен герцогом Урбино, и Кастильоне продолжал пользоваться его доверием до 1517 года, когда Льву удалось посадить на герцогский трон своего племянника Лоренцо де Медичи.

Теперь Кастильоне был лишен того, что стало необходимостью его жизни, - почетного поста при дворе правящего монарха. Поэтому он передал свою верность своему естественному господину, маркизу Мантуанскому, который назначил его послом в Риме. Первый и самый блестящий период жизни придворного прошел в Урбино; второй, менее плодотворный в литературных достижениях, пришелся на его пребывание среди остроумцев круга Льва. В Риме Кастильоне приспособился к обычаям папского общества, сочиняя латинские элегии, общаясь с художниками и пользуясь приятным покровительством утонченного Мецената. Его дружба с Рафаэлем - не менее интересный эпизод в этой главе его биографии. Существенные упоминания об этом до сих пор сохранились в эпитафии, сочиненной придворным ученым художнику, и в портрете Кастильоне, ныне хранящемся в коллекции Лувра. Эта картина представляет собой саму модель итальянского аристократа, каким его сделали культура и придворная жизнь, — спокойного, с серьезными открытыми глазами и ртом, столь же подходящим как для вежливой беседы, так и для легкого веселья. Владелец этого лица был рожден не для того, чтобы руководить армиями или контролировать неуправляемые толпы, а для того, чтобы проводить время в *обществе* принцев - самодостаточных и способных завоевывать расположение без ущерба для личного достоинства. Он резко контрастирует с более

ранними и поздними портретами — например, с портретом Сигизмондо Пандольфо Малатесты и с испанскими грандами следующего столетия. Кастильоне все еще находился в Риме во время понтификата Климента VII, который, признав его большие способности дипломата, отправил его к Карлу V. В Мадриде папский нунций не смог предотвратить катастрофу 1527 года, и Кастильоне испытал горькое унижение, услышав на расстоянии, что Рим, который он так хорошо знал и любил, был разорен разбойниками из Германии и Испании. Однако из дипломатической переписки того памятного момента и из письма, адресованного Климентом матери Кастильоне в 1529 году, ясно, что он никогда не терял доверия своего господина; несмотря на неудачу в переговорах между ними, он пользовался одинаковым уважением папы и императора. Он умер в Толедо через два года после разграбления Рима, измученный, как говорят, разочарованием и сожалением. Не только в своей книге "Придворный", но и в своей жизни Кастильоне продемонстрировал лучшие качества итальянского джентльмена, сформировавшегося под влиянием политических и социальных условий шестнадцатого века в утонченного ученого и придворного дипломата.

Об Альберто Пио, жизнь которого в некоторых отношениях можно сравнить с жизнью Кастильоне, я имел возможность поговорить в [последней главе](#). Его двоюродный брат, Джан Франческо Пико делла Мирандола, требует большего, чем мимолетное внимание. Ни один правитель того смутного периода не испытывал жестоких перипетий итальянской политики более болезненно. Мало кто из ученых мог похвастаться более широкой образованностью и более благородным духом. Он родился в 1470 году и наследовал своему отцу Галеотто во владении Мирандолой. В 1502 году его брат Лодовико изгнал его из своей столицы. Юлий II. восстановил его. После того, как Тривульци, генерал французских вооруженных сил, во второй раз лишил его собственности, он снова был восстановлен в должности, но лишь на короткий период. Его племянник Галеаццо убил его в 1533 году перед распятием вместе со своим наследником Альберто. В промежутках своей беспокойной и несчастливой жизни Джан Франческо Пико посвящал себя занятиям, мало чем отличавшимся от занятий его более знаменитого дяди. [\[388\]](#) В ранней юности он испытывал сильнейшее восхищение Савонаролой; и произведение, по которому он наиболее известен потомкам, - это Жизнеописание его великого мастера. Принципы Савонаролы продолжали руководить его мыслями и поведением на протяжении всей жизни. Во время понтификата Льва он составил длинное обращение к Латеранскому собору о реформации Церкви, [\[389\]](#) и осмелился поддержать дружбу Рейхлина и Виллибада Пиркхаймера. Его резиденция в Риме и посвящение Льву его трактата о "Божественной любви" оправдывают наше причисление его к римским ученым.

Если Джан Франческо Пико и Садолето подводят нас вплотную к порогу немецкой Реформации, мы пересекаем его в компании Алеандра. Джером Алеандр родился в Мотте, на маршах Тревизо, в 1480 году. Его занятия, более обширные, чем у стилистов, включали теологию, философию и естественные науки, а также восточные языки в дополнение к незаменимым знаниям греческого и латинской культур. Не дожив до тридцати лет, он отправился в Париж и преподавал иврит и гуманитарные науки в университете. Можно сказать, что французская ученость берет свое начало от импульса, приданного этим предметам Алеандром, который приобрел такую известность, что был назначен ректором университета. Покинув Париж, он провел некоторое время в Германии и впервые прибыл в Рим в 1516 году в свите Эрарда ван дер Марка, епископа Люттиха. Здесь Лев назначил его библиотекарем Ватикана. Остаток жизни Алеандр провел на службе Церкви. Отправленный Львом в качестве *нунция* в Германию в 1520 году, он тщетно пытался, как известно всем изучающим Реформацию, погасить огонь,

зажженный Лютером. Когда он вернулся в Италию, Климент VII. дал ему архиепископство Бриндизи, а Павел III. возвел его в сан алого в 1538 году. Он умер в 1542 году, оставив во Франции память о своей непревзойденной учености, в Германии - славу нетерпимого гонителя, в Италии - репутацию стойкого, хотя и безуспешного защитника Церкви.

Три предшественника Алеандра в Библиотеке Ватикана — Томмазо Ингирами из Сиены, Филиппо Бероальдо из Болоньи и Занобио Аччиуоли из Флоренции — оставили след в римском обществе скорее благодаря эрудиции, чем авторству. [390] Красноречие Ингирами вызвало восхищение современников, которые называли его вторым Цицероном; как писатель он не был знаменитостью. [391] Удачная находка рукописи в Боббио принесла ему должность библиотекаря Ватикана. Лео, как и все члены семьи Медичи, был склонен к повторному открытию похороненных классиков. Но мир уже был разграблен, и, хотя он нанял для этой цели агентов как на Востоке, так и в Европе, было обнаружено только одно великое сокровище. Джан Анджело Арчимбольди откопал первые пять книг "Анналов" Тацита в Корви и продал их папе римскому за 500 золотых флоринов. Филиппо Бероальдо, на которого была возложена задача редактирования этого драгоценного кодекса, получил в награду библиотечное дело. Привилегия Лео, предоставленная печатникам издания Бероальдо, выражает по-настоящему благородным языком высочайший идеал гуманизма и отражает реальную заслугу его литературному покровительству. [392] Об Аччиуоли особо нечего сказать. Его знание иврита и классических языков снискало ему репутацию исключительного ученого. В качестве библиотекаря он начал составлять каталог документов "Секретной библиотеки", основанной Сикстом IV. Следует отметить, что Аччиуоли - единственный флорентинец, которого мы имели случай упомянуть среди ученых придворных Льва. Флоренция, всегда находившаяся в авангарде культуры, в этот период стряхнула с себя традиции строгого гуманизма. Ее величайшие писатели Гвиччардини, Макиавелли, Варки, Сеньи и Джаннотти заменили латинский язык своей родной речью и искали славы в областях, далеких от словесной науки или чичероновских тонкостей выражения.

Римский университет Сапиенца никогда не занимал того же ранга, что университеты Падуи или Болоньи; как академия культуры он также не мог конкурировать со средними школами Флоренции и Феррары. Папы эпохи Возрождения, занятые кумовством и политическим возвеличиванием, мало заботились об интересах образования. Рим, всегда переполненный иностранцами, также не нуждался в студентах, которые приносили обычаи и престиж в небольшие города. [393] Лев X. решил, насколько это было в его силах, вывести исследования своего капитала из упадка, в который они впали. В 1513 году он реформировал устав университета, увеличил штат профессоров и основал несколько новых кафедр. И все же, хотя среди учителей числились ученые не менее респектабельные, чем Янус Паррасий из Козенцы, Томмазо Ингирами и Филиппо Бероальдо, сапиенца не смогли прочно пустить корни в Риме: самой процветающей школой гуманизма в тот период была Феррара, которой управляли Леоничено, Челио Кальканьини и Лилиус Гиральдус. Эллинистическим исследованиям, которые в Италии как раз находились на грани упадка, Лев придал импульс созданием греческой прессы и основанием гимназии Кабаллини Монтис, где читали лекции Иоанн Ласкарис и Маркус Мусурус. Мусуруса мы уже узнали как обитателя дворца Альберто Пио в Карпи и как самого эффективного помощника Альдо. Вскоре после своего восшествия на папский престол Лев пригласил преподобного Ласкариса в Рим; но он недолго пользовался услугами столь прославленного эллиниста. Ласкарис, преподававший греческий язык в Париже во времена правления Карла VIII и долгое время служивший Людовику XII. будучи

послом в Венеции, Франциск I побудил его руководить библиотекой в Фонтенбло в 1518 году. Он еще раз посетил Рим во время понтификата Климента и умер там в возрасте девяноста лет - последний из греческих изгнанников, переселившихся из Эллады в Лаций. Между визитом Мануэля Хрисолораса в 1398 году и смертью Джона Ласкариса в 1535 году прошло более столетия, в течение которого Италия, [394] после приобретения греческой литературы и передачи ее главных сокровищ прессе ее знания вышли за пределы Альп и расцвели с новой силой на северной земле. Эпитафия, сочиненная Ласкарисом для его собственной могилы в Санта-Агате, трогательно выражает скорбь изгнанника из-за рабства в своей стране вместе с благодарностью человека, нашедшего новый дом на чужой земле:

Λάσκαρις ἄλλοδαπῇ γαίῃ ἐνικάτθετο, γαίην
οὔτι λίην ξείνην ὥξενε μεμφόμενος.
εὔρετο μελιχίην, ἄλλ' ἄχθεται εἴ περ Ἀχαιοῖς
οὐδ' ἔτι χοῦν χεύει πάτρις ἐλευθέριον.

Любой рассказ об эрудированном обществе Рима был бы неполным без упоминания о его антикварах. В то время как папа и его кардиналы были увлечены коллекционированием статуй, монет, ваз и надписей, было естественно, что ученые посвятили себя их иллюстрированию. Большая часть этой работы велась академиками, которые обсуждали трудные чтения и обменивались мнениями на своих встречах. Существовало множество трактатов о римских древностях, топографических очерков и комментариев к Витрувию и Фронтину. Среди множества второстепенных работ будет достаточно упомянуть циклопедии Андреа Фульвио и Бартоломмео Марлиано, обширное собрание надписей Мазочи и диссертацию Валериано об иероглифах римских обелисков. [395] Большее количество этих сочинений было опубликовано Якопо Мазочи, книготорговцем Римской академии и сам неплохой ученый. Вместе со своим напарником Франческо Альбертини он предпринял то, что сам называет "геркулесовым трудом", - спас таблички с надписями из печи для обжига извести и каменного молотка. Встроенные в стены домов, вмурованные в тротуары церквей, смешанные с мусором Форума, раскопанные мотыгой или плугом на виноградниках и кукурузных полях, эти свидетельства древней истории обременяли Рим. Чтобы расшифровать их как можно лучше, расположить по регионам, где они были найдены, и объединить свои собственные чтения с предыдущими коллекциями Чириако и фра Джокондо, [396] была целью Мазочи. Его работы составили ядро объемистой коллекции, известной как *Corpus Inscriptionum*.

Это подходящий повод вернуться к тому, что следует сказать о римских руинах и чувстве к ним, проявленном в эпоху Возрождения. Мы уже слушалисьетования Поджио по поводу их постепенного распада из-за бессмысленных травм и истечения времени. [397] Пий II, имевший большой вкус к топографическим исследованиям, попытался защитить римские памятники от разграбления Буллой в 1462 году. Но его преемники были менее щепетильны. Даже ученый Николай V. проявлял больше рвения к возрождению современного Рима, чем истинного уважения к имперскому городу. Он сравнял с землей большие участки стены Сервия Туллия и построил Храм Мира для своих собственных построек. В свое время Блондус писал, что его жизнь была омрачена массовой растратой древних реликвий. Этот Павел II. следовало бы использовать каменную стену Колизея для дворца Сан-Марко; это Сикст IV. следовало бы снести круглый храм Геркулеса и разрушить самый старый мост через Тибр, чтобы делать пушечные ядра; этот Иннокентий VIII. следовало бы уполномочить своих архитекторов брать любую старинную кладку, какая им заблагорассудится, — это неудивительно; эти папы

действовали в соответствии с духом, который был в них самих. Также нельзя отрицать, что некоторые из их актов вандализма можно было бы оправдать полезностью или даже необходимостью. Однако удивительно, что не было предпринято никаких шагов для сохранения в Риме барельефов и скульптур с разрушенных таким образом памятников. Каждый, кто хотел, прикладывал к ним руки. Поджио собрал все, что мог; Помпоний Лет основал музей; Лоренцо Медичи и Ручеллаи наняли агентов для отбора и отправки во Флоренцию отборных фрагментов. Наконец импульс к коллекционированию овладел самими папами. Капитолийский музей датируется 1471 годом. Красивая статуэтка мальчика, вытаскивающего колючку из ноги, группа льва, цепляющегося за лошадь, урна Агриппины и бронзовый Геркулес из Боариума Форума составили ядро этой коллекции. Вскоре после этого конная статуя Марка Аврелия была раскопана и установлена там, где она стоит сейчас. Музей Ватикана был основан в 1523 году, когда Юлий II воздвиг статую Аполлона на мраморном основании у входа в сады Бельведера. Он был обнаружен несколькими годами ранее в Порто д'Анцо и был куплен Джулиано делла Ровере еще до того, как он стал папой римским. Лаокоон появился на свет в 1506 году среди руин Бань Тита на винограднике Феликса де Фредиса. О том, как Джулиано ди Сан-Галло и Микеланджело узнали о нем и отправились за границу, чтобы увидеть, как его извлекают из могилы, все еще можно прочитать в письме Франческо, племянника первого. Юлий купил эту группу за шестьсот золотых крон и поместил ее в Ватикане. Он также приобрел статую спящей Ариадны, которая затем выдавалась за Клеопатру, [398] вместе с торсом Геркулеса, найденным возле Палаццо Пио, и статуей Коммода, откопанной на Кампо Фьоре. Лев X еще больше обогатил коллекцию лежащими статуями Нила и Тибра, найденными среди руин Изеума близ Сан-Стефано в Како, и так называемым Антиноем, обнаруженным в банях Траяна.

Чувство признанных знатоков к этим шедеврам классического искусства проявляется в стихотворениях Садолето и Кастильоне, в то время как отрывок из комментария Гиберти выражает энтузиазм технических скульпторов. Описав гермафродита, которого он видел в Риме, флорентийский скульптор добавляет: "Выразить совершенство знаний, мастерства и искусства, проявленных в нем, находится за пределами возможностей языка. Его более изысканную красоту невозможно было открыть взглядом, а только прикосновением руки, проведенной по нему". О другом классическом мраморе из Падуи он говорит: "Эта статуя, когда восторжествовала христианская вера, была спрятана в том месте какой-то нежной душой, которая, увидев ее такой совершенной, выполненной с таким замечательным искусством и с такой силой гения, и проникнувшись благоговейной жалостью, приказала построить гробницу из кирпича, и там внутри похоронили статую, и накрыли ее широкой каменной плитой, чтобы она никоим образом не пострадала. В нем очень много милых красот, которые не могут постичь одни глаза ни при ярком, ни при умеренном освещении; только рука, прикоснувшись, обнаруживает их". [399] Между тем подлинное чувство истинности и красоты античного искусства передавалось от образованных классов к людям. Подобно всем сильным эмоциям, которые воздействуют на народное воображение в эпохи несовершенных знаний и высокой чувствительности, это приняло форму басни. Прекрасный миф о трупке Джулии - наше самое ценное свидетельство этого момента в истории Возрождения. [400] В то же время было лучше понято истинное предназначение классической скульптуры. Донателло не напрасно трудился для публики, чувствительной к эстетическим влияниям и воспитанной двумя столетиями местного искусства. Всадники Монте-Кавалло перестали быть философами. Менандр и Посейдипп больше не причислялись к святым. В эпоху Льва Карло Малатеста не смог бы

бросить статую Вергилия в Минчо; [401] также Сиенская республика не стала бы тайно хоронить свою античную Венеру на территории Флоренции, надеясь таким образом переложить на своих врагов проклятие язычества. [402] Эффект, производимый статуями Бельведера на менее впечатлительных натур, прослеживается в любопытном документе, составленном венецианским послом в Риме в 1523 году. [403] Это настолько ценно для иллюстрации средней культуры итальянцев той эпохи, что я могу позволить себе удовольствие дать о ней полный отчет.

Адриан VI вскоре после своего восшествия на престол замуровал одиннадцать из двенадцати дверей, ведущих в бельведер. Венецианские посланники, однако, получили разрешение посетить эту часть Ватиканского дворца, и единственный вход был для них открыт. Описав красоту садов, их кипарисов и оранжерей, зелень лужаек и величественный порядок мощеных аллей, автор репортажа переходит к статуям. "Посреди сада лицом друг к другу стоят два очень больших мраморных человека, вдвое больше человеческих ростов, которые лежат в позе спящего. Один из них - Тибр, другой - Нил, фигуры огромной древности; и из-под них бьют два прекрасных фонтана. У первого входа в сад, по левую руку, есть что-то вроде маленькой часовни, врезанной в стену, где на мраморном пьедестале стоит знаменитый во всем мире Аполлон, статуя несравненной красоты и достоинства, в натуральную величину и из тончайшего мрамора. Несколько дальше, в такой же нише, воздвигнутой на таком же пьедестале на высоту алтаря от земли, напротив колодца самого совершенного вида, находится прославленный во всем мире Лаокоон, статуя высочайшего совершенства, размером с натурального человека, с волосатой бородой, полностью обнаженная. Сухожилия, вены и соответствующие мышцы в каждой части видны так же хорошо, как в живом теле; не хватает только дыхания. Он находится в позе между сидением и стоянием, со своими двумя сыновьями, по одному с каждой стороны, оба вместе с ним обвиты змеями, как говорит Вергилий. И в этом видна столь великая заслуга художника, что лучше и быть не могло; изнывающие и умирающие видны насквозь, и один из мальчиков справа крепче всего схвачен дважды обвившейся вокруг него змеей; один из витков пересекает его грудь и сдавливает сердце, так что он находится на грани смерти. Другой мальчик с левой стороны тоже опоясан другой змеей. Пока он пытается стащить разъяренного червяка со своей ноги своей маленькой ручкой и совсем не может удержаться, он поднимает заплаканное лицо, взывая к своему отцу и держа его другой рукой за левую руку. И, видя, что его несчастный отец поражен еще сильнее, чем он сам, ясно видно двойное горе этого ребенка: одно - из-за его собственной приближающейся смерти, другое - из-за беспомощности его отца; и он так падает в обморок, что ему ничего не остается, как испустить последний вздох. Невозможно, чтобы человеческое искусство смогло создать такой великий и естественный шедевр. Каждая деталь совершенна, за исключением того, что у Лаокоона отсутствует правая рука. На вид ему около сорока лет, и он напоминает мессера Джироламо Марчелло из Сан-Томмазо; оба мальчика выглядят на восемь и девять лет соответственно. Неподалеку и в таком же положении находится очень красивая Венера натурального размера, обнаженная, с небольшой драпировкой на плечах, прикрывающей часть талии; фигура настолько прекрасная, насколько это может вообразить разум; но совершенство Лаокоона заставляет забыть об этом и об Аполлоне, который раньше был так знаменит".

Систематический план изучения памятников старого Рима, раскопок его руин и извлечения на свет зарытых сокровищ скульптуры был разработан Рафаэлем в 1518 году. Лео сделал его начальником работ в соборе Святого Петра и генеральным смотрителем древностей. [404] Некоторое время назад он изучал Витрувия в итальянском переводе, подготовленном для него

Фабио Кальви из Равенны. С каким энтузиазмом он следовал по следам древних, наглядно доказывают арабески Лоджии, скопированные с фресок Терм Тита. Незадолго до своей смерти он составил план города, разделенный на четырнадцать районов, и изложил свой проект в памятном письме папе Римскому. Это послание, написанное отборным староитальянским языком, неоднократно печаталось: его можно найти в книге Пассавана "Жизнь художника". Рафаэль начинает с описания заброшенности города и характеризует несколько его архитектурных стилей — классический, ломбардский, готический и современный. [405] Некоторые фразы, встречающиеся в этом отрывке, заслуживают того, чтобы их процитировали, поскольку они проливают свет на страсть, вдохновлявшую тех первых экскаваторов. 'Considerando la divinitate di quelli animi antichi ... vedendo quasi il cadavere di quest'alma nobile cittate, che è stata regia del mondo, così miseramente lacerato ... quanti pontefici hanno permesso le ruine et disfacimenti delli templi antichi, delle statue, delli archi et altri edifici, gloria delli lor fondatori! Quanti hanno comportato che solamente per pigliare terra pozzolana si siano scavati i fondamenti! Onde in poco tempo li edifici sono venuti a terra. Quanta calcina si è fatta di statue e d'altri ornamenti antichi! че ардирей, че тутта квеста нова Рома, че гор си веде, кванто гранде челла в Италии, кванто белла, кванто орнаата ди паллацци, ди кьезе и ди альтри эдифиции, sia fabrica di calcina fatta di marmi antichi". [406] Затем он замечает, что за двенадцать лет своей жизни он "резиденция в Риме Мета на Виа Александрина, арки у входа в Термы Диоклетиана и Храм Цереры на Виа Сакра, часть Форо Транзиторіо и большая часть базилики дель Форо были разрушены. Поэтому он молит Льва пресечь это дело рук новых вандалов и, следуя хорошо продуманной схеме операций, обнажить и защитить то, что еще осталось от античных памятников в Вечном городе.

Собственная смерть Рафаэля последовала вскоре после создания первой части римской карты, разработанной им самим. Его начинание вызвало большой интерес в мире литературы, и его провал из-за его безвременной кончины вызвал сильнейшее разочарование. Эпиграммы, процитированные ниже в сноске, выражают эти чувства с большей глубиной эмоций, чем академическая элегантность. [407] Каким образом был бы выполнен замысел Рафаэля, угадать невозможно. Археологическое рвение бессильно остановить ход времени, разве что пожертвовав многим, что само по себе делает почитаемым пренебрежение; и можно справедливо усомниться, разумно ли возлагать руку реставратора на эти реликвии прошлого. По крайней мере, мы, кто за последние несколько лет видел Колизей и Термы Каракаллы, лишенные романтической растительности, руины Палатина, укрепленные современной каменной кладкой, и сомнительные догадки антикваров, вывешенные на указателях в назидание воскресным посетителям, можем почувствовать, что величественному труп древнего Рима все еще уготована участь похуже, чем медленное разложение или безжалостное увечье. По правде говоря, нет ничего менее возвышенного или более жалкого, чем разобранная кирпичная стена, лишенная мрамора и мозаики, лишенная растительного покрова, которым наградила ее природа, залатанная штукатуркой, подпертая каменной кладкой, связанная балками и испещренная следами чего—то похуже улиток или слепней - педантов, помешанных на реставрации.

Непосредственным и наиболее важным следствием этих антикварных изысканий стало принятие архитекторами и художниками классических форм. Художники-фресковщики подражали недавно обнаруженным *гроттескам* в своих арабесках. [408] Скульпторы отказались от христианских сюжетов ради античной мифологии или наделили атрибутами героев святых католической церкви. Принципы Витрувия были максимально строго применены

к современным зданиям, и свободное убранство раннего Возрождения уступило место тому, что считалось чисто классическими орнаментами. Было бы неверно утверждать, что это воспроизведение античности в искусстве датируется только эпохой Льва. Альберти и Брунеллески, Браманте и Микеллоццо, каждый по-своему, стремились приспособить для современного использования стиль римской архитектуры. Донателло и Микеланджело во Флоренции вырезали статуи в классической манере; и арабески Синьорелли в Орвието, Перуджино в Перудже не менее причудливы, чем у Рафаэля в Лоджии. Что действительно произошло, так это то, что подражание древним стало более пуристичным и точным благодаря формированию общего вкуса, который навязывался художникам всей тяжестью авторитета. "Палаццо дель Те" Джулио Романо в Мантуе можно назвать самым совершенным произведением этой эпохи, сочетающим в себе все формы античного убранства и строительства с яркой индивидуальностью гения. Джулио Романо постигал античность и следовал ей с энтузиазмом неопита. Но сами его недостатки не позволили ему впасть в холодный формализм Палладио.

Причины превосходства Рима в эту последнюю эпоху гуманизма не заставляют себя долго искать. Благодаря политике Александра и Юлия Папский престол стал главной державой в Италии. Венеция никогда публично не поощряла литературу, и амбиции ее знати не были направлены ни на что иное, кроме возвышения Республики. В начале шестнадцатого века их энергия была нужна уже не для расширения венецианского владычества, а для его сохранения в условиях нападения Европы, объединившейся против морского города. Флоренция, разделенная между партиями Пьянони и Оттимати, приберегла свою угасающую энергию для великой борьбы 1529 года. Медичи, впитав остатки умственных сил в свой собственный круг, перенесли флорентийские традиции культуры вместе с Джованни и Джулио в Рим. В Неаполе арагонская династия уже была потрясена до основания заговором баронов и завоеванием Карла VIII. Фердинанд католик и Людовик XII. теперь они были намерены разделить южные провинции Италии между собой. Оставалось мало возможностей, если и оставалась склонность, покровительствовать литераторам при Дворе, с подозрением относившемся к своей аристократии и напуганном иностранным вмешательством. Милан, первый среди городов Ломбардии, был обречен принять на себя основную тяжесть французской, швейцарской и немецкой армий. Стремление сохранить видимость своего герцогства довело слабость Сфорца до предела, в то время как народ стонал от дьявольской жестокости испанских губернаторов. Более мелкие княжества были разрушены Чезаре Борджиа и Юлием. Только Феррара, Мантуя и Урбино в начале века продолжали традиции предыдущей эпохи. Тем временем Рим, каким бы ненадежным ни было папское правление, по-прежнему входит в число европейских держав, проводя политику на равных с Францией и Испанией. В Риме было изобилие денег, и священный город христианского мира еще не испытал на себе бедствий войны, которые сломили дух северных столиц. Поэтому было вполне естественно, что политическая и интеллектуальная энергия итальянцев сосредоточилась именно здесь.

Однако Риму предстояли печальные времена. Когда преемник Льва прочитал латинские письма апостольских секретарей, он воскликнул: "*Sunt litteræ unius poetæ*"; и, пройдя по галерее Бельведера, он дал волю своим чувствам в знаменитом восклицании: "*Sunt idola antiquorum*". Гуманистам нечего было ожидать от такого учителя. Избрание Джулио Медичи возродило надежду на то, что Рим снова может стать таким, каким он был под властью Льва. Однако для Климента VII. была сохранена последняя горечь полного разорения. На четвертый год его папства произошла катастрофа, которая закрыла один период итальянской истории и открыла

новую эру для Рима и для нации. История с мешком уже была рассказана. [409] Подходящий вывод для этой главы можно найти в рассуждениях Валериано о его связи с литературным обществом, собранным Медичи при папском дворе.

Диалог Валериано "О литературе несовершенной" начинается описанием Рима в период понтификата Льва. [410] Никогда со времен падения Империи, говорит он, литература не процветала так свободно и образованные люди не находили более щедрого покровительства. В этой блестящей компании Валериано сам был украшением. Друг Эгидия и любимец Льва, он проводил время за сочинением латинских стихотворений, панегирических и сатирических, а также за исследованием древностей. Впоследствии он стал протонотарием Климента и руководил образованием бастардов Медичи Алессандро и Ипполито. Удача привела его в Пьяченцу в роковой 1527 год. Вернувшись в Рим после осады, он тщетно искал своих старых товарищей и единомышленников. "Боже милостивый! - восклицает он в представленном перед нами диалоге. - Когда я впервые начал расспрашивать о философах, ораторах, поэтах и профессорах греческой и латинской литературы, чьи имена были написаны на моих табличках, какая великая, какая ужасная трагедия предстала передо мной! Из всех этих образованных людей, которых я надеялся увидеть, сколько несчастных погибло, унесенных самой жестокой из всех судеб, пораженных незаслуженными бедствиями: одни умерли от чумы, других медленно довела до конца нищета в изгнании, другие были убиты вражеским мечом, третьи измучены ежедневными пытками; некоторые, опять же, и эти самые несчастные, доведенные тоской до самоубийства." Джон Гориц, захваченный в плен своими соотечественниками, выкупил себя, пожертвовав всем своим богатством, и теперь был убит. умирает от отчаяния в Вероне. Колоччи видел, как его дом с его музеями и рукописями сгорел у него на глазах. Анджело Чези, с которым испанские солдаты жестоко обращались на больничной койке, скончался от полученных травм до конца года. Мароне, блестящий импровизатор, лишенный всего и своих стихов, сочинений, накопленных за годы, проведенные на службе у Лео, испустил дух в жалкой таверне. Марко Фабио Кальви, друг и учитель Рафаэля, скончался от болезни в больнице. Юлиан Камерс, обезумев при виде мучений, которым подвергались его слуги, выбросился из окна своего дома и погиб. Профессор Балдус, посмотрев его комментарий к Плинию, который использовался для разжигания солдатских костров, сам умер от голода. Поэт Казанова стал жертвой чумы. Паоло Бомбази, другой поэт, был убит на улицах Рима. Кристофоро Марчелло был замучен испанцами. Выставленный голым на дереве, эти человеческие изверги ежедневно вырывали у него ногти из пальцев; он вырвался из их лап только для того, чтобы умереть от полученных ран в Гаэте. Лаомедонт Тардолус и Джон Бонифаций Виктор подверглись подобным унижениям и пыткам. Франческо Фортуньо и Джон Вальдес покончили с собой. Перечисление всех ученых, павших жертвой страха, чумы, голода, пыток и тюремного заключения в тот роковой год; рассказ о том, как многие покинули Рим, лишившись всего, чтобы скитаться по Италии и умереть от голода на обочине дороги или от лихорадки в низких лачугах; описание потерь их рукописей, их безумия, нищенства, таинственных исчезновений и смертей от рук слуг или разбойников на больших дорогах, заняло бы больше места, чем у меня осталось в распоряжении. Ужасный список призывников рассказан Валериано с ужасающей лаконичностью, который добавляет множество примеров, не связанных с увольнением, о ранних смертях из-за переутомления в учебе, затяжных болезнях, убийствах от яда или ножа и несчастных случаях любого рода, более или менее напрямую связанных с изменением карьеры студентов в то время в Италии.

Хотя войны в Ломбардии оказались едва ли менее роковыми для литераторов, чем осада Рима, эти бедствия обрушивались поодиночке и с интервалами. Приснопамятная сцена Вечного города была отведена для кульминации трагедии искусства и литературы. Какие бы порочные семена ни были посеяны гуманистами в Италии, они расцвели и принесли плоды в Риме; и там возмездие гордыни и высокомерия, безбожия и порочной жизни обрушилось на них подобно удару молнии с небес. В эссе, посланиях и надгробных речах они полностью признавали справедливость своего наказания. Фраза Иеронима Нигера из письма Садолето — "Рим, это вместилище всего постыдного и отвратительного" - могла бы послужить воплощением их мучимых совестью Иеремиад. [411] Вся Италия вторила этим стенаниям; и хотя Климент VII. и Павел III. сделав все возможное, чтобы восстановить руины золотого дома славы Лео, нотам отчаяния и тоски, произнесенным учеными в 1527 году, больше никогда не суждено было заглушиться хоровым гимном или триумфальным пением. То, что осталось от гуманизма среди итальянцев, приняло иную форму, приспособленную к новому правлению испанцев и новому отношению Церкви. На смену эпохе гуманистов пришла эпоха инквизиторов и иезуитов.

ГЛАВА VIII ЛАТИНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Особые причины практики латинского стихосложения в Италии—Отсутствие итальянского языка—Множество поэтов—Беккаделли—"Филодокс" Альберти—Полициано—"Сильве"—"Нутриция", "Рустикус", "Манто", "Амбра"—Второстепенные поэмы—Понтано—Санназаро—Элегии и эпиграммы—Христианский эпос—"Христиада" Вида — "Поэтика" Вида—Фракасторо—"Сифилис"—*Лесть* Барокко—Бембо—Безнравственные элегии—Подражания Овидию и Тибуллу—"Бенакус"—Эпитафии—Наваджеро—Эпиграммы и эклоги—Молса—Поэма о собственной смерти—Кастильоне—"Алкон" и "Ликидас"—Стихи общества—Апофеоз пап—Поэма об Ариадне Ватиканской—Стихи Садолето о Лаокооне—Фламинио—Его жизнь—Любовь к Родине—Ученые друзья —Ученые-Поэты Ломбардии—Исчезновение образования во Флоренции—Упадок итальянской эрудиции.

История этого последнего периода Возрождения была бы неполной без обзора его латинской поэзии. Я не смог бы дать правильного представления о тенденциях гуманизма, если бы не показал, что итальянцы стремились не просто приобрести знания о древней литературе, но и возродить античность в своих собственных произведениях. Считая себя наследниками Рима, отделенными от блестящего периода латинской цивилизации десятью веками невежества, они изо всех сил стремились ухватиться за нить культуры в том самом месте, где ее обронули поэты Серебряного века. По мнению северных народов, могло показаться неестественным или непатриотичным добиваться муз на мертвом языке; но для италиков камоэнс не умер; на холмах Лациума, где они уснули, они могли снова проснуться. Каждый знакомый вид и звук напоминал о "богатом виргилианском деревенском ритме" "Георгики" и "Буколики". Природа не изменилась, и поэты не ощущали влияния христианства настолько глубоко, чтобы не находить смысла в мифической фразеологии фавнов и нимф.

Опять же, латынь была для итальянцев гораздо менее языком прошлого, чем для других европейских народов. Какому риску подвергся тосканский диалект, когда Данте написал

первые строки "Божественной комедии" на латыни и когда Петрарка получил лавровый венец по праву своей "Африки", известно каждому студенту. Серьезные усилия величайших писателей на протяжении веков были посвящены латинской композиции, поскольку они верили, что нация, как в современном, так и в древнем мире, может свободно использовать речь Цицерона и Вергилия. Их *вольгарийские высказывания* они презирали как пустяки, не рассчитав бессилия ученых или королей отклонить потоки языка от их естественного русла. И эта слепота не была такой уж необъяснимой, как кажется нам на первый взгляд. В Италии не было общего диалекта; "Italiano Illustre" Данте, или "Cortegiano", было еще менее родным для народа в целом, менее универсальным в использовании, чем латынь. [412] Заимствованный из тосканского языка для литературных целей, отобранный из словаря культурных людей, лишенный местных идиом и изученный в работах нескольких стандартных авторов, он сам по себе, на почве, которая его породила, был продуктом высокого искусства и сознательной культуры. Необходимость перевода "Божественной комедии" на латынь, возникшая вскоре после смерти Данте, в достаточной степени доказывает, что латинская поэма завоевала большую аудиторию, чем шедевр итальянской литературы. В то время как певец диалекта, каким бы благородным он ни был, обращался к своим согражданам, латинский поэт дарил свои стихи *urbi et orbi*. Если бы требовалось другое доказательство искусственности итальянского языка, мы нашли бы его в том факте, что фразы Петрарки сейчас устарели не меньше, чем в четырнадцатом веке. Англичанам требуется глоссарий для Чосера, и даже обычаи елизаветинской эпохи устарели; другими словами, язык народа перерос стиль его первых поэтов. Но итальянский язык с тех пор, как он только начался, не претерпел никакого процесса трансформации и возрождения в соответствии с законами органического роста. Разные районы до сих пор используют разные диалекты, в то время как писатели во всех частях полуострова, насколько это возможно, приспособили свой стиль к ранним тосканским образцам. Может возникнуть вопрос, не собирается ли объединенная Италия, впервые создавая необходимые условия для национальной концентрации, вступить в новую фазу литературного роста, которая по прошествии многих лет сделает стиль первых авторов более архаичным, чем это кажется в настоящее время.

Приведенные выше наблюдения были необходимы для того, чтобы объяснить, почему культивирование латинской поэзии не было для итальянских ученых простой игрой. Особое направление, данное Петраркой классическим исследованиям с самого начала, также должно быть принято во внимание. Мы видели, что он рассматривал риторику и поэзию как две главные цели гуманизма. Стать поэтом или оратором было целью всех студентов, утоливших свою жажду у касталийских источников древней учености. Филология и поэзия, соответственно, шли рука об руку в периоды Возрождения; и к этому первому импульсу мы, возможно, вправе отнести то важное место, которое отводилось латинскому стихосложению в наших собственных школьных исследованиях.

Поскольку поэзия, таким образом, рассматривалась как необходимая отрасль науки, из этого следовало, что лишь немногие люди, отличавшиеся своей образованностью, воздерживались от стихосложения. Педанты, которые могли делать только то, что заставляли читать прозаических элégиков, и ученые, уважаемые своими знаниями, но лишенные вдохновения, считались *среди жертвоприношателей*. Было бы утомительной задачей — нет, безнадежной — провести обзор всех латинских стихотворцев эпохи Возрождения. Имя им — легион; даже сосчитать их было бы то же самое, что пронумеровать звезды *-ad una ad una annoverar le stelle*. Можно считать удачей, что, возможно, большая часть их произведений все еще остается в

рукописи, отчасти потому, что они предшествовали эпохе книгопечатания, а отчасти, без сомнения, потому, что здравый смысл того времени отверг их. Однако то, что было напечатано, по объему превосходит "Корпус латиноамериканских поэтов" и представляет такое множество разновидностей, что невозможно иметь дело с чем-то большим, чем просто подборка. [413]

Поэтов первых двух периодов нет необходимости принимать во внимание. Борясь с несовершенным усвоенным языком и с правилами просодии, которые еще мало кто понимал, они делали все, что могли, чтобы выразить себя в метре. Об эlegantности композиции не могло быть и речи, когда писатель не мог ни с легкостью излагать современные мысли, ни с точностью имитировать классический стиль. То, что он потерял в силе, используя мертвый язык, он не приобрел в польском; вкус того времени не был приучен ценить тонкости античной дикции. Один только Беккаделли, благодаря определенной ясной беглости речи, достиг определенной степени совершенства; и можно усомниться в том, сколь многим он был обязан своему выбору предмета. Непристойность его тем и дерзость, необходимая для их выражения, возможно, послужили стимулом для его ничем иным не выдающегося гения. Более того, нет никакого серьезного конфликта, с которым можно бороться фразами, когда тема автора - просто анимализм. Остальные его современники, включая Филельфо, лишь облегчали путь своим преемникам, практикуясь в технике стихосложения и захватывающем подражании. Превзойти их грубые достижения было несложно, в то время как слава, которой они пользовались, пробудила амбиции более молодых соперников. Исключение из этого огульного вердикта может быть сделано в пользу Альберти, чья латинская пьеса под названием "Филодокс" была блестящим произведением литературного мастерства. [414] Он не только произвел впечатление на современников как подлинная классика, но, даже если судить по современным стандартам, демонстрирует настоящее знакомство с языком латинской комедии и редкое мастерство в его использовании.

Полициано - первый латинский поэт, привлечший к себе внимание в пятнадцатом веке; и никто из его многочисленных преемников не превзошел его по плодovitости замысла и мастерству владения метром. При всех его недостатках стиля и грубоватой дикции Полициано, на мой взгляд, заслуживает главного места среди оригинальных поэтов возрожденной латинской литературы. Бембо писал более элегантно, Навагеро - более классически, Амальтео - с более обаятельным изяществом. И все же эти стихотворцы обязаны своей известностью совершенству имитации. Полициано обладал собственной манерой выражать мысли, знакомые для эпохи, в которую он жил, мертвым языком. Он не просто шел по старой почве элегии, эпиграммы, сатиры и идиллии. Открыв для себя новый путь и нацелившись на обучение, он изливал потоки гекзаметров, возможно, грубых и чересчур беглых, но отмеченных интеллектуальной энергией и богатой фантазией, в качестве иллюстрации образованности современного студента. Эта свобода обращения с наибольшим преимуществом показана в его "Сильве". [415]

"Нутриция" представляет собой введение в историю поэзии в целом и несет в своем энергичном потоке вес универсальной эрудиции. Из нее мы узнаем, как самый выдающийся ученый своего столетия оценивал и выделял всю совокупность изящной литературы, которой обладали его современники. При выходе человечества из состояния варварства, пишет Полициано, поэзия была дана людям как утешение в жизненных невзгодах и как инструмент культуры; их первой кормилицей в колыбели цивилизации была Муза:

Musa quies hominum, divomque æterna voluptas. [416]

После краткой, но красноречивой характеристики языческих оракулов, мифических бардов Эллады и поэтов-пророков еврейской расы Полициано в следующих строках обращается к описанию двух главных эпических исполнителей:

... etenim ut stellas fugere undique cælo,
Aurea cum radios Hyperionis exeruit fax,
Cernimus, et tenuem velut evanescere lunam;
Sic veterum illustres flagranti obscurat honores
Lampade Mæonides: unum quem dîa canentem
Facta virum, et sævas æquantem pectine pugnâs,
Obstupuit, prorsusque parem confessus Apollo est.
Proximus huic autem, vel nî veneranda senectus
Obstiterit, fortasse prior, canit arma virumque
Vergilius, cui rure sacro, cui gramine pastor
Ascræus, Siculoque simul cessare volentes. [417]

Затем следует перечисление менее известных греческих и римских эпопеистов. После них лиристы и элегические поэты, среди которых Пиндар прославлен в следующем высокопарном абзаце:

Aërios procul in tractus, et nubila supra
Pindarus it Dircæus olor, cui nectare blandæ
Os tenerum libâstis apes, dum fessa levaret
Membra quiete puer mollem spirantia somnum;
Sed Tanagræa suo mox jure poetria risit,
Irrita qui toto sereret figmenta canistro;
Tum certare auso palmam interceptit opimam
Æoliis prælata modis atque illice formâ.
Ille Agathocleâ subnissus voce coronas
Dixit Olympiacas, et quâ victoribus Isthmos
Fronde comam, Delphique tegant, Nemeæaque tesqua
Lunigenam mentita feram; tum numina divum
Virtutesque, virosque undanti pectore torrens
Provexit, sparsitque pios ad funera questus.
Frugibus hunc libisque virum Cirrhæus ab arâ
Phœbus, et accubitu mensæ dignatus honoro est:
Panaque pastores solis videre sub antris
Pindarico tacitas mulcentem carmine silvas.
Inde senem pueri gremio cervice repostâ
Infusum, et dulci laxantem corda sopore,
Protinus ad manes, et odoro gramine pictum
Elysium tacitâ rapuit Proserpina dextrâ.
Quin etiam hostiles longo post tempore flammæ,
Quæ septemgeminas populabant undique Thebas,
Expavere domum tanti tamen urere vatis,

Et sua posteritas medios quoque tuta per enses
Sensit inexhaustâ cinerem juvenescere famâ. [418]

Сапфо описана в следующих строках:—

lyricis jam nona poetis
Æolis accedit Sappho, quæ flumina propter
Pierias legit ungue rosas, unde implicet audax
Serta Cupido sibi, niveam quæ pectine blando
Cyrinnem, Megaramque simul, cumque Atthide pulchram
Cantat Anactorien, et crinigeram Telesippen;
Et te conspicuum recidivo flore juventæ
Miratur revocatque, Phaon, seu munera vectæ
Puppe tuâ Veneris, seu sic facit herba potentem:
Sed tandem Ambracias temeraria saltat in undas. [419]

Избавившись от лириков, Полициано переходит к драматическим поэтам. Его краткое упоминание о трех аттических трагиках достойно цитаты, хотя бы потому, что оно доказывает то, что мы должны подозревать по другим признакам, а именно, что лучшие ученые раннего Возрождения уделяли им мало внимания. Факты, упомянутые в следующих строках, по—видимому, взяты из афинских сплетен:

Æschylus æriæ casu testudinis ictus,
Quemque senem meritæ rapuerunt gaudia palmæ,
Quemque tegit rabidis lacerum pia Pella molossis. [420]

Не менее скудны и его наблюдения над комическими драматургами. [421] Поскольку римские поэты были обойдены в том же кратком обзоре, Полициано приветствует основателей итальянской литературы следующим прекрасным отрывком:—

Nec tamen aligerum fraudarim hoc munere Dantem,
Per Styga, per stellas, medii que per ardua montis
Pulchra Beatricis sub virginis ora volentem:
Quique Cupidineum repetit Petrarcha triumphum:
Et qui bis quinque centum argumenta diebus
Pingit, et obscuri qui semina monstrat amoris:
Unde tibi immensæ veniunt præconia laudis,
Ingeniis opibusque potens Florentia mater. [422]

Переход к Лоренцо на этом этапе естественен. Торжественная речь, восхваляющая принца Медичи, который сам был поэтом, чьи занятия послужили воссозданием более суровых трудов, завершает композицию. Это написано в лучшем стиле Полициано, и, хотя оно слишком длинное для цитирования, можно выбрать шесть строк, указывающих на тему спора:—

Quodque alii studiumque vocant durumque laborem,
Hic tibi ludus erit; fessus civilibus actis

Huc is emeritas acuens ad carmina vires:
Felix ingenio, felix cui pectore tantas
Instaurare vices, cui fas tam magna capaci
Alternare animo, et varias ita nectere curas. [423]

В "Нутриции" мы видим Полициано целиком. В нем отражена энергия интеллекта, которая помогла ему пробиться стихом сквозь хитросплетения темы, сложной из-за своего размаха. Вся его торопливость здесь, его неспособность отшлифовать или отобрать, его поток языковой лавы, несущий шлаки прозы и осколки эрудиции вдоль обжигающего прилива песни. Его память как бы хранила все сведения об античной литературе; и когда он писал, то изливал подробности потоком, сочетая их с критическими замечаниями, преследуя двойную цель - наставления и панегирика. Полученная по самой низкой оценке студентами, которым знакомы его обширные знания, яркая и непрерывная мелодия его скачущих гекзаметров ставит "Nutricia" выше рассуждений более привередливых латинистов. Мы также должны помнить, что, когда это было прочитано с профессорской кафедры риторики во Флоренции, магнетизм голоса и манеры Полициано придавали именно тот оттенок очарования, которого не хватает стихотворению для современных читателей; и в конце пятнадцатого века этот вопрос не был таким банальным, как сейчас. Лилий Гиральд, подвергая "Сильвию" критике в то время, когда латинская поэзия была художественно отточена лучшими умами эпохи Льва, вынес им суждение, которое даже сейчас можно процитировать как окончательное. [424] "Ученость Полициано была изумительной, его гений пылким и хорошо натренированным, его чтение обширным и непрерывным; и все же он, кажется, сочинял свои стихи скорее с жаром, чем с искусством, слишком мало разбираясь как в выборе материалов, так и в исправлении стиля. Однако, когда вы прочтете его "Сильве", впечатление, оставленное в вашем уме, будет таким, что в данный момент вы ни в чем не будете испытывать недостатка".

Второе стихотворение "Сильвы", озаглавленное "Рустикус", является вводным для изучения буколических поэтов, главным образом Гесиода и Вергилия. Она отличается большей оригинальностью и игрой фантазии, чем "Нутриция"; некоторые из ее пейзажных зарисовок и зарисовок сельской жизни неплохо конкурируют с аналогичными отрывками в "Станце" автора. Остановиться на этих красотах в деталях и сравнить Полициано, латинского поэта, с Полициано, итальянцем, было бы приятной задачей. И все же я должен ограничиться цитированием последних и в некоторых отношениях наименее образных строк ради их исторического интереса. Кареджи и Флоренс, Лоренцо и его круг друзей—литераторов предстают перед нами в этих стихах:

Talia Fesuleo lentus meditabar in antro,
Rure suburbano Medicum, quâ mons sacer urbem
Mæoniam, longique volumina despicit Arni:
Quâ bonus hospitium felix placidamque quietem
Indulget Laurens, Laurens haud ultima Phœbi
Gloria, jactatis Laurens fida anchora Musis;
Qui si certa magis permiserit otia nobis,
Afflabor majore Deo, nec jam ardua tantum
Silva meas voces, montanaque saxa loquentur,
Sed tu, si qua fides, tu nostrum forsitan olim,
O mea blanda altrix, non aspernabere carmen,

Quamvis magnorum genitrix Florentia vatum,
Doctaque me triplici recinet facundia linguâ. [425]

Третья песнь "Сильвии" называется "Манто". В ней рассказывается о рождении Вергилия, которому Музы преподнесли свои дары, в то время как Сивилла Мантуанская предсказала его дальнейший жизненный путь и всю славу, которую он обретет благодаря песням. Стихотворение завершается риторическим восхвалением главного барда Рима, настолько характерным для ренессансного энтузиазма по отношению к Вергилию, что опустить часть из него с этих страниц означало бы пожертвовать одним из самых ярких примеров итальянского научного вкуса:

At manet æternum, et seros excurrit in annos
Vatis opus, dumque in tacito vaga sidera mundo
Fulgebunt, dum sol nigris orietur ab Indis,
Prævia luciferis aderit dum curribus Eos,
Dum ver tristis hiems, autumnum proferet æstas,
Dumque fluet spirans refluatque reciproca Tethys,
Dum mixta alternas capient elementa figuras,
Semper erit magni decus immortale Maronis,
Semper inexhaustis ibunt hæc flumina venis,
Semper ab his docti ducentur fontibus haustus,
Semper odoratos fundent hæc gramina flores,
Unde piæ libetis apes, unde inclyta nectat
Serta comis triplici juvenalis Gratia dextrâ. [426]

Не менее остроумным, чем само стихотворение, является элегическое вступление. Полициано утверждает, что, когда Минии пришли в пещеру Хирона на Пелионе и поужинали с ним, Орфей спел божественную мелодию, а затем юный Ахилл взял лиру и грубыми пальцами похвалил песню поэта. Миний улыбнулся, но Орфей был тронут похвалами мальчика-героя. Возможно, и Маро обрадуется моим похвалам:—

Finis erat dapibus; citharam pius excitat Orpheus,
Et movet ad doctas verba canora manus.
Conticuere viri, tenuere silentia venti,
Vosque retro cursum mox tenuistis aquæ.
Jam volucres fessis pendere sub æthera pennis,
Jamque truces videas ora tenere feras.
Decurrunt scopulis auritæ ad carmina quercus,
Nudaque Peliacus culmina motat apex.
Et jam materno permulserat omnia cantu,
Cum tacuit, querulam deposuitque fidem.
Occupat hanc audax, digitosque affringit Achilles,
Indoctumque rudi personat ore puer.
Materiam quæris? laudabat carmina blandi
Hospitis, et tantæ murmura magna lyræ.
Riserunt Minyæ: sed enim tibi dicitur, Orpheu,
Hæc pueri pietas grata fuisse nimis.

Me quoque nunc magni nomen celebrare Maronis,
Si qua fides vero est, gaudet et ipse Maro. [427]

Четвертое стихотворение, носящее название "Амбра", представляет собой аналогичную индукцию к изучению Гомера. Рассказывается о юности Гомера и о том, как ему явился Ахилл, ослепив его видением своей героической красоты и подарив ему жезл Тиресия. Затем следуют описания "Илиады" и "Одиссеи", а также отрывок высокопарного панегирика; все это заканчивается такими строками о вилле Лоренцо в Кахано:

Et nos ergo illi gratâ pietate dicamus
Hanc de Pierio contextam flore coronam,
Quam mihi Cajanas inter pulcherrima nymphas
Ambra dedit patriæ lectam de gramine ripæ;
Ambra mei Laurentis amor, quem corniger Umbro,
Umbro senex genuit domino gratissimus Arno,
Umbro suo tandem non erepturus ab alveo. [428]

Принимая во внимание цель, которую "Сильве" Полициано выполнили в его профессорской карьере, невозможно отрицать их заслуги. Эрудиция воспринимается легко; она не засоряет и не перегружает порыв поэта. Лесть Лоренцо не является ни чрезмерной, ни незаслуженной. Стих течет сильно и величественно, хотя можно пожелать большего разнообразия ритмов в гексаметре. Язык, несмотря на повторы и неудачно подобранные архаизмы, богат и разнообразен; в нем есть, по крайней мере, очарование того, что он принадлежит поэту, а не скрупулезно почерпнут из одного или двух известных источников. Некоторые картины изящно набросаны, в то время как весь стиль создает эффект красноречивой и пылкой импровизации. По полноте и быстроте изложения, обильной фантазии и богатству иллюстраций эти четыре стихотворения можно сравнить с римскими произведениями Серебряного века. Флорентийцы, толпившиеся в лекционном зале Полициано, должно быть, чувствовали себя так же, как в дни Империи, когда Статий декламировал римской аудитории свои периоды, а критики-патриции аплодировали. [429]

Среди второстепенных стихотворений Полициано достаточно упомянуть элегические куплеты о фиалках, присланные ему любовницей, стихи, описывающие красивую девушку, и оплакивание жены Сисмондо делла Стуфа. [430] Они иллюстрируют изысканность его стиля и свободу его фантазии в обращении со случайными темами и намного превосходят его эпиграммы и эпитафии. [431] Многочисленные хвалебные элегии, адресованные Лоренцо Медичи и другим меценатам, совершенно не имеют ценности. Полициано был подлинным поэтом. Он нуждался в вдохновении истинного чувства или живой фантазии; в незначительных случаях он деградировал до холодной лысины. И все же сатиры на Мабилля, где злоба и ревность пробудили его гений, поражают своей многословностью и остротой. Римский подражатель Катуллуса в своем зверском настроении не мог бы придумать более гибких и тошнотворных оскорблений. В целом, латинские композиции Полициано демонстрируют беглость и изобилие, которые характеризуют его итальянские стихи, хотя они и не обладают изысканным лоском "Джостры". Их последнее достоинство заключается в их спонтанности. Ни один стилист эпохи Льва не умел с такой легкостью пользоваться языком классического Рима.

Иовиан Понтанус заслуживает высокого места среди авторов латинских стихов, независимо от того, рассматриваем ли мы его дидактические поэмы по астрономии и выращиванию апельсина, его эпиграммы или любовные элегии, которые по своему изяществу можно сравнить почти с Овидием. [432] Еще при жизни Понтан стал классиком, а после его смерти ему подражали самые амбициозные стихотворцы позднего Возрождения. [433] Красота южноитальянского пейзажа — Апельсиновых садов Сорренто и байских вод — покорила воображение неаполитанских поэтов и придала колорит их языку. И Понтанус, несмотря на свою усердную учебу и суровый ум, не устоял перед соблазнами этой сирены. То, чем мы восхищаемся в "Аркадии" Саннадзаро, принимает форму чистой латыни в его любовных стихах. [434] Их стиль пронизан чувством физической красоты, языческим и не искушенным запоздалой мыслью о христианстве. Их энергичная и пылающая чувственность не находит аналогов, за исключением некоторых венецианских картин. Однако не столько своими более легкими стихами, сколько пятью книгами под названием "De Stellis" или "Урания" Понтан завоевал восхищение итальянских ученых. В этой длинной серии гексаметров он сумел изложить всю астрономическую науку своего времени, затронув мифологию небесных знаков, описав зодиак, обсудив движение небес, подняв вопрос о влияниях планет и охарактеризовав различные регионы земного шара по их отношению к пути солнца по небосводу. Похоже, он взял "Метаморфозы" Овидия за образец стихосложения; и хотя мы упускаем из виду разнообразие трактовок Овидия, в украшении столь сложной темы поэтическими эпизодами проявлена большая изобретательность. [435] Личный интерес к завершению "Урании" усиливается плачем поэта по своей дочери Люсии:—

Ornabam tibi certa domi; Syriumque liquorem
Ad thalamos geminæ, geminæ, tua cura, sorores
Fundebant. Quid pro sertis Syrioque liquore
Liquisti? Sine sole dies, sine sidere noctes,
Insomnes noctes. [436]

Люция умерла до дня своей свадьбы, и ее седовласый отец оплакивал ее, обманутый памятью, тщетно ища радости, которая не могла прийти снова. Стала ли она, спрашивает он, звездой на небесах, и наслаждались ли благословенные боги и героини ее великолепием? Ни один голос не ответил, когда он позвал в темноту, и новые созвездия не озаарили его яркостью глаз его дочери. Всю бессонную ночь он скорбел, но когда занялся рассвет, он заметил новый блеск на море и в небе. Люция была добавлена к "нимфам утра". Она улыбнулась своему отцу, убегая перед колесами дня; и вот взошло само солнце, и в его свете поглотился ее свет: Гиперион достиг небесных высот, прославившись больше, чем своей собственной славой. Этим апофеозом своей дочери, столь удивительно языческой по чувствам и в то же время столь далекой от классицизма по вкусу, поэма могла бы закончиться, если бы Понтано не приберег ее последние почести для себя. К Люции, теперь ставшей богиней, он обращается с молитвами о том, чтобы она сохранила его имя и славу живыми на земле, когда он умрет: —

Fama ipsa assistens tumulo cum vestibis aureis,
Ore ingens, ac voce ingens, ingentibus alis,
Per populos late ingenti mea nomina plausu
Vulgabit, titulosque feret per sæcula nostros;
Plaudentesque meis resonabunt laudibus auræ,

Vivet et extento celeber Jovianus in ævo. [437]

Собственные элегии Санназаро о радостях любви и сельской жизни, описания его детства в Салерно, восхваления его виллы Мергиллина и его размышления среди руин Кумы, отмечены теми же чертами. Ничего столь полного чувственного наслаждения, столь мягкого и сладострастного нельзя найти в стихотворениях флорентийских и римских ученых. Они заслуживают изучения, хотя бы как иллюстрация роскошного тона неаполитанской литературы. Однако Санназаро снискал себе славу не этими легковесными излияниями. Эпос о рождении Христа стоил ему двадцати лет труда; и когда он был закончен, ученый мир Италии приветствовал его как образец правильного и отточенного письма. В то же время критики, похоже, почувствовали, что не может не поразить современного читателя, - трудности трактовки такой темы в виргилианской манере и терпение стилиста сделали ее скорее шедевром изобретательности, чем гениальным произведением. [438] Эпиграммы Санназаро, составленные в духе жесточайшей враждебности к семье Борджиа, были не менее известны, чем его эпос. Альфонсо Арагонский взял поэта с собой во время своей кампании против папских войск в Абруцци; и эти сатиры, наспех написанные в палатке и у походного костра, развлекали его офицеров. От солдат Альфонсо они быстро разошлись из уст придворных и ученых по всем городам Италии; и нелегко сказать, насколько многое из легенды о Лукреции Борджиа можно проследить в этих кратких, но емких двустишиях. То, что было лагерным скандалом, приобрело последовательность в репликах, слишком острых, чтобы их забыть, и слишком остроумных, чтобы остаться без кавычек. [439] В качестве образца стиля Санназаро здесь можно процитировать эпиграмму на Венецию:—

Viderat Hadriacis Venetam Neptunus in undis
Stare urbem, et toto ponere jura mari:
Nunc mihi Tarpeias quantumvis, Jupiter, arces
Objice, et illa tui mœnia Martis, ait:
Si Pelago Tybrim præfers, urbem aspice utramque;
Illam homines dices, hanc posuisse deos. [440]

Я уже касался виргилианизма "Partus Virginis" Санназаро. [441] Чем холодные церкви Палладио являются для христианской архитектуры, тем этот холодный эпос является для христианской поэзии. Лев Х. был рад распознать евангельское повествование под маскарадным одеянием мифологических выдумок и стать свидетелем триумфа классической науки в святых местах средневековой веры. Сплавить традиции библейской и светской древности было, как я часто говорил, мечтой эпохи Возрождения. То, что Пико и Фичино пытались воплотить в философских трактатах, поэты стремились воплотить с помощью формы. Религия, облачившаяся в классические одежды, сбросила паутину Катакомб и получила право на *первые блюда* в Ватикане. Это не означало, что она пожертвовала своим величием ради моды или что ее туника *под старину* была плохо сшита. Ее румяна и блески очаровали ученого понтифика, который немедленно приказал Вайде сочинить "Христиаду" и устроил ему бенефис во Фраскати, чтобы он мог насладиться непринужденностью поэта. Эпопея Вида, как и эпопея Санназаро, не была закончена при жизни Лео. И "Христиада", и "Часть Девственная" отразили блеск эпохи Климента.

Вида снискал свои первые лавры в области дидактической поэзии. Упражнения Виргилиана по разведению шелкопрядов и игре в шахматы продемонстрировали его способность придавать знакомым предметам изящество отточенного стиля. [442] Такие стихотворения, будь то написанные на латыни или, подобно "Апи" Ручеллаи, на итальянском, отвечали вкусу эпохи Возрождения, всегда ценившей форму независимо от того, что в нее вкладывалось. Для современного студента метрический трактат Вида в трех книгах об "Искусстве поэзии" представляет большой интерес, поскольку он иллюстрирует конечный результат классических исследований эпохи Льва. "Поэтика" адресована Франциску, дофину Франции, в его испанской тюрьме: [443]—

Primus ades, Francisce; sacras ne despice Musas,
Regia progenies, cui regum debita sceptra
Gallorum, cum firma annis accesserit ætas.
Hæc tibi parva ferunt jam nunc solatia dulces;
Dum procul a patriâ raptum, amplexuque tuorum,
Ah dolor! Hispanis sors impia detinet oris,
Henrico cum fratre; patris sic fata tulerunt
Magnanimi, dum fortunâ luctatur iniquâ.
Parce tamen, puer, o lacrymis; fata aspera forsan
Mitescent, aderitque dies lætissima tandem
Post triste exilium patriis cum redditus oris
Lætitiâ ingentem populorum, omnesque per urbes
Accipies plausus, et lætas undique voces;
Votaque pro reditu persolvent debita matres.
Interea te Pierides comitentur; in altos
Jam te Parnassi mecum aude attollere lucos. [444]

После этого посвящения Вида описывает утешение, которое можно найти в поэзии, и добавляет несколько советов по подготовке ума ученика. [445] Краткий обзор истории поэзии — упадок греческого вдохновения после Гомера и латыни после Вергилия; качества Серебряного века и возрождение литературы при Медичи во Флоренции — показывает, насколько узкими стали стандарты итальянской культуры между периодом Полициано, который так много воспринял в своем очерке литературы, и периодом Вида, который ограничился так мало. Критика не несправедлива; но она доказывает, что утончение вкуса ученостью привело к ограничению студентов одним или двумя образцами, которым они раболепно следовали. [446] Установив таким образом свой общий взгляд на поэтическое искусство, Вида приступает к наброскам плана обучения. Описаны качества и обязанности наставника; и здесь мы можем заметить, насколько методы Витторино и Гуарино создали идеал обучения для Италии. Наставник должен прежде всего избегать насилия и стремиться завоевать расположение своего ученика; для него было бы хорошо объединить нескольких юношей в одном курсе обучения, чтобы пробудить в них соперничество. Он не должен пренебрегать их играми и всегда должен быть осторожен, чтобы приспособить свой метод к различным талантам своих подопечных. Когда обсуждаются специальные исследования, которым следует следовать, Вида указывает, что Цицерон - лучшая школа латинского стиля. Он рекомендует с ранних лет практиковать буколические стихи и внушает необходимость снисходительного отношения к юношеским эссе. Эти темы затронуты

более или менее удачными фразами и иллюстрациями; и хотя предмет достаточно банален, здравый смысл и доброжелательность автора вызывают уважение. Первая книга завершается рассуждением о достоинстве и святости поэтов - теме, которую гуманисты никогда не уставали развивать. [447] Второе описывает качества хорошего стихотворения, поскольку они были задуманы утонченным, но формальным вкусом шестнадцатого века. Она должна начинаться спокойно и суметь возбудить, не удовлетворив любопытства читателя. Следует избегать напрасных проявлений учености. Эпизоды и сравнения должны происходить через надлежащие промежутки времени, и скромная приправа юмора будет сочтена приятной. Следует избегать любых повторений, и следует проявлять большую осторожность, чтобы разнообразить повествование живописными описаниями. Риторика, опять же, не лишена внимания, когда поэт стремится вложить удобные и благовидные аргументы в уста своих персонажей.

Трудно в кратком изложении отдать должное этой части стихотворения Вайды. Его описание идеального эпоса на самом деле является не чем иным, как утонченным анализом "Энеиды"; и студентам, желающим узнать, что итальянцы шестнадцатого века восхищались в Вергилии, не мешало бы изучить его острую и трезвую критику. Панегирик Льву завершает вторую книгу. Из этого выступления можно с пользой прочесть несколько строк о бедствиях Италии, доказывающих, что нация, сознававшая собственный упадок, была довольна признанием примата культуры в обмен на независимость:

Dii Romæ indigetes, Trojæ tuque auctor, Apollo
Unde genus nostrum cœli se tollit ad astra,
Hanc saltem auferri laudem prohibete Latinis:
Artibus emineat semper, studiisque Minervæ,
Italia, et gentes doceat pulcherrima Roma;
Quandoguidem armorum penitus fortuna recessit,
Tanta Italos inter crevit discordia reges;
Ipsi nos inter sacros dstringimus enses,
Nec patriam pudet externis aperire tyrannis. [448]

Третья книга посвящена стилю и дикции. Быть ясным и разнообразным, использовать метафоры и намеки, выбирать фразы, окрашенные мифологией и фантазией, подбирать язык к предмету, варьировать метрическую интонацию в соответствии с мыслью и чувством, а также быть усердным в использовании файла - все это упоминается как необходимое условие совершенства. Стихотворение о Вергилии, звучное и страстное, завершает всю поэму, которая, при правильном понимании, является памятником, воздвигнутым славе римского барда благочестием его итальянского ученика. Заключительные строки по праву известны:—

O decus Italiæ! lux o clarissima vatum!
Te colimus, tibi certa damus, tibi thura, tibi aras;
Et tibi rite sacrum semper dicemus honorem
Carminibus memores. Salve, sanctissime vates!
Laudibus augeri tua gloria nil potis ultra,

Et nostræ nil vocis eget; nos aspice præsens,
Pectoribusque tuos castis infunde calores
Adveniens, pater, atque animis te te insere nostris. [449]

Интеллект самого Вида был ясен, а стиль - пронизателен; но его гений был посредственным. Его сила заключалась в расположении материалов и иллюстрациях. Точный вкус, сформировавшийся на Цицероне и Вергилии и проявленный с рассудительностью в узкой сфере, удовлетворял его критическим требованиям. Вергилий был у него первым и последним, срединным и бесконечным. Одним словом, он показывает, чего мог бы достичь знаток звуковых партий и риторических способностей, изучая одного автора и подражая ему.

Раз уж я заговорил о дидактических стихах, могу воспользоваться случаем и отметить Фракасторо, который, по-видимому, выбрал Понтана в качестве образца и, подражая Лукрецию и Вергилию, не дотянул до элегантности Вида. Его работы примечательны не столько чистотой дикции, сколько массивностью интеллекта, серьезностью материи и конструктивными способностями. Джеронимо Фракасторо родился в 1483 году в Вероне, где провел большую часть своей жизни, пользуясь высокой репутацией врача, философа, астронома и поэта. В юности он учился у Помпонаццо в Падуе. Сильный привкус материалистической науки, который он там получил, продолжал всю жизнь окрашивать его мысли. Среди современных язычников никто так не чужд христианства, как Фракасторо. Как хорошо известно, он выбрал новую и ужасную болезнь эпохи Возрождения в качестве своей темы и дал ей название, которое до сих пор актуально. Говорить о "Сифилисе" Фракасторо, посвященном Бембо, приветствуем всей Италией, который Санназаро предпочел своему собственному эпосу и который Юлий Цезарь Скалигер назвал "божественной поэмой", сейчас нелегко. Прославляемая им чума появилась в Неаполе в 1495 году и распространилась по Европе подобно лесному пожару, приняв сначала форму эпидемии, не пощадившей ни папу, ни короля и вызвавшей у своих жертв не столько отвращение, сколько ужас. [450] Правильно ли понимались законы его распространения в шестнадцатом веке - это вопрос, который предстоит решить врачам. Никто, по-видимому, не подозревал, что это заболевание отличалось особым характером от других чумных заболеваний; и ясно, как из современных хроник, так и из поэмы Фракасторо, что *болезнь францезе*, как ее называли в народе, вызвала у людей того времени ассоциации, отличные от тех, которые с тех пор сложились вокруг нее. В то же время более грозная и менее отвратительная, она была не более недостойной темой для стихов, чем чума в Афинах, описанная Лукрецием. Рассматривая болезнь, таким образом, как проклятие, общее для его поколения, поэт-ученый осмелился описать ее симптомы, прописать лекарства, обсудить вопрос о ее происхождении и использовать ее как иллюстрацию антагонистических сил, пагубных и благотворных, в хозяйстве природы. Автор стремился пофилософствовать на свою отталкивающую тему. Его современники восхищались поэтическим изяществом, с которым он ухитрился украсить ее.

В отрывке из первой книги излагается проблема. Откуда взялось это новое бедствие человечества? Конечно, не из Америки, хотя оно является местным. Его распространение после бедствий 1494 года было слишком быстрым, чтобы допустить эту гипотезу. [451] К порче атмосферы следует отнести всеобщее нашествие чумы. [452] Теория зараженного и гнилого воздуха изложена в длинном лукрецианском отрывке, за которым следует научное описание симптомов сифилиса. В этот момент поэт разнообразит свои рассуждения эпизодом, повествующим о печальной смерти молодого человека, родившегося на берегах Ольо, и

постепенно переходящим к рассуждениям о войнах и бедствиях Италии. [453] Над всеми поэтами этого века несчастья их страны нависали подобно облаку, и, как бы они ни касались лиры в начале своей песни, перед концовкой они наверняка испустят скорбный стон. Во второй книге Фракасторо затрагивает тему средств правовой защиты. Он уделяет особое внимание выбору свежего воздуха, обильным физическим упражнениям, отказу от вина и острой диеты, кровопусканию, воздержанию от чувственных удовольствий, разжиганиям, травмам и другим мельчайшим правилам здоровья. Уделяя внимание этим вопросам, болезнь можно если не предотвратить, то, по крайней мере, смягчить. Превосходное средство - ртуть - требовало более полных иллюстраций; поэтому поэт приводит легендарный эпизод с пастухом Илкеем, которого нимфа Липара привела к серным источникам и озерам ртути под горой Этна. Илкей искупался и вновь обрел здоровье. Строго дидактический замысел Фракасторо подтверждается рецептом ртутной мази и описанием слюноотделения, которыми завершается эта книга. [454] Третья открывается намеком на открытие Америки и празднование дерева Гиакус (Guaicasum). Примечательно, что, получив такую возможность воспеть Колумбу дифирамбы, Фракасторо прошел мимо него, не позаботившись заявить о том, что Италия участвует в величайшем достижении века. Смешивая миф с историей, он затем продолжает рассказывать, как испанцы прибыли в Вест-Индию и застрелили птиц, посвященных Солнцу, [455] одна из которых говорила человеческим голосом, предсказывая бедствия, которые обрушатся на команду за их нечестие. Не последней из них была странная и ужасная болезнь. Аборигены островов стекались навстречу пришельцам, и некоторые из них были поражены ужасным извержением вулкана. Это приводит к эпизодической легенде о пастухе Сифилусе, который осмелился высмеять бога Солнца, и о царе Алкитосе, принявшем божественные почести вместо него. Солнце, в отместку за дерзость Сифила, поразило его ужасной болезнью. Это не поддавалось лечению до тех пор, пока нимфа Аммерике не посвятила его в соответствующие обряды очищения и не привела к дереву Гиакус. Стихотворение заканчивается панегириком Гваякуму.

Я в общих чертах обрисовал тему "сифилиса" из-за ее важности не только для неолатинской литературы эпохи Возрождения, но и для истории медицинского мнения. Как дидактическое стихотворение, оно построено с большим искусством; стиль, хотя и прозаичный, убедителен, а смысл всегда точен. Не обладая классической элегантностью, Фракасторо, тем не менее, можно сказать, что он соответствовал требованиям Vida и добавил что-то мужское и энергичное, присущее только ему самому. Его хвалебные стихи Алессандро Фарнезе, Павлу III и Юлию III. могут быть приведены в качестве любопытных примеров откровенной лести, переданной *в стиле барокко*. Они сочетают папский напев с языческим маньеризмом, виргилианскую и библейскую фразеологию, мужскую серьезность дикции и надуманное тщеславие в странной смеси, столь же неуклюжей, сколь и нелепой. [456]

Другая группа латинских стихотворцев во главе с Бембо культивировала элегию, идиллию и оду. Авторами их пристрастия были Катулл, Проперций и Тибулл. Отказавшись от попыток придать христианскому или современному материалу классическую форму, они откровенно выбрали языческие мотивы и придерживались своих моделей как по духу, так и по стилю. Две элегические поэмы Бембо, "Приап" и "Фавн в Нимпейском заливе", могут быть процитированы как вопиющие образцы распушенности шестнадцатого века. [457] Отточенный язык и почти безупречное стихосложение тратятся впустую на темы, полные непристойностей. "Приап", переведенный и дополненный на итальянский *оттавой римой*, приобрел популярность за пределами ученых кругов, для которых он изначально был написан. Мы можем проследить его влияние во многих печально известных капитолиях бурлескных поэтов. Бембо преуспел в

элегических стихах. В стихотворении, озаглавленном "De Amicâ a Viro Servatâ", он обратился к типично итальянской теме с чем-то от изящного юмора Овидия. [458] Любовник жалуется на то, что живет рядом со своей любовницей, за которой пристально наблюдает ее ревнивый муж. Здесь, как и везде, мораль заслуживает меньшего восхищения, чем стихосложение; и то, что последнее, несмотря на скрупулезное внимание Бембо к метру, несовершенно, можно понять из этой строки:

Tunc quos nunc habeo et quos sum olim habiturus amicos.

После прочтения построенных таким образом гекзаметров у нас возникает искушение захлопнуть книгу со стоном, удивляясь, как это секретарь папы римского и князь Церкви мог подумать, что стоило того, чтобы сочинить стихотворение, столь пагубное для его репутации моралиста, или сохранить в нем стих, столь мало благоприятствующий его славе латиниста. Более красивой, поскольку более верной классическому вдохновению, является элегия "Галатея". [459] Идиллические происшествия наводят на мысль о серии симпатичных картинок для барельефов или декоративных фресок в манере Альбано. Шедевром Бембо, однако, в элегическом метре является стихотворение с названием "De Galeso et Maximo". [460] Она была составлена, как сообщает нам эпиграф, по приказу великого человека в Риме; но был ли этот великий человек также величайшим в Риме и был ли Максим другим именем Льва, остается только догадываться. Мальчик Галес обидел Максима, своего учителя. Когда его упрекали, он не оправдывался, не призывал свидетелей, не возносил молитв к Небесам, не позволял себе уверений в невинности, не проливал слез: —

Nil horum aggreditur; sed tantum ingrata loquentis
Implicitus collo dulce pendit onus.
Nec mora, cunctanti roseis tot pressa labellis
Oscula cœlitibus invidiosa dedit,
Arida quot levibus florescit messis aristas,
Excita quot vernis floribus halat humus.
Maxime, quid dubitas? Si te piget, ipse tuo me
Pone loco: hæc dubitem non ego ferre mala. [461]

Талант Бембо заключался в композициях такого рода. Его стихи, по выражению Гиральда, были неизменно "сладкими, мягкими и деликатными". Когда он попытался работать, требуя более продолжительных усилий интеллекта и большего разнообразия методов лечения, он не добился такого успеха. Его гекзаметрическая поэма "Бенакус", описание озера Гарда, посвященная Джану Маттео Гиберти, читается как подражание Катулле, лишенное изящества стиля и богатства фантазии римского поэта. [462] К числу наиболее совершенных композиций Бембо можно отнести его эпитафии знаменитым современникам. Следующее, написанное для Полициано, заслуживает цитирования. [463] Мы не только радостно тронуты смертью ученого, последовавшей почти сразу за смертью его покровителя, но и последняя строка отдает должное Полициано как итальянскому поэту:—

Duceret extincto cum mors Laurente triumphum,
Lætaque pullatis inveheretur equis,
Respicit insano ferientem pollice chordas,
Viscera singultu concutiente, virum.

Mirata est, tenuitque jugum; furit ipse, pioque
Laurentem cunctos flagitat ore Deos:
Miscebat precibus lacrymas, lacrymisque dolorem;
Verba ministrabat liberiora dolor.
Risit, et antiquæ non immemor illa querelæ,
Orphei Tartareæ cum patuere viæ,
Hic etiam infernas tentat rescindere leges,
Fertque suas, dixit, in mea jura manus.
Protinus et flentem percussit dura poetam,
Rupit et in medio pectora docta sono.
Heu sic tu raptus, sic te mala fata tulerunt,
Arbiter Ausoniæ, Politiane, lyræ. [464]

Более одаренным поэзией, чем Бембо, был его соотечественник Андреа Навагеро. Немногие латинские стихотворцы эпохи Возрождения сочетали в себе столько истинного чувства и фантазии со стилем, более чистым и естественным. Некоторые из его небольших сочинений, наполовину элегии, наполовину идиллии, обладают изяществом и свободой греческой антологии. [465] В их мотивах есть простая красота, а мастерство исполнения напоминает нам резьбу по гладкому восковому мрамору; в отличие от римских эпиграмматистов, Навагеро избегал заостренных окончаний. [466] Изображение нарцисса, умершего и превратившегося в цветок, в элегии "Акон" может быть процитировано как прекрасный образец его манеры:—

Magna Parens, quæ cuncta leves producis in auras,
Totaque diverso germine picta nites;
Quæ passim arboribus, passim surgentibus herbis,
Sufficis omnifero larga alimenta sinu;
Excipe languentem puerum, moribundaque membra,
Æternumque tuâ fac, Dea, vivat ope.
Vivet, et ille vetus Zephyro redeunte quotannis
In niveo candor flore perennis erit. [467]

Предостережения, адресованные его любовнице во время ее загородных прогулок, остерегаться деревенских богов, и вся эклога "Иолы" написаны богатым и легким стилем, который заставляет нас задуматься, не жил ли снова в Навагеро какой-нибудь поэт греко-римского периода. [468] Только здесь и там, как в случае со всем этим неолатинским письмом, неловкое слово или неправильная интонация разрушают чары и напоминают нам, что это было искусственное произведение. Несколько строк, составляющих отрывок из незаконченного стихотворения об Италии, могут быть вставлены сюда из-за их внутреннего интереса: —

Salve, cura Deûm, mundi felicior ora,
Formosæ Veneris dulces salvet recessus:
Ut vos post tantos animi mentisque labores
Aspicio, lustroque libens! ut munere vestro
Sollicitas toto depello e pectore curas! [469]

Нам говорят, что Навагеро сочинил эти стихи по возвращении из миссии в Испанию. Родившийся в 1483 году, он провел свою юность и раннюю зрелость в усердной учебе. Чрезмерное употребление подорвало его здоровье, и Джовио рассказывает, что начал страдать от *atratra bilis*, или меланхолии ученых. Венецианский сенат нанял его написать историю Республики на латыни; эта работа была уже начата, когда болезнь вынудила его отказаться от нее. Впоследствии он участвовал в безуспешной миссии к Карлу V. и в дипломатических делах при французском дворе. Он умер в Блуа от лихорадки, подхваченной во время одной из его поспешных поездок. Ему было всего сорок шесть, когда он погиб, завещав ближайшим потомкам славу поэта, по крайней мере равного древним. В тот век аффектации и усилий естественный поток стихов Навагеро, чувственный без грубости и ярко окрашенный без злоупотребления эпитетами, вызвал бурю аплодисментов, которая современному читателю может показаться чрезмерной. Поминальные стихи, написанные по случаю его смерти, восхваляют чистоту чувств и вкуса, которые заставили его сжечь экземпляр "Марциала", посвященного целомудренным музам. [470] Один друг призывает Нереид построить ему гробницу у тихих вод лагун и просит фавна Италии оплакивать сломанный тростник. [471] Другой пророчествует, что его золотые стихи будут длиться столько лет, сколько есть цветов весной, или винограда осенью, или штормов на море, или звезд на небе, или поцелуев у Катулла, или атомов во вселенной Лукреция. [472]

На место совсем рядом с Навагеро можно было бы претендовать Франческо Марии Молсе, дворянину из Модены, который пользовался большой известностью в Риме благодаря своей латинской и итальянской поэзии. После бурной жизни, полной удовольствий, он умер в возрасте сорока одного года, измученный любовью и пораженный чумой Возрождения. Самые сладкие из его элегий воспевают очарование Фаустины Манчини, его любимой любовницы. Несмотря на то, что итальянцы называли бы их *morbidezza*, невозможно не испытывать некоторого презрения к отточенной беглости, чувственной расслабленности этих бездушных стихов. Стихотворение, адресованное его друзьям на одре болезни, в преддверии неминуемой смерти, сочетает в себе мелодичную интонацию автора с определенной трезвостью мысли и нежным достоинством чувств. [473] Это, пожалуй, самое достойное того, чтобы жить из всех его произведений. Следующие двустишия описывают место, которое он выбрал бы для своей могилы:—

Non operosa peto titulos mihi marmora ponant,
Nostra sed accipiat fictilis ossa cadus;
Exceptet gremio quæ mox placidissima tellus,
Immites possint ne nocuisse feræ.
Rivulus hæc circum dissectus obambulet, unda
Clivoso qualis tramite ducta sonat;
Exiguus stet cæsa notis super ossa sepulta,
Nomen et his servet parva tabella meum:
Hic jacet ante annos crudeli tabe peremptus
Molsa; ter injecto pulvere, pastor, abi.
Forsitan in putrem longo post tempore glebam
Vertar, et hæc flores induet urna novos;
Populus aut potius abruptis artubus alba
Formosâ exsurgam conspicienda comâ.

Scilicet huc diti pecoris comitata magistro
Conveniet festo pulchra puella die;
Quæ molles ductet choreas, et veste recinctâ
Ad certos nôrit membra movere modos. [474]

Язычество эпохи Возрождения, заменившее христианские обряды на старую мифологию и ставшее классикой в самой могиле, редко находило более сладостное выражение, чем в этой песне смерти. Мы прослеживаем в нем, помимо нотки современности, романтическое чувство общности с природой в бессмертии деревьев и цветов. [475]

Кастильоне не может сравниться с Навагеро по чувственному очарованию и легкому течению стиха. Нет у него и тех штрихов подлинной поэзии, которые поднимают Молсу над уровнем беглого стихотворца. Его латинские упражнения, однако, предлагают много интересного для изучающего литературу эпохи Возрождения; в то время как глубина чувства и серьезность мысли в его ясных и мощных гекзаметрах превосходят все усилия искусственной музыки Бембо. Когда мы читаем идиллию под названием "Алкон", оплакивающую друга, которого он любил в юности...

Алкон восхитительных музыкантов и Аполлинидов, Алкон
животных, сердец животных, Алкон максимальных возможностей— [476]

мы вынуждены задаться вопросом, насколько Мильтон был обязан формой "Ликидаса" этим итальянским имитациям греко-римского стиля. Что показалось Джонсону фальшивым по тону, что до сих пор делает эту элегию камнем преткновения для незрелых и несимпатичных студентов, так это в высшей степени искусственная форма, приданная естественному чувству. Горе облекается в метафоры и, воздерживаясь от прямого выражения острых эмоций, останавливается для утешения на мыслях и образах, которые сами по себе прекрасны. Не только в этом качестве искусства "Ликидас" напоминает нам латинские стихи эпохи Возрождения. Любопытное сочетание аллюзий на Церковь и государство с пасторальными образами не менее характерно для итальянской манеры. Как в "Ликиде", так и в этих строках из "Алькана" Кастильоне правда печали просвечивает сквозь тонкую завесу буколической романтики:

Heu miserande puer, fatis surrepte malignis!
Non ego te posthac, pastorum adstante coronâ,
Victorem aspiciam volucris certare sagittâ;
Aut jaculo, aut durâ socios superare palæstrâ.
Non tecum posthac molli resupinus in umbrâ
Effugiam longos æstivo tempore soles:
Non tua vicinos mulcebit fistula montes,
Docta nec umbrosæ resonabunt carmina valles:
Non tua corticibus toties inscripta Lycoris,
Atque ignis Galatea meus nos jam simul ambos
Audierint ambæ nostros cantare furores.
Nos etenim a teneris simul usque huc viximus annis,
Frigora pertulimusque æstus noctesque diesque,
Communique simul sunt parta armenta labore.

Rura mea hæc tecum communia; viximus una:
Te moriente igitur curnam mihi vita relictæ est?
Heu male me ira Deûm patriis abduxit ab oris,
Ne manibus premerem morientia lumina amicis. [477]

Самые отточенные упражнения Кастильоне написаны на вымышленные сюжеты элегическим метром. Таким образом, он симулирует письмо от своей жены в стиле "Героической эпистолы", в котором умоляет его остерегаться римских соблазнов и сохранить свое сердце для нее. [478]
Снова он предупреждает свою хозяйку избегать опасностей морского пляжа, где бродят тритоны:-

Os informe illis, rictus, oculique minaces,
Asperaque anguineo cortice membra rigent:
Barba impexa, ingens, algâ limoque virenti
Oblita, oletque gravi lurida odore coma. [479]

В этих двустишиях мы, кажется, читаем отрывок из какой-нибудь фрески Мантеньи или Джулио Романо. Две длинные элегии посвящены теме морских чудовищ, а рассказ об Ипполите вводится для подкрепления аргументации поэта. Среди комплиментарных стихотворений Кастильоне, составляющих приятную иллюстрацию к его книге "Придворный", можно упомянуть строки о "Пении Элизаветты Гонзага". [480] Я также не могу опустить самую оригинальную из его элегий, написанную или, по крайней мере, задуманную в лагере Юлия перед Мирандолой. [481] Бродя ночью по траншеям под осажденными стенами, Кастильоне встречает призрак Лодовико Пико, который оплакивает зло, причиненное его городу и его расе. Грохот пушек прерывает этот монолог, и призрак со стоном исчезает во тьме. Во время своей длинной песнопения принц Мирандолы обращается к воинственному папе с такими двустишиями: —

O Pater, O Pastor populorum, O maxime mundi
Arbiter, humanum qui genus omne regis;
Justitiæ pacisque dator placidæque quietis,
Credita cui soli est vita salusque hominum;
Quem Deus ipse Erebi fecit Cœlique potentem,
Ut nutu pateant utraque regna tuo! [482]

Когда духовный авторитет пап стал выражаться таким образом в латинских стихах, было невозможно не относиться к ним как к божествам. Искушение обратиться к ним на языке римской религии было слишком велико; двойная возможность польстить их тщеславию как понтификов и их ушам как ученых была слишком привлекательна, чтобы ее упустить. В другом месте Кастильоне употребил следующие фразы о Лео: —

Nec culpanda tua est mora, nam præcepta Deorum
Non fas, nec tutum est spernere velle homini:
Esse tamen fertur clementia tanta Leonis
Ut facili humanas audiat ore preces. [483]

Навагеро назвал Юлия II. *novus ex alto demissus Olympo Deus* (новым Богом, ниспосланным с небес на землю) и объявил, что народ Италии в благодарность за его освобождение их страны от варваров будет ежегодно воздавать ему почести молитвой и восхвалением:—

Ergo omnes, veluti et Phœbo Panique, quotannis
Pastores certis statuent tibi sacra diebus,
Magne Pater; nostrisque diu cantabere silvis.
Te rupes, te saxa, cavæ te, Maxime Juli,
Convalles, nemorumque frequens iterabit imago.
At vero nostris quæcumque in saltibus usquam
Quercus erit, ut quæque suos dant tempora flores,
Semper erit variis ramos innexa coronis;
Inscriptumque geret felici nomine truncum.
Tum quoties pastum expellet, pastasve reducet
Nostrum aliquis pecudes; toties id mente revolvens
Ut liceat, factum esse tuo, Pater optime, ductu;
Nullus erit, qui non libet tibi lacte recenti,
Nullus erit qui non teneros tibi nutriat agnos.
Quin audire preces nisi dedignabere agrestes,
Tu nostra ante Deos in vota vocaberis omnes.
Ipse ego bina tibi solenni altaria ritu,
Et geminos sacrâ e quercu lauroque virenti
Vicino lucos Nanceli in litore ponam. [484]

Следует помнить, что дуб был символом семьи Делла Ровере, так что, когда поэты возносили Юлия на Олимп, они не испытывали недостатка в дереве, посвященном новому божеству. Проследивать эту языческую лесть пап во всех ее формах было бы утомительным занятием. Достаточно будет процитировать "Сапфики" Полициано Иннокентию VIII.:—

Roma cui paret dominusque Tiberis,
Qui vicem summi geris hic Tonantis,
Qui potes magnum reserare et idem
Claudere cœlum. [485]

Более причудливую путаницу латинской мифологии и средневековых суеверий, более бойко и сбивчиво переданную неубедительными стихами, трудно себе представить; и все же даже это, я думаю, уступает тяжеловесному тщеславию Фракасторо, который устами козлоногого Пана приветствовал Юлия III. как гора спасения, обыгрывающая его имя Дель Монте:—

Hoc in Monte Dei pecudes pascentur et agni,
Graminis æterni pingues et velleris aurei;
Exsiliunt et aquæ vivæ, quibus ubera capræ
Grandia distendant, distendant ubera vaccæ. [486]

Гора вскоре становится пастухом, а пастух не только правит людьми и пасет овец Божьих, но и приковывает чудовищ Реформации к скале на Кавказе и дарует Италии мир и изобилие:—

Æternis illum numeris ad sidera tollent,

Heroemque, deumque, salutiferumque vocabunt. [487]

Возвращаясь к Кастильоне: я уже говорил о его эпитафии Рафаэлю и его описании недавно открытой "Ариадны". [488] Последнее упражнение в риторике конкурирует с трудными гекзаметрами Садолето в "Лаокооне". Эти стихи, холодные, как призовое стихотворение, по нашей оценке, привели Бембо в восторг. Когда они появились, он написал Садолето: "Я читал твою поэму о Лаокооне сто раз. О бард-чудотворец! Вы не только сделали для нас, так сказать, вторую статую, соответствующую этому шедевру, но и запечатлели в моем сознании саму статую". Этот панегирик вызывает улыбку, когда мы сравниваем его с собственным произведением Садолето, плодом скорее серьезного интеллекта и утонченного вкуса, чем гениальности и вдохновения. [489]

Время не в состоянии рассказать обо всех позднейших латинских поэтах — о отточенной лирике Ла Каса в стиле Горация, о восковых эклогах Амальтео, о фантастических гекзаметрах Аонио Палеарио о "Бессмертии души", [490] элегий Строцци, эпиграмм Ариосто и Ученая муза Кальканьини. Когда я повторяю, что в том столетии каждый образованный человек писал латинские стихи и что все, кто мог, отдавали свои произведения в печать, было сказано достаточно, чтобы доказать невозможность иметь дело более чем поверхностно с такой огромной массой достойной уважения посредственности.

Остается спасти от приличной неизвестности одно имя "Итальянского поэта". Маркантонио Фламинио родился в Серавалле в 1498 году. Еще молодым человеком он явился ко двору Льва, вооруженный латинской поэзией в качестве верительных грамот. В тот век звенящих лир нельзя было предпочесть ничего лучшего, как претендовать на покровительство папы или кардинала. В Риме Фламинио жил на службе у Алессандро Фарнезе, за гостеприимство которого он впоследствии отплатил стихами, достойными уважения как поэта, так и мецената своей свободой от вульгарной лести. Атмосфера Двора, однако, была не в духе Фламинио. Любящий сельскую жизнь, пристрастившийся к серьезным занятиям, трезвый в своих вкусах и жизнерадостный духом, набожный и непритворно честолюбивый, он избегал суеты большого мира и жил уединенно. Общность интересов свела его с кардиналами Поулом и Контарини, от которых он перенял столько духа Реформации, сколько мог усвоить итальянский философ; но не в его скромной и тихой натуре было поднимать крик о восстании против власти. [491] Среди его близких друзей были самые выдающиеся умы и ученые того времени. И его стихи, и переписка проливают приятный свет на литературное общество позднего Возрождения. Латинские стихи, которыми мы сейчас занимаемся, дышат подлинным благочестием, здоровой простотой и нравственной чистотой, что резко контрастирует с неоязычеством римского круга. Эти качества соответствуют основательному стилю, ясному, немногословному и нервному, которым он умел пользоваться. Приятно завершить серию итальянских латинистов тем, кто соединил лучшее искусство своего века с темпераментом республиканца и духом христианина.

Самое выдающееся качество Фламинио как поэта - это любовь к родине. Три небольшие композиции, описывающие его собственную ферму, проникнуты энтузиазмом неподдельной привязанности. [492] Мы чувствуем, что не простое воспоминание о Катулле заставляет его писать—

Jam vos revisam, jam juvabit arbores

Manu paternâ consitas
Videre, jam libebit in cubiculo
Molles inire somnulos. [493]

И это не праздная молитва, с которой он обращается к Музам в этих строках: —

At vos, o Heliconiæ puellæ,
Queis fontes et amœna rura cordi,
Si carâ mihi luce cariores
Estis, jam miserescite obsecrantis,
Meque, urbis strepitu tumultuosæ
Ereptum, in placido locate agello. [494]

Он никогда не устает противопоставлять сельские удовольствия шуму и скуке Рима:—

Ipse miser tumultuosâ
Urbe detinear; tibi benignus
Dedit Jupiter in remoto agello
Latentem placidâ frui quiete,
Inter Socraticos libros, et inter
Nymphas et Satyros, nihil profani
Curantem populi leves honores. [495]

Мысли Фламинио о стране всегда связаны с мыслями об учебе. Картина спокойной жизни ученого среди полей, разнообразимой спортом и простыми удовольствиями деревенского люда, придает свежесть его стихотворениям, адресованным либо его покровителю Алессандро Фарнезе, либо его друзьям Галеаццо Флоримонте и Франческо Торриани: [496]—

Inde ocellos
Ut primum sopor incubans gravabit,
Jucundissime amice, te sub antrum
Ducam, quod croceis tegunt corymbis
Serpentes hederæ, imminensque laurus
Suaviter foliis susurrat: at tu
Ne febrim metuas gravedinemve;
Est enim locus innocens: ubi ergo
Hic satis requieveris, legentur
Lusus Virgilii, et Syracusani
Vatis, quo nihil est magis venustum,
Nihil dulcius, ut mihi videtur.
Cum se fregerit æstus, in virenti
Convalle spatiabimur; sequetur
Brevis cœna; redibis inde ad urbem. [497]

Одно из лучших стихотворений Фламинио написано на вилле его друга Стефано Саули недалеко от Генуи. [498] В нем описывается, как он проводит время между философией Аристотеля и стихами Катуллы, в то время как Саули рядом с ним посвящает себя Цицерону. Наступающий вечер выманивает их из кабинета на морской пляж: взгромоздившись на

окаймленную водой скалу, они ловят рыбу с помощью длинного тростника или наблюдают за белыми парусами на пурпурных волнах. Та же тема повторяется в копии гекзаметров, адресованных Саули. [499] Фламинио заболел лихорадкой в Риме. Покинуть город было его лекарством:—

Scilicet ut Romæ corruptas fugimus auras,
Et riguos patriæ montes saltusque salubres
Venimus, effœtos venit quoque robur in artus:
Diffugit macies, diffugit corpore pallor;
Et somnus vigiles irrepsit blandus ocellos,
Quem neque desiliens crepitanti rivulus undâ,
Nec Lethea mihi duxere papavera quondam. [500]

Саули, со своей стороны, поздравляют с тем, что он сменил заботы Церкви и государства на занятия Цицероном среди своих лавровых роцц и сверкающих апельсиновых садов.

Ближние отношения Фламинио с самыми способными людьми века, особенно с теми, кто занимался изучением религии и христианства, придают внешний интерес его беглым произведениям. В одном стихотворении он ссылается на слабое здоровье кардинала Поула; [501] в другом он сравнивает описание идеальной республики Платоном с работой Контарини о магистратах и венецианском содружестве:—

Descripsit ille maximus quondam Plato
Longis suorum ambagibus voluminum,
Quis civitatis optimus foret status:
Sed hunc ab ipsâ sæculorum origine
Nec ulla vidit, nec videbit civitas.
At Contarenus optimam rempublicam
Parvi libelli disputationibus
Illam probavit esse, plus millesima
Quam cernit æstas Adriatico in mari
Florere pace, litteris, pecuniâ. [502]

Когда умерла Виттория Колонна, Фламинио написал скорбь о понесенной им потере и об угасании столь великого источника света для Италии. Эти стихи замечательны своей трезвостью и силой:—

Cui mens candida, candidique mores,
Virtus vivida, comitasque sancta,
Cœleste ingenium, eruditioque
Rara, nectare dulciora verba,
Summa nobilitas, decora vultûs
Majestas, opulenta sed bonorum
Et res et domus usque aperta ad usus. [503]

Тот же твердый и деликатный штрих в обрисовке характера придает ценность строкам, написанным после смерти его отца: —

Vixisti, genitor, bene ac beate,
Nec pauper, neque dives, eruditus
Satis, et satis eloquens, valente
Semper corpore, mente sanâ, amicis
Jucundus, pietate singulari.
Nunc lustris bene sexdecim peractis
Ad divûm proficisceris beatas
Oras; i, genitor, tuumque natum
Olympi cito siste tecum in arce. [504]

Рискуя расширить это представление о поэзии Фламинио за надлежащие рамки, я должен процитировать копию стихов, отправленную Алессандро Фарнезе вместе с томом, содержащим латинские *пролюзии* североитальянских ученых:

Hos tibi lepidissimos poetas
Dono, tempora quos tulere nostra,
Fortunata nimis, nimis beata
Nostra tempora, quæ suos Catullos,
Tibullos, et Horatios, suosque
Marones genuere. Quis putasset,
Post tot sæcula tam tenebricosa,
Et tot Ausoniæ graves ruinas,
Tanta lumina tempore uno in una
Tam brevi regione Transpadanâ
Oriri potuisse? quæ vel ipsa
Sola barbarie queant fugatâ
Suum reddere litteris Latinis
Splendorem, veteremque dignitatem. [505]

В этом отрывке заключен весь гуманизм — вера в единство итальянской цивилизации, убежденность в том, что средние века были всего лишь прерыванием исторической преемственности, уверенность в восстановлении классической литературы и твердая надежда на то, что латынь никогда не перестанет быть языком культуры. Фламинио ничего не говорит, разве что в скобках, о реальных бедах своей страны. Тирания испанца и насилие немца соотносятся со старыми обидами готов и вандалов в одной фразе — "*тотальные могилы руин*". Он не касается расчленения Италии на взаимно завистливые и подозрительные государства: для него итальянской нации, даже во сне, не существует. Его устраивает литературный идеал. Слишком удачливы, слишком благословенны наши дни, несмотря на то, что Флоренция уничтожена, Рим разграблен, Милан опустошен, Венеция обуздана, потому что, по правде говоря, Бембо и Фракасторо создали эпоху поэзии пинчбека. В этом заключалась неизлечимая слабость гуманистического движения. Тщеславие ученого, решившего искать настоящее в прошлом, заново возводящего стены Трои с помощью заимствованной музыки и поющего фальцетом, когда Рим горел, — эта слепота к действительному положению Италии была едва ли менее пагубной, едва ли меньшим признаком неспособности к гражданской жизни, чем эгоизм

деспотов или папства. Италии было суждено потерять свое место среди наций в тот самый момент, когда она восстанавливала культуру для современного мира; и когда эта культура была восстановлена благодаря ее трудолюбию и гению, не она, а народы Севера начали извлекать выгоду из этого приобретения — не ее имитации латинской музыки, а новым языкам Европы было суждено преобладать и вести эпоху.

Еще один момент для наблюдения заключается в том, что центр гуманитарных исследований сместился. [506] Флоренс, разочарованная, лишенная сил и высосанная досуха тиранами, придерживает язык. Школы Неаполя и Рима молчат. Ломбардия теперь является матерью поэтов, которые черпают свое вдохновение уже не в Вальдарно или миртовых рощах Позилиппо, а в голубых волнах Гарда. [507] Университетом, где наука по-прежнему процветает, является Падуа. Лучшие профессора классической литературы, Челио Кальканьини и Лилиус Гиральдус, преподают в Ферраре. Бембо, литературный диктатор своего века, Наваджеро, милейший стихосложенный, Контарини, самый трезвый студент, - венецианцы. Стефано Саули, автор цецероновского трактата о христианском герое, патриций из Генуи. Садовето и Мола - моденцы. Верона претендует на Фракасторо и Торриани. Имола - город-мать Фламинио. Кастильоне и Капилупо - уроженцы Мантуи; Амальтео и Вида - Форли и Кремоны; Бонфаддио и Арчио - озера Гарда. Если мы будем искать причины этой перемены, то найдем их отчасти в том обстоятельстве, что Венеция в тот период была свободной, в то время как Феррара все еще сохраняла свою независимость при местных князьях; отчасти также в том факте, что Флоренция уже перенапрягла свою интеллектуальную энергию. Подобно ползучему параличу, угасание свободы и духовной силы постепенно охватывало всех членов итальянской общины. Возрождению учености в Италии пришел конец в лице этих транспаданских поэтов.

Проследить историю философской мысли, приведенной в движение эпохой Возрождения и подавленной Контрреформацией, и описать последующий рост искусства и литературы, поощряемый католической реакцией, должно составить предмет отдельного исследования.

Я надеюсь, если у меня будет время и силы, после завершения моей работы о Ренессансе, проследить это продолжение в томе "Италия и Тридентский собор". К этой главе итальянской истории также относятся философия шестнадцатого века, поэзия Тассо, живопись болонских мастеров и новая музыка Палестрины.

ГЛАВА IX ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий обзор—Роль, сыгранная Главными городами в Возрождении—Озабоченность наукой, несмотря на войны и завоевания—Место гуманистов в обществе—Распространители похвалы и порицания—Лесть и клевета—Сравнение с софистами—Форма, предпочитаемая литературе—Идеал культуры как самоцели—Подозрение к ревностным церковникам—Вторжение гуманизма в Церковь—Безбожие гуманистов—"Прогимназма" Джиральди—Ариосто—Богемная жизнь—Личная безнравственность—Отсутствие твердых принципов—Профессиональное тщеславие—Литературная гордость—Оценка гуманистической литературы—Изучение стиля—Влияние Цицерона—"Изящные" Валлы—Стилистические ребячества—Ценность, придаваемая

риторике—"Ораторе"—Моральные эссе—Эпистолография—Историка—Критические и антикварные исследования—Высокая оценка античности—Либеральный дух—Поджо и Иероним Пражский—Гуманистический тип образования—Его распространение по Европе—Перспективы на будущее—Упадок образования в Италии.

Проследивая историю Возрождения, мы видели, как импульс, впервые переданный Петраркой, был продолжен Боккаччо и его непосредственными преемниками. Мы были свидетелями того, как увлечение античностью пустило корни во Флоренции, распространилось на Рим и проникло при дворах Италии. Один город за другим получает свет и передает его дальше, пока не будет пройден весь цикл обучения и энергия нации не иссякнет. Флоренция обнаруживает рукописи, основывает библиотеки, изучает греческий язык и возглавляет движение пятнадцатого века. Неаполь критикует; Рим переводит; Мантуя и Феррара формируют систему образования; Венеция передает классическую литературу в печать. Благодаря совместной и последовательной деятельности главных итальянских центров не только восстанавливается культура античности; она также присваивается во всех ее различных отраслях, обсуждается и иллюстрируется, выводится за пределы досягаемости случайностей и передается в целостности Европе. Работа, выполненная таким образом итальянцами, была начата в мирное время, но ее пришлось продолжать под давлением войн и национальных бедствий, не имеющих аналогов в истории ни одного другого современного народа. Студенты ни на минуту не ослабляли своей энергии. Посреди чужеземных армий, оглушенные грохотом пушек и шумом разграбленных городов, изгнанные из своих домов, лишенные своих книг, лишенные средств к существованию, они продвигались к своей цели с непреодолимым упорством насекомых. Барабаны и топот последовательных завоеваний и вторжений четырех воинственных наций — французов, испанцев, немцев, швейцарцев — не могли их потревожить. Капля за каплей Италия обескровливалась; с самого начала единственным вопросом было, кто из нападавших должен обладать красотой ее тупа. Однако студент, поглощенный своими рукописями, почти не обратил на это внимания. Чувство национальной принадлежности в Италии было настолько несуществующим, что итальянцы не знали, что их медленно убивают. Когда агония закончилась и разорение свершилось, они поздравили себя с тем, что по-прежнему являются хранителями светской литературы. Нации, которые есть нации, стремятся внушать страх или, по крайней мере, уважение. Итальянцы были довольны восхищением и уверенно смотрели на мир в поисках благодарности. Задача двух трудных, славных столетий была выполнена. Пропасть между Римом и эпохой Возрождения была преодолена, и был проложен простой путь для прогрессивного человеческого духа. Италия, утопанная в грязи крови и руин, по-прежнему должна вести за собой авангард и учить народы. Это было возвышенное заблуждение, последняя фаза импульса, столь мощного по своему происхождению, что предсказать конец было невозможно. И все же, насколько обманчивыми были эти ожидания, доказывает непосредственная история Италии, поработанной и пришедшей в упадок, опередившей народы, которым она учила, и презираемой миром, который был обязан ее почитанию.

Гуманисты, которые были органом этого интеллектуального движения, образовали, как мы видели, литературное содружество, рассеянное по всем дворам и городам Италии. Как секретари пап и принцев, как канцлеры республик, как ораторы на всех общественных и частных церемониях, они занимали важные влиятельные посты и имели возможность влиять на общество своим мнением. Более того, мы научились узнавать их в качестве университетских профессоров, домашних наставников на службе у знати и писателей. Тесно связанные между собой враждой не меньше, чем дружбой, и работающие ради одной общей цели - науки, эти

люди были неизбежны после того, как увлечение античностью когда-то вошло в моду, взять на себя руководство и сформировать гений нации. Их послания, инвективы, трактаты и панегирики привлекли внимание аудитории, которая охватила все культурные умы Италии. Таким образом, современная гуманистическая литература играла в пятнадцатом веке ту же роль, что и журналистика в девятнадцатом, и гуманисты обладали той же связностью по отношению к публике, что и *iquatrième état* нового времени. Уважение, которое они внушали как арбитры в вопросах похвалы и порицания, было сравнимо только с их обширными претензиями. Сообщается, что Евгений IV, живший в период их наивысшего влияния, говорил, что их в равной степени следовало опасаться за их злобу, как и любить за их ученость. Хотя они претендовали на право даровать бессмертие в виде чести или бесчестия, никто не осмеливался подвергать сомнению их заслуги перед потомством. Казалось, нет ничего более ужасного, чем судьба, уготованная Павлу II. на страницах Platina; и даже такой сильный правитель, как Франческо Сфорца, стремился купить похвалы Филельфо. Лесть во всех ее проявлениях, обильная и деликатная, оптовая и намекающая, была развита ими как искусство зарабатывать себе на жизнь. Официальная история этого периода становится почти бесполезной из-за постоянной ноты панегирических восхвалений. Наши уши оглушают восхваления мелких покровителей, превратившихся в меценатов, рыцарей ковра по сравнению с Леонидом, тиранов, равных Августу, и генералов, которые никогда не смотрели на кровопролитие, разыгранное как у Ганнибалов или Сципионов. В качестве дополнения к панегирику "искусство оскорбления" достигло своего апогея в инвективах, с помощью которых ученые стремились навеки предать своих товарищей "бессмертно погруженным" или очернить врагов общества своих работодателей. Как в случае похвалы, так и в случае порицания, невозможно придавать значение трудам гуманистов. Их безудержное стремление обесценивать друг друга пересилило само себя. Вся их клеветническая литература служит сейчас только для того, чтобы пролить свет на общую нечистоплотность эпохи, в которой такие чудовищные обвинения имели вес. К несчастью, этот двойной порок гуманизма пустил глубокие корни в итальянской литературе. Без ученых XV века вряд ли могли бы существовать такой разбойник, как Пьетро Аретино, который взимал черную пошлину с принцев острием своего ядовитого пера, или такой беспринципный биограф, как Паоло Джовио, который хвастался, что пишет золотым или серебряным пером, по своему усмотрению. Травля и заискивание запятнали сам источник истории, и ложные идеалы писательской деятельности были созданы практикой таких людей, как Поджо.

Очевидно и легко сравнить гуманистов эпохи Возрождения с софистами античности. Думаем ли мы о соперниках Сократа в Афинах или о греческих риториках римского периода, [508] параллель довольно близка. С некоторых точек зрения итальянские ученые напоминают нам о первом классе; с других, опять же, они напоминают о втором. Суть софизма заключается в замене реальности видимостью, безразличии к истине при условии честного представления в сочетании со словесной изобретательностью и практикой в искусстве изложения. Софист не чувствует необходимости формировать мнения на прочной основе или придерживаться принципов. Рассматривая мысль как предмет литературной обработки, он в основном озабочен тем, чтобы придать ей справедливое и правдоподобное выражение в языке. Вместо того чтобы признать, что он должен жить в соответствии с тем стандартом, который он исповедует, он получает удовольствие от того, что с силой выражает противоположное тому, что он делает. Разлад между его философией и поведением не вызывает в нем стыда, потому что убеждать красноречием и ослеплять риторикой - высший триумф его искусства. Фразы и предложения заменяют чувства и убеждения. Звучные интонации и гармония языка всегда готовы скрыть

недостаток содержания в его вопросе или неубедительность его аргументации. В то же время энтузиазм софиста по отношению к определенной форме культуры и его вера в софистический метод могут быть подлинными.

Литература Возрождения полна такого софизма. Люди, которые вели разгульный образ жизни, никогда не устали повторять общие места цicerоновской этики, восхваляя простоту и самообладание пером, которым они воспроизводили скандалы Марциала, смешивая дерзкие требования денег и лесть развратных деспотов с панегириками Пету Тразею и восхвалениями Цинциннату. И наоборот, выдающиеся исследователи трезвости, такие как Гуарино да Верона, не сочли вредным с восхищением приветствовать "Гермафродита" Беккаделли; в то время как превосходный Николай V. провел девять дней, изучая грязные сатиры Филельфо. Достаточно было того, что форма была элегантно, в соответствии с их стандартами вкуса, латинца обильной и добротной: —тематика не вызвала никаких сомнений.

Этот порок рассмотрения литературы только снаружи породил фатальную слабость в диссертациях того времени. Если гуманист хотел морализировать о непостоянстве судьбы или невыгодах супружества, он не брал на себя труд думать или заимствовать иллюстрации из собственного опыта. Он связывал воедино цитаты и классические примеры, затрачивая свой труд на отшлифовку стиля и воображая, что доказал что-то пикантностью, проявленной при обращении со старым материалом. Когда он взялся за историю, тот же самый недостаток был очевиден. Вместо того чтобы пытаться описать реальные условия своего родного города, его политические перипетии и конституционное развитие или нарисовать характеры его великих людей, он готовил воображаемые речи и избегал тем, которые невозможно выразить на чистой латыни. Результатом стало то, что целые библиотеки этических исследований и исторических трактатов, с гордой уверенностью завещанные их авторами для восхищения потомков, ныне покоятся в нетронутой пыли, периодически перебирая усталыми студентами с неугомонными пальцами в поисках таких скудных обрывков информации, которые не смог бы исключить даже гуманист.

Гуманисты снова стали похожи на софистов в своей профессии - учить мудрости за плату. То, чем философия была для ранних греков, классическая культура была для Италии эпохи Возрождения; и это ученые продавали. Античность лежала перед ними, как открытая книга. Со своего места среди ученых они раздавали новые знания о жизни нетерпеливым ученикам. И поскольку наиболее трезвомыслящие афиняне с подозрением относились к образовательной практике софистов, гуманистов стали бояться как растлителей молодежи. Особый поворот, который они придавали умственному воспитанию, отвлекая внимание от патриотических обязанностей к литературным удовольствиям, лишая студентов национальных интересов и отвлекая серьезные мысли от дел настоящего к интересам прошлого, имел тенденцию подтверждать политическую слабость итальянцев; также не может быть сомнений в том, что замена языческих идеалов христианскими усилила деморализацию эпохи. Многие аргументы, использованные Аристофаном и Ксенофонт, можно было бы привести против этих софистов эпохи Возрождения. [509]

По этому поводу стоит отметить, что, хотя гуманизм штурмом захватил Папский двор и с помпой и гордостью утвердился в Ватикане, низшее духовенство и лидеры религиозных возрождений не просто в духе слепых предрассудков, но и с убедительной аргументацией осудили его. С.

Бернардино и Савонарола были лишь двумя из многих, кто проповедовал против гуманистов с кафедры. И все же, хотя мы признаем, что влияние Возрождения нанесло ущерб морали и придало космополитическое направление энергии, которая должна была быть сосредоточена на сохранении национального существования, мы не можем присоединиться к этим церковным антагонистам в их крестовом походе. Гуманизм был необходимым моментом в эволюции современного мира; и какими бы ни были его ошибки, каким бы ослабляющим это ни было для Италии, этот этап должен был быть пройден, эта нация должна была пострадать ради общего блага.

Вторжение гуманистов в Папскую курию было победой чисто светского духа. Примечательно, что очень немногие ученые принимали заказы, за исключением случаев проведения небольших благотворительных мероприятий. Они оставались виртуальными мирянами, получая вознаграждение за свои исцеления на расстоянии. Если Филельфо после смерти своей второй жены предложил вступить в Церковь, он сделал это потому, что в своем огромном тщеславии надеялся получить "алую шляпу" и считал, что это стоит того, чтобы пожертвовать независимостью. Единственным великим монашеским *литтературом* был Амброджио, генерал Камальдозеского ордена. Маффео Вегио - единственный на моей памяти пример поэта-филолога, который надел капюшон. Понятно, что эти заявления относятся главным образом ко второму, или агрессивному, периоду Возрождения. Классическая эрудиция была настолько распространена в четвертом классе, что отсутствие гуманистической настойки было, даже среди церковников, скорее исключением, чем правилом. Более того, в эпоху Льва гуманисты как класс прекратили свое существование, растворившись в общей культуре нации. Их преемниками были по большей части кардиналы и епископы, возведенные в высокое звание за литературные заслуги. Это изменение, однако, действительно свидетельствовало о полном триумфе идеала, который на мгновение преуспел в язычестве папства и подменил церковную традицию собственным стандартом совершенства.

Это внешнее разделение между гуманистами и Церковью соответствовало их глубокой внутренней нерелигиозности. Если для подтверждения этого утверждения потребуются свидетельства современников, я могу свободно процитировать Лилиуса Гиральдуса, Баттисту Мантовано и Ариосто, не говоря уже о инвективах, свидетельствующих о такой огромной массе почти невероятной распущенности. Риторический трактат, адресованный Джану Франческо Пико Лилиусом Гиральдусом, сам выдающийся профессор в Ферраре, знакомит нас с мнением, сложившимся в Италии после столетнего опыта, о пороках и противоречивой жизни ученых. [510] "Я призываю Бога и людей в свидетели, - пишет он, - возможно ли найти людей, более подверженных неумеренным душевным волнениям, таким эмоциям, которые греки называли *πάθη*, или таким желаниям, которые они называли *ὀρμῆς*, на которых легче влиять, которыми они управляют и влекут во всех направлениях. Нет класса людей, более подверженных гневу, более раздутых тщеславием, более высокомерных, более дерзких, более гордых, тщеславных, праздных, непоследовательных, самоуверенных, непостоянных, упрямых; одни из них готовы поверить в самую невероятную бессмыслицу, другие скептически относятся к общеизвестным истинам, одни полны сомнений и подозрений, другие лишены разумной осмотрительности. Ни у кого из них нет менее свободного духа, и это по той самой причине, о которой я говорил ранее, потому что они считают себя намного более могущественными. Все они, действительно, претендуют на всеведение, воображают себя выше всех и почитают себя богами, в то время как мы, необразованные людишки, сделаны из глины, как они утверждают." Некоторое время поговорив об их безумном образе жизни, Гиральдус продолжает подробно обвинять гуманистов

в порочных страстях, неэкономии, нечестии, обжорстве, невоздержанности, лени и невоздержанности. [511] Это оскорбление читается как парадоксальный тезис, поддержанный ради новизны умным ритором; и, действительно, оно могло бы сойти за таковое, если бы не подтверждение, которое оно получает в седьмой сатире Ариосто, адресованной Пьетро Бембо. [512] Поэт, стремящийся найти наставника для своего сына, не осмеливается поручить молодого человека заботам гуманиста. Его картина их личной безнравственности, нечестия, гордыни и обжорства приобретает вес благодаря хорошо известной терпимости сатирика и его добродушной скупости выражений. Цитирование дополнительных свидетельств из личных признаний Пачификуса Максима вряд ли усилит аргумент, хотя студентов можно отсылать к его стихотворениям для получения подробной информации. [513]

Переменчивость судьбы, которой подвергались гуманисты — одно время они жили в роскоши, обласканные и баловнем судьбы; затем были брошены скитаться в почти полной нужде, забытые и осмеянные, — поощряла божественное безрассудство, вредное для хороших манер. Их частая смена места жительства точно так же сказывалась на их характере, подвергая их новым искушениям и избавляя от порицания. У них не было другой страны, кроме страны грез древности, не было законов, выходящих за рамки закона вкуса и склонностей. Они не признавали никакого авторитета, превосходящего их собственное возвышенное суждение; они не склонялись ни перед каким судом, кроме суда потомства и прошлого. Таким образом, они жили в рамках своего собственного тщеславия, вне обычаев и мнений; и мир, по крайней мере до периода их падения, не был скрупулезен в подсчете их ошибок или исправлении их пороков.

Однако гораздо важнее этих обстоятельств была их страсть к языческому идеалу. Изучение классики и попытка усвоить дух древних подорвали их христианство, не заменив его религией или этикой старого света. Они перестали бояться Бога, но не приобрели ни самоограничения грека, ни патриотических добродетелей римлянина. Оказавшись таким образом без защиты, они заняли опасную позицию людей, чьим регулирующим принципом был литературный вкус, которые оставили почву веры и общепринятых условностей ради мелей невозвратимого прошлого. По этому морю они блуждали, не имея никакого руководства, кроме побуждений недисциплинированного "я". Поэтому неудивительно, что, исповедуя стоицизм, они погрязли в чувственности, открыто переносили худшие привычки языческого общества и посвящали свою изобретательность объяснению мерзости, которую можно было бы обойти молчанием. Распущенность стала особой отраслью гуманистической литературы. Под тонкой маской гуманной утонченности скрывался неукротимый дикарь; и эпоха, которая небезосновательно хвасталась своим умственным прогрессом, в то же время была печально известна пороками, позорящими человечество. Эти расстройства ученых, скрытые до поры до времени за ученым языком, закончились тем, что осквернили гений нации. Просторечный *Капитолий* Флоренции ясно говорит о том, чем Беккаделли, Поджио и Бембо гордились, надевая вуали.

Другим заметным недостатком гуманистов, столь же неотделимым от положения, которое они заняли в Италии, было их личное и профессиональное тщеславие. Баттиста Мантовано, описывая бедствия эпохи, в которую он жил, причисляет их к наиболее выдающимся примерам гордыни в своем каталоге смертных грехов. Считая себя возрожденцами славного прошлого и основателями новой цивилизации, они не были удовлетворены утверждением своих реальных заслуг в сфере науки. Они пошли дальше и претендовали на звание мудрецов, политических философов, авторов бессмертных историй и исполнителей бессмертных стихов. Самые жалкие поэты были увенчаны лаврами. Самые тривиальные мыслители выносили приговор управлению

государством. Ошибочно принимая простую образованность за гениальность, они верили, что, поскольку они внимательно изучали авторов древности и могли подражать Овидию на почтительном расстоянии, их слава сохранится во все века. В силу этой уверенности они напускали на себя непостижимый вид, взирая свысока с высоты своих достижений на нечестивую толпу. Понять, что, в конце концов, античность была школой, в которой готовили современный интеллект к подлинному творчеству, было не дано этой эпохе открытий. Потомство, к сожалению, опровергло их ожидания. Из всех их трактатов и комментариев, стихотворений и переводов, как мало их сейчас помнят; как редко их имена звучат на устах даже тех, кто называет себя учениками! Наш долг благодарности перед ними действительно велик, и он должен быть сполна оплачен нашей уважительной памятью обо всем, что они сделали для нас своим трудом на ниве обучения. И все же Филельфо со страстным разочарованием перевернулся бы в гробу, если бы мог знать, что люди более широкого кругаозора и более эрудированные ценят его труды исключительно как сброшенные листья, удобряющие почву литературы.

Прежде чем перейти, как это естественно на данном этапе, к оценке гуманистов в их качестве авторов, будет уместно кратко охарактеризовать осуждение, вынесенное их персонажам. Взятые как класс, они заслуживают самых суровых слов, которые когда-либо были сказаны в их адрес. Однако не следует забывать, что в их рядах были такие люди, как Амброджо Траверсари, Томмазо да Сарцана, Гуарино, Якопо Антиквари, Витторино да Фельтре, Помпоний Лет, Фичино, Пико, Фабио Кальви и Альд Мануций. Простого перечисления этих имен будет достаточно для тех, кто читал предыдущие главы. Благочестие, трезвость нравов, самоотверженность общественным интересам, чистейший литературный энтузиазм, самые возвышенные устремления, справедливость суждений и великодушные чувства отличают этих людей и некоторых других, которых можно было бы упомянуть, от большинства их собратьев. И опять же, несправедливо обвинять одних только гуманистов в пороках, характерных для их эпохи. Картина, которую я рискнул нарисовать о папских и деспотических нравах в предыдущей книге, показывает, что слишком строгие стандарты не могут применяться к ученым, занимающим менее ответственные должности, чем их покровители, и исповедующим гораздо более свободный кодекс поведения. Кроме того, многое в их непомерном тщеславии можно приписать увлечению народа. Таких сцен, как прием предполагаемого автора "Гермафродита" в Виченце, было достаточно, чтобы вскружить головы даже более сильным мужчинам. [514]

Трудно оценить гуманистическую литературу по достоинству, учитывая, что гораздо большая ее часть, послужившая цели временной полезности, теперь забыта. Не само по себе, а его эффект - вот что мы должны оценить; и конечным продуктом всего движения было создание новой способности к самосовершенствованию. Восстановить в Европе знание классики и восстановить стиль древних, чтобы свободно использовать латинскую прозу и стихи в то время, когда латынь стала универсальным средством распространения культуры, является первой реальной заслугой гуманистов. Ничто не может отнять у них эту славу; как бы сильно мы ни были вынуждены чувствовать, что их критические труды были вытеснены, что их диссертации скучны, что их стихи в худшем случае не дотягивают до уровня оксфордской премии, а в лучшем случае служат достойным приложением к "Корпусу поэтов". Мы также не можем обманом лишить их славы за то, что они стремились реализовать идеал Петрарки. [515] Этот идеал, лишь частично достигнутый в какой-либо отдельной точке, развитый в одном направлении Мильтоном, в другом - Гете, все еще направляет и еще долго будет направлять усилия современного интеллекта.

Наиболее характерной чертой этой литературы было изучение стиля. Новички гуманистического движения осознали, что больше всего на свете их отличало от римских предков отсутствие изящества в дикции. Они использовали тот же язык, но использовали его неуклюже. Они могли думать о том же, но утратили искусство выражать их пристойно. Поэтому первоочередной задачей было восстановить стиль. Преувеличивая ее важность, они пренебрегли материей ради формы и в конце концов создали литературу подражания. Идеал, который они предлагали в композиции, включал ясность языка, простоту структуры предложений, какими бы длинными они ни были, отборность фраз и обильный словарный запас. Быть понятным было первым требованием; быть привлекательным - вторым. Справившись с элементарными трудностями, они приступили к закреплению правил декоративного письма. Цицерон сказал, что нет ничего более уродливого или обыденного, но что риторика может придать этому очарование. Это неудачное изречение, подразумевающее, что стиль, как отдельный от материи, ценен сам по себе, ввело итальянцев в заблуждение. Составлять банальные сборники фраз, взятых из "Тускуланцев" и "Речей", выбирать какую-нибудь тривиальную тему для обращения и превращать ее в повод для словесной демонстрации, стало их делом. В кружках Рима и Флоренции ученые оценивали друг друга по их изобретательности — другими словами, по их способности создавать цicerоновские и виргилианские центосы. Действительно, немногие, подобно Пико, поднимали свой голос против таких пустяков или протестовали против того, что мысли и чувства человека по меньшей мере так же важны, как его способность облекать это в риторику.

Появление "Элегантности" Валлы ознаменовало эпоху в эволюции этого стилистического искусства. Своего апогея оно достигло в творчестве Бембо. То, что задумывали гуманисты, они достигли. Чистота и прозорливость языка были обязательными условиями для всей литературы, привлекавшей внимание; возможно, не будет преувеличением сказать, что Расин, Паскаль и Вольтер отчасти обязаны своим волшебством обучению этих изношенных педагогов. Однако непосредственный эффект в Италии, когда сила Макиавелли покинула нацию, а стилистическая традиция сохранилась, был плачевным. Ничто так не поражает изучающего авторов постренессанса с севера, как пустая гладкость их письма, их способность ничего не говорить с огромным расходом фразы, их боязнь бытовых деталей и тривиальность предметов, которые они выбирали для иллюстрации. Когда такой остроумный человек, как Аннибале Каро, мог подняться и похвалить нос президента перед ученой академией в периоды такой некомпетентности — "Насо совершенное, насо принципале, насо божественное, насо че бенедетто сиа фра тутти и наси; и бенедетта сиа квелла мама че ви фесе коси насуто, и бенедетта тутте квелла косе вои аннусате!" [516] — мы прослеживаем не более чем пародию на гуманистические поиски стиля. Следует, однако, признать, что менее артистичной нации нелегко отдать должное итальянцам в этом отношении. Они получали эстетическое удовольствие от утонченности речи и тонких оттенков выразительности, в то время как они не меньше нас сознавали, что рабочий корабля превзошел материю. Подходящий аналог их риторике можно найти в изысканных, но слишком ничего не значащих арабесках из мрамора и дерева, которые принадлежат архитектуре Чинкве Ченто. Рассматриваемые как игрушки искусных художников, они не лишены ценности; и мы склонны, возможно, неоправданно обесценивать их, потому что нам не хватает чувства их особой формы красоты.

Если наиболее заметной чертой гуманистической литературы было создание латинского стиля, то верховными диктаторами были Цицерон в прозе и Вергилий в стихах. То, что Цицерон очаровал италиков в эпоху, когда господствовало искусство, когда богатство декораций,

беглость риторики и помпезность фраз взывали к самым живым инстинктам этой любящей великолепию, чувствительной расы декламаторов, естественно. Эпоха Возрождения нашла именно то, что хотела, в образе наиболее красноречивого из латинских авторов, который сам был ритором среди философов, оратором среди государственных деятелей, слабость характера которого была сродни той, что лежала в основе общества пятнадцатого века. Быть "обезьянами Цицерона" во всех областях литературы, которые он культивировал, гуманисты считали религиозным долгом. [517] Хотя им не было места в сенате, за кафедрой или в суде, они охотно подражали его ораторскому искусству. Поэтому публичные обращения к послам, к магистратам при вступлении в должность и к папам в связи с их избранием; эпиталамии и заупокойные речи; панегирики и поздравления — звучали повсюду в Италии. Пятнадцатый век был золотым веком развития речи. Человека оценивали по тому, насколько свободно он говорил на латыни; обилие цитат вызывало аплодисменты; а готовность отвечать под влиянием момента плавными фразами Цицерона считалась одним из качеств, которые приводили к доверительным должностям в Церкви и государстве. С другой стороны, отсутствие слов по любому торжественному поводу считалось одним из величайших жизненных бедствий.

Распространенное имя посланника, *оратор*, в достаточной степени указывает на общественное значение, придаваемое риторике. Это было необходимой частью парада, который любил Ренессанс, и, более того, частью его дипломатической машины. Сочинять речи, которые никогда не могли быть произнесены наизусть, было модным занятием; и поскольку существовали "Веррины" и "Филиппики", не упускался случай передать что-то от их духа в инвективах, о которых так много уже было сказано. Пустота всего этого красноречия, оторванного от серьезных жизненных забот и лишенного реальной ценности, имела тенденцию усиливать софистический характер литературы. Красноречие, которое должно было быть обязано своей силой страстным эмоциям или серьезности смысла, выродилось в простую игру слов; и словесное мастерство до такой степени переоценивалось, что ученый мог приписать славу Юлия Цезаря его "Комментариям", а не его победам. [518] Похоже, ему не приходило в голову, что Помпей был бы рад, если бы Цезарь всегда держал в руках перо, и что Брут вряд ли ударил бы ножом дружелюбного литератора. Когда мы читаем подлинно гуманистическую речь, мы обнаруживаем, что она в основном состоит из банальных историй и цитат. Играть на текстах древности, как пианист на клавишах своего инструмента, было немалой частью красноречия; и музыка звучала приятно для ушей, жадных до самих названий древних произведений. Веспасиано упоминает, что Карло Аретино был обязан своей ранней известностью во Флоренции одной лекции, в которой приводились ссылки на всех классических авторов.

Стиль, использовавшийся для моральной диссертации, был в равной степени цicerоновским. Диалоги, в частности, вошли в моду; и поскольку было опасно вводить материал, неподходящий для фраз Талли, эти рассуждения обычно лишены местного колорита и современного интереса. Немногие обладают такой ценностью, какую придают началу "Эссе о судьбе" Поджо, трактату Валериано "О несчастиях ученых" или нападкам Джиральди на гуманистов.

Другой важной отраслью литературы, созданной по образцу шедевров Цицерона, было написание писем. Эпистолография гуманистов могла бы составить отдельную отрасль исследования, если бы мы захотели проследить ее историю через несколько этапов и проанализировать имеющиеся в нашем распоряжении запасы. Петрарка, обнаружив знакомые буквы римского оратора, первым дал толчок к созданию такого рода композиции. В старости он рассказывает, как в юности над ним смеялись за то, что он использовал латинский стиль *ты* вместе с римской формой надстрочного письма. [519] Я уже упоминал о том, какую ценность

она приобрела благодаря практике Колуччо Салютато и учению Гаспарино да Барзиццы. [520] Со временем были составлены сборники формул и составители вежливых писем, что позволило новичкам безопасно перенять Цицероновские манеры. [521] Папская курия санкционировала ряд прецедентов для руководства своими секретарями, в то время как послания выдающихся канцлеров служили образцами для депеш республиканских правительств.

Частные письма ученых были полезны для поддержания связи между несколькими культурными центрами Италии. Из этих источников мы также черпаем много интересной информации, касающейся общественной жизни гуманистов. Похоже, они избегали политических, богословских и практических тем, культивируя стиль вежливых комплиментов, обмениваясь мнениями о книгах, прося о небольших одолжениях, признавая обязательства, рекомендуя друзей благосклонно, время от времени описывая свой образ жизни, обсуждая качества своих покровителей с осторожной сдержанностью, но стремясь прежде всего продемонстрировать изящество дикции и элегантный юмор, а не эрудицию. Тот факт, что эти латинские послания неизменно предназначались для распространения и окончательной публикации, делает бесполезным искать в них понимания сугубо частных вопросов. [522] Для историка наиболее ценные собрания писем эпохи Возрождения составлены на итальянском языке и обычно являются работой не ученых, а агентов, шпионов и посланников. По сравнению с отчетами венецианских послов переписка гуманистов не имеет большого значения. Однако в дополнение к знакомым письмам нередко случалось, что студенты писали послания на темы, представляющие общественный интерес. Предназначенные своим распространением повлиять на общественное мнение и адресованные влиятельным друзьям или покровителям, эти сочинения приняли форму брошюр. Такого рода письма по восточному вопросу Филельфо посылал французскому королю Карлу VII, императору Маттяшу Корвину, герцогу Бургундскому и Урбинскому и венецианскому дожу. Бессмертие, которого гуманисты ожидали от своих посланий, вряд ли выпало на их долю; хотя большая часть переписки Полициано, Пико, Антиквар и Пикколомини по-прежнему остается восхитительным и поучительным чтением. Массы, дошедшие до нас в рукописи, превышают то, что было напечатано; в то время как печатные тома, за некоторыми редкими исключениями, среди которых можно упомянуть письмо Полициано Антиквари о смерти Лоренцо, используются только студентами. [523]

Поскольку Цицерон не оставил образцов истории, гуманисты были вынуждены следовать примеру других мастеров в этой области литературы. Ливий был автором их пристрастия. Цезарь снабдил их образцом для составления комментариев, а Саллюстий - для кратких монографий. Светонию следовали в таких подробных исследованиях характера, как "Жизнь Филиппо Марии Висконти" Декабрио. Я не нахожу, чтобы у Тацита были отъявленные подражатели; высокопарность риторики, а не острота сарказма, соответствовала вкусу эпохи. На недостатки гуманистических историй уже указывали. [524]

О заслугах гуманистов в качестве комментаторов, переводчиков, критиков текстов, составителей грамматик и словарей всех видов, собирателей разнообразной информации и составителей статей о древностях до сих пор помнят. Их усердие в этой области сильно отличалось от труда, который они посвящали совершенствованию стиля. Что бы мы ни думали о них как о литераторах, мы обязаны воздать их эрудиции почти безоговорочную похвалу. На самом деле, нельзя сказать, что их ученость в большей степени, чем их литература, была окончательной. Она тоже была вытеснена; но она легла в основу более надежного метода и сделала возможным достижение более определенных знаний. Не будет преувеличением

сказать, что современная культура, поскольку она восходит к античности, всем обязана неутомимой энергии гуманистов. До эпохи книгопечатания ученым приходилось хранить в своей памяти энциклопедическую информацию, в то время как само отсутствие критического метода, не позволяя им точно различать хорошее и плохое, позволяло им иметь более широкий и всесторонний взгляд на классическую литературу, чем это принято сейчас, во всяком случае. Античность в целом, а не только авторы античной эпохи или эпохи Августа, вызывала их восхищение; и хотя они посвятили специальное изучение Цицерону и Вергилию в целях стиля, они охотно принимали каждое греческое или латинское сочинение, от самого раннего до самого позднего. Этому всеядному аппетиту ученых старшего поколения мы, возможно, обязаны сохранением многих фрагментов, которые более тонкий вкус отверг бы. Несомненно, именно им мы обязаны представлением о классике во всей ее полноте как о подлинном источнике культуры для человечества. Пуризм Вида и Бембо, хотя и проистекал из более утонченного восприятия, в некоторых отношениях был отступлением от широкой и либеральной эрудиции их предшественников. Ученичество у Вергилия может сделать из него стихотворца; но тот, кто стремится постичь латинский гений, должен знать римских поэтов от Энния до Клавдиана.

Наконец, мы должны воздать должное гуманистам за их распространение либерального духа. Воодушевленные энтузиазмом античности, они впервые отважились занять точку зрения вне католицизма; и хотя они лишь плохо использовали эту духовную свободу, склоняясь к легкомыслию и безбожию вместо того, чтобы сражаться в битве разума, все же их широкий и человеческий взгляд на мир был сам по себе воодушевляющим. Поджио на Констанцском соборе считал Иеронима Пражского не еретиком, не фанатиком, а стоиком. Другими словами, он был способен избавить свой разум от временных ассоциаций и общепринятых предрассудков и распознать истинный характер человека, который героически пострадал за свои мнения. Этот пример иллюстрирует общий тон и темперамент гуманистов. Изучение античности освободило их от схоластического педантизма теологов и от профессионального тщеславия юристов и врачей. В человеческой природе нет ничего великого и благородного, что, как нам кажется, не выросло бы и не расцвело под их руководством, если бы обстоятельства Италии были более благоприятны для высоких устремлений. Как бы то ни было, свет рано погас и затуманился низменными испарениями чувственного, поработленного и развращенного священниками общества. Жизненная сила Возрождения перешла в Реформацию; гуманисты, деградировавшие и деморализованные, были вытеснены. Тем не менее, именно они создали новую атмосферу культуры, в которой с тех пор процветает все светлое в искусстве, литературе, науке, критике и религии. Хотя мы можем понять, что они подчинялись ложному авторитету — классике и поклонялись ложному стилю идола, все же современная свобода должна воздать им должное за это. Если мы примем во внимание, что еще до окончания шестнадцатого века они пропитали всю итальянскую нацию своими взглядами, сформировав новую литературу, направив все виды умственной деятельности и задав новый социальный тон, и, более того, что Италия в шестнадцатом веке произвела впечатление своим духом на остальную Европу, мы имеем право приветствовать гуманистов как школьных учителей современной цивилизации.

Нам, школьным учителям в более строгом смысле этого слова, нелегко преувеличить влияние, оказываемое итальянскими студентами. Они первыми задумали и оформили образование, которое в настоящее время преобладает в Европе на протяжении четырех столетий, формируя молодежь различных наций единой дисциплиной и устанавливая интеллектуальное согласие для всех народов. Несмотря на изменения в правительстве и вероисповедании, несмотря на

различия, вызванные расой и языком, мы сохранили единство культуры благодаря одновременному изучению классических дисциплин в соответствии с принципами, установленными для учителей учеными пятнадцатого века. Система наших университетов и государственных школ, по сути, не что иное, как система, разработанная Витторино и Гуарино. Таким образом, гуманизм в современной Европе продолжил работу, проделанную Церковью в Средние века, объединив в единую конфедерацию духовной деятельности народы, разделенные всем, что стремится разделить человеческие семьи.

До недавнего времени в Англии *гуманитарная литература* считалась самой надежной подготовкой к карьере в Церкви и государстве, к ученым профессиям и к выполнению личных обязанностей джентльмена. Если старый идеал уступает, наконец, место теориям более широкого образования, основанного на науке и современных языках, то отчасти это связано с распространением полезных знаний, а отчасти с усвоением классической литературы современным сознанием. Сумма знаний, которые должен знать образованный человек, чтобы сохранить место среди пионеров прогресса, настолько обширна, что учащиеся, отвлекаемые различными предметами, возмущаются тратой драгоценного времени на изучение греческого и латыни. Учителя, с другой стороны, благодаря долгому знакомству с гуманитарными науками, погрузились в томление рутины. Кроме того, по мере роста знаний в каждом новом отделе необходимость специализации с целью выбора профессиональной карьеры постоянно ощущается с еще большей остротой. Поэтому можно с полным основанием утверждать, что мы переросли условия гуманизма и что наступил новый этап в истории образования. Разве древние не сделали для нас все, что в их силах? Разве наши умы не пропитаны их мыслями? Разве шедевры современной литературы не содержат в себе лучшее, что можно извлечь из них для дальнейшего использования?

На эти вопросы, возможно, можно ответить встречным вопросом, не всегда ли искусство и литература греков и римлян будут занимать свое место не только в формировании чистого вкуса, но также в дисциплине характера и воспитании интеллекта. С таким же успехом мы могли бы перестать изучать священные книги евреев, потому что мы внедрили их этику в нашу совесть и включили их религию в нашу литургию. Никакая передача духа из вторых или третьих рук не может быть такой же, как непосредственный контакт с ним; и мы также не можем позволить себе, какой бы насыщенной ни была наша умственная жизнь, терять яркое ощущение того, кем были люди и что они творили в далекие от нас эпохи, особенно когда эти люди были нашими начальниками в определенных сферах. Опять же, могут возникнуть сомнения в том, должны ли мы понимать шедевры современной литературы, когда мы оказались оторванными от источников их вдохновения. Если бы Олимп означал меньше, чем Асгард, или Геркулес был бы нам знаком не больше, чем Рустем, или кони Солнца стояли бы от нас на таком же расстоянии, как коровы Индры, — если бы мы действительно отказались от греческой мифологии в той же степени, в какой отказались от скандинавской, персидской и санскритской, — разве некоторые из самых ярких образов наших собственных поэтов не превратились бы в свинцово-серые, подобно облакам, потерявшим отблеск живого света?

Поэтому не исключено, что еще много лет высшая культура человечества будет по-прежнему основываться на гуманизме: хотя и верно, что первоначальный энтузиазм по отношению к античности никогда не возродится, а классика не даст той жизненной пищи, которую она давала весной современной эпохи. Для обычных студентов, у которых нет особого призвания к литературе и эстетическим вкусам, вполне может случиться так, что придется изобретать новые

методы преподавания классики. Почему бы им не быть прочитанными в английских версиях и таким образом не сэкономить время, затраченное на изучение греческой и латинской грамматики? Практика греческого и латинского стихосложения практически уже обречена; нет также никаких причин, по которым латинская проза должна составлять необходимую часть образования в эпоху, когда перестали публиковать свои мысли на теперь уже совершенно мертвом языке. Наше действительное отношение к древним, опять же, оправдывает некоторые изменения. Сейчас мы знаем о них гораздо больше, чем в эпоху Возрождения; но они больше не являются чем-то общим для цивилизованного человечества, стремящегося воссоздать сферу мысли и заново обрести свое более благородное "я" в образе славного прошлого, отвоёванного и неотъемлемого. Сама культура, созданная изучением античности на протяжении последних четырех столетий, стоит между ними и нашим восприятием, так что в тот же момент они кажутся более отличными от нас и в большей степени частью нашего знакомого "я".

Когда мы ищем причины, приведшие к упадку образования в Италии примерно в середине XVI века, мы прежде всего приходим к выводу, что тип науки, заложенный Петраркой, был полностью развит. Не оставалось ничего нового, что можно было бы разработать в намеченных им направлениях. Между тем силы нации, как творческие, так и восприимчивые, были исчерпаны на старых поприщах гуманизма. Читающая публика была завалена посланиями, инвективами, поэмами, речами, историями древностей и всевозможными исследованиями. Содержание древних литератур было усвоено, если и поверхностно, то, по крайней мере, полностью, и их формы воспроизводились с утомительным повторением. Язычество, которое так долго было модным, теперь выходило из моды из-за своей неспособности удовлетворить более глубокие потребности и устремления современного мира. Более того, гуманисты как класс приобрели дурную славу из-за ошибок и пороков, о которых уже было сказано достаточно. Ничто, кроме нового импульса, который мог бы передать новый гений, равный по силе, по крайней мере, Петрарке, не могло бы придать новое направление угасающему увлечению античностью. Но к такому проявлению энергии итальянцы оказались не готовы. Подобно тому, как при восхождении на какую-нибудь высокую вершину путешественник, преодолев сосновые леса и альпийские пастбища, натывается на голые травянистые склоны, образующие промежуточную область между подножием горы и снежными полями над головой, так и гуманисты достигли первого этапа обучения. Но это требует нового старта и задействования других способностей, чтобы достичь последних высот; а для этого не хватало сил. Эразмус в начале века действительно положил начало второй эре науки. Более точные методы критики и сравнения уже были готовы внедриться французами, немцами и голландцами. Однако было бы чересчур ожидать, что итальянцы, которые потратили всю свою энергию на восстановление классики и возрождение страсти к знаниям, будут соревноваться на почве современной эрудиции с этими свежими и неопытными расами.

Что бы они могли сделать, если бы обстоятельства были менее неблагоприятными и если бы путь прогресса был перед ними свободен, невозможно предположить. Как бы то ни было, все обстоятельства способствовали упадку интеллектуальной энергии в Италии. Отвлекающие войны, длившиеся полвека, сильнее сказались на литераторах, само существование которых зависело от щедрости покровителей, чем на любой другой части населения. О том, какие страдания они пережили в Ломбардии, можно почерпнуть из предисловий и посланий Альда Мануция; в то время как удар, нанесенный им разграблением Рима, ярко описан Валериано.

[525] Когда был восстановлен относительный мир, свобода была уничтожена. Флоренция, оплот

либерального образования, была порабощена. Наука не меньше, чем искусство, пострадала от потери политической независимости. Рим, охваченный ужасом Реформации, с яростью обратился против тех самых исследований, которые она помогла стимулировать. Орудия инквизиции, которыми со всей безжалостностью паники управляли люди, за которыми стояла мрачная жестокость Испании, уничтожили зародыши жизни в науке и философии.

В какой-то степени, опять же, итальянские ученые подготовили свое собственное самоубийство, все больше и больше склоняясь к тонкости вкуса и наигранной утонченности. Пуризм шестнадцатого века сам по себе был своего рода этиологией, а ребячество академий отвлекало даже способных людей от серьезных занятий. Одним из неизбежных недостатков гуманизма было то, что новая культура отделяла литераторов от нации. Данте и чесальщики шерсти четырнадцатого века понимали друг друга; тогда не было плотной завесы эрудиции между учителем и обучаемыми. Но ни Бембо, ни Помпонацци не могли сказать ничего такого, что могло бы быть понято простыми людьми. Поэтому наука была оставлена в печальной изоляции; Церковь подозревала ее, когда она переходила от пустяков к серьезным спекуляциям; люди относились к ней с безразличием; она не вызывала никакого сочувствия и, что было хуже, не имела программы или лозунга. Мыслители, биография которых принадлежит истории Контрреформации в Италии, все были одиночками, голосами вопиющего в пустыне, которых некому было слушать, не связанными никакими общими узами, незамеченными нацией, поодиночке уничтоженными на эшафоте неусыпно бдительной лигой духовных и политических тиранов.

К концу шестнадцатого века греческий язык в Италии почти перестали изучать. Это был признак интеллектуальной смерти. Все, что было мужественного в гуманизме, улетучилось за Альпы. Этот перенос интеллектуального превосходства из Италии в Германию был осуществлен быстро. "Когда я был мальчиком", - сказал Эразм, [526] "звуковое письмо начало возрождаться среди итальянцев; но из-за того, что искусство книгопечатания было еще не открыто или известно немногим, до нас не доходили книги, и в глубоком спокойствии скуки царила группа людей, которые преподавали во всех наших городах наиболее неграмотное обучение. Родольф Агрикола был первым, кто привез к нам из Италии какое—то дуновение высшей культуры". Опять же, он говорит об Италии: "В этой стране, где даже сами стены более образованны и красноречивы, чем люди у нас; так что то, что здесь кажется красиво сказанным, элегантно и полным очарования, не может считаться чем—то иным, кроме как неуклюжим, глупым и некультурным". Менее чем через полвека после того, как Эразм получил право поддерживать равновесие между народами Севера и Юга, то есть в 1540 году или позже. примерно так: Паоло Джовио в конце своей "Elogia Literaria", говоря о немцах, счел своим долгом признаться, что "к нашему стыду, не только латинские буквы, но также греческий и иврит попали на их территорию в результате фатальной одновременной миграции".

Таким образом, Италия, получив светильник познания из умирающих рук Эллады в дни своей собственной свободы, теперь, во время своих невзгод и разорения, передала его народам Севера. Ее работа была закончена. Перед ней были три столетия нарастающего одряхления, которые на нашей недавней памяти были наконец наиболее счастливо преодолены. Можем ли мы задаться вопросом, может ли история представить зрелище более трогательное, чем то, когда героиня духовной свободы беспокойно засыпает под скамеечкой для ног испанца и церковника, в то время как расы, растоптавшие ее до смерти, продолжают радоваться свету и культуре, которые она завоевала вековым трудом? Таков трагический аспект темы, которая

занимала нас на протяжении всего настоящего тома. В заключение всего этого, однако, полезнее вспомнить не об интеллектуальной смерти Италии, а о том, что она сотворила в тот яркий период своего расцвета. Она была назначенным богом местом рождения современного духа, мастерской знаний для всей Европы, нашей наставницей в искусстве и науке, Альма-матер наших студенческих лет, родником духовной свободы и активности после веков застоя. Если с тех пор Германия, Франция и Англия произвели на свет более великих философов, более выдающихся ученых, более выдающихся людей науки, даже более выдающихся поэтов и более выдающихся пионеров прогресса в землях, о которых Христофор Колумб предсказал за морями, — это не должно закрывать нам глаза на истину, что в самом начале эпохи, в которой мы живем и играем свои роли, Италия в одиночку восприняла всю философию, всю ученость, всю науку, все искусство, все открытия. Такова Лампадефория, или гонка факелов, народов. Греция протягивает руку Италии; Италия передает священный огонь Северной Европе; народы Севера передают пламя Америке, Индии и австралийским островам.

СНОСКИ

[1] На оригинальное издание этого тома.

[2] Можно было бы привести аналогию с человеком. Мы осознаем внутри себя времена, когда мысль плодородна, а прозрение ясно, времена зачатия и проекции, за которыми следуют периоды медленного переваривания, ассимиляции и формирования, когда творческая способность застаивается, и вся сила интеллекта поглощается тем, чтобы годами осваивать то, на разгадку чего потребовались минуты.

[3] См. *Том I., Эпоха деспотов*, стр. 239, 350-356, 415-420, где я попытался рассмотреть эти темы более подробно.

[4] Было бы легко умножить эти контрасты, включив, например, кардиналов Ингирами и Библиену и Льва Рафаэля в портреты Фарнези в Модене или серьезные лица покровителей Морони в Бергамо.

[5] Портрет в музее Уффици, приписываемый Джорджоне, но более вероятно, какому-нибудь ученику Мантеньи.

[6] *Paradiso*, vi. 112.

[7] Особенно *Purg.* xi. 100-117.

[8] Любопытный отголосок этого итальянского убеждения можно проследить у *Старшего брата Флетчера*.

[9] Веспасиано, *Жизнеописание Пьеро де Пацци*. Сравните прекрасное письмо Энея Сильвиуса Пикколомини своему племяннику (*Ep. Lib. i. 4*). Он напоминает молодому человеку, что какой бы прекрасной ни была молодость и какими бы восхитительными ни были радости Мая жизни, учеба более справедлива, а знания более восхитительны. 'Non enim Lucifer aut Hesperus tam pulcher est quam sapientia quæ studiis acquiritur litterarum.'

[10] Достаточно сослаться на *Застольную беседу* Лютера о состоянии Рима в правление Льва.

[11] Полициано, Понтано, Санназаро и Бембо разделили свои полномочия между наукой и поэзией, во вред последней.

[12] О низком уровне критики даже в солидном возрасте см. Авл Геллий, lib. xiv. cap. vi. Он описывает лекцию ратора, *знатока латинского языка*, посвященную отрывку из седьмой Энеиды. Объяснение этого человека слова *bidentes* свидетельствует едва ли не о большем, чем средневековое ребячество и невежество.

[13] Большинство следующих цитат можно найти в Comparetti, *Virgilio nel Medio Evo*, vol. i., произведении со здоровой ученостью и изысканным вкусом о месте Вергилия в средние века.

[14] *Хок ЭСТ смотри pueri тангар Аморе "минус"*, например, была изменена в *Хок ЭСТ смотри pueri тангар Аморе нигулу*; для *luisisset Аморе* был заменен *dampnasset Аморе*, и так далее.

[15] Гимн, процитированный выше в тексте, отсылает к легенде о Святом Павле, посетившем могилу Вергилия в Неаполе:—

"Когда его принесли к могиле Маро,
Нежная скорбь и жалость заставили его
Омыть камень слезами;
Каким святым я мог бы увенчать тебя,
Если бы я только живым нашел тебя,
первого поэта, не имеющего себе равных!"

[16] Обычное использование слова *grammarie* для обозначения оккультной науки в наших балладах иллюстрирует этот этап общественного мнения. Как и легенда о монахе Бэконе. Смотрите Тома, *Ранние английские романы в прозе*.

[17] Дидо в своей "*Жизни Альда*" пытается доказать, что изучение греческого языка сохранилось в Ирландии дольше, чем где-либо еще.

[18] Слово "гуманизм" имеет немецкое звучание и на самом деле является современным. Однако общее словосочетание *уманита* для обозначения гуманистической культуры и имя *уманиста* для профессора гуманитарных наук - оба чисто итальянские. Ариосто в своей седьмой сатире, строка 25, пишет:

'Senza quel vizio son pochi umanisti.'

[19] Посмотрите интересное письмо Луке ди Пенне, *De Libris Ciceronis*, стр. 946, и сравните *De Ignorantia sui ipsius* и с. стр. 1044. Эти ссылки, а также те, которые следуют под общим знаком *Там же.*, сделаны на издание собрания сочинений Петрарки, Базель, 1581.

[20] *Ibid.* p. 948. Cf. the fine letter on the duty of collecting and preserving codices (*Послание.* lib. iii. 18, стр. 619). 'Aurum, argentum, gemmæ, purpurea vestis, marmorea domus, cultus ager, pictæ tabulæ, phaleratus sonipes, cæteraque id genus mutam habent et superficiariam voluptatem: libri medullitus delectant, colloquuntur, consulunt, et vivâ quâdam nobis atque argutâ familiaritate junguntur.'

[21] *де Либрис Ciceronis*, стр. 949. Ср. его *послание к Варро* за счет утерянного ср. автора. Там же. стр. 708.

[22] Там же. стр. 948. Ср. "*Об игнорантии*", стр. 1053, 1054. Смотрите также письмо Николаю Сикеру из Константинополя, *Epist. Var.* xx. стр. 998, в котором Петрарка благодарит его за Гомера и Платона, в котором он дает отчет о своих скудных знаниях греческого языка. 'Homerus tuus apud me mutus, immo vero ego apud illum surdus sum. Gaudeo tamen vel aspectu solo, et sæpe illum amplexus et suspirans dico.... Plato philosophorum princeps ... nunc tandem tuo munere Philosophorum principi Poetarum princeps asserit. Quis tantis non gaudeat et gloriatur hospitibus?... Græcos spectare, et si nihil aliud, certe juvat.' The letter urging Boccaccio to translate Homer—'an tuo studio, meâ impensâ fieri possit, ut Homerus integer bibliothecæ huic, ubi pridem Græcus habitat, tandem Latinus accedat'—will be found *Ep. Rer. Sen.* lib. iii. 5, p. 775. В другом письме, *Ep. Rer. Sen.* lib. vi. 2, стр. 807, он благодарит Боккаччо за латинскую версию.

[23] *Об исправлении утрийского состояния*, стр. 43. Призыв к общественным, а не частным коллекциям полезных книг. 'Multos in vinculis tenes,' &c.

[24] Смотрите четыре книги инвектив, *Contra Medicum quendam*, и трактат *Об ипсиусе и его невежестве*. Страница 1038 последней диссертации содержит любопытный список несерьезных вопросов, обсуждавшихся аверроистами. Ср. письмо об упадке истинного учения, *Ep. Var.* 31, стр. 1020; письмо другу, призывающее его бороться с аверроизмом, *Epist. sine titulo*, 18, стр. 731; два письма о врачах, *Epist. Rerum Senilium*, lib. xii. 1 и 2, стр. 897-914; письмо Франческо Бруно о лжи астрологов, *Послание к старшему*. lib. i. 6, стр. 747; письмо Боккаччо на ту же тему, *Послание к старшему*. lib. iii. 1, стр. 765; другое о врачах Боккаччо, *Послание к старшему*. lib. v. 4, стр. 796. Ср. Критика алхимии, *Об исправлении утрийского состояния*, стр. 93.

[25] Сравнивая оратора и поэта, Петрарка отдает пальму первенства первому. Он считал, что совершенный ритор, способный ясно выразить здравую философию, встречается реже, чем поэт. См. "*Об исправлении утрийской судьбы*", lib. ii. dial. 102, стр. 192.

[26] См., среди других отрывков, *Inv. contra Medicum*, lib. i. стр. 1092. 'Poetæ studium est veritatem veram pulchris velaminibus adornare.' Cf. p. 905, the paragraph beginning 'Officium est ejus fingere,' &c.

[27] Смотрите предисловие к "*Фамильярной эпистоле*", стр. 570. 'Scribendi enim mihi vivendique unus (ut auguror) finis erit.'

[28] О его возвышенной концепции поэзии читайте в двух письмах к Боккаччо и Бенвенуто да Имолы, стр. 740, 941. *Epist. Rerum Senilium*, библиотека. i. 4, библиотека. xiv. 11.

[29] Ссылки на Августина как на "божественного гения", равного Цицерону по красноречию, превосходящего классиков в своих знаниях о Христе, слишком часты для цитирования. Посмотрим, однако, на *Семью*. *Epist.* lib. ii. 9, стр. 601; письмо к Боккаччо, *Variarum*, 22, стр. 1001; и *Семья. Послание*. библиотека. iv. 9, стр. 635. Фраза, описывающая *Признания*, процитированная в моем тексте, взята из письма Петрарки своему брату Жерару, *Epist. Var.* 27, стр. 1012, "Scatentes lachrymis Confessionum libros".

[30] "Сумма сектантских пренебрежений, истинных желаний". *Послание. Пер. Сен. lib. i. 5*, стр. 745. 'Nam apud Horatium Flaccum, nullius jurare in verba magistri, puer valde didiceram.' *Epist. Fam. lib. iv. 10*, стр. 637.

[31] Смотрите письма, адресованные Цицерону и Сенеке, стр. 705, 706.

[32] "Эгритудо" - это фраза, которая постоянно повторяется в его посланиях, указывая на беспокойную, жаждущую душу. Посмотрите также всю вторую книгу *"Современности"*.

[33] Смотрите трактат *О уединении*, стр. 223-292, и письма о "Воклюзе", стр. 691-697.

[34] Смотрите обсуждение этого пункта в *"Жизни Боккаччо"* Балделли, стр. 130-135.

[35] Сравните главу в диссертации *De Remediis* о неприятной известности, стр. 177, с письмом о его приеме в Ареццо, стр. 918, письмом к Нериусу Морандусу о ложных известиях о его смерти, стр. 776, и письмом к Боккаччо о его недоброжелателях, стр. 749.

[36] См. *Послания к Риенци*, стр. 677, 535.

[37] Послание к римскому народу, начинающееся "За непобедимую территорию, населенную мной", стр. 712.

[38] Послание Карлу IV., *Тихоокеанский регион и Италия*, стр. 531. Это противоречие вызвало болезненное удивление даже у его самых ярых поклонников. См. Боккаччо, цитируемого в *"Жизни"* Балделли, стр. 115.

[39] *Повторный меморандум*, библиотека. ii. стр. 415.

[40] Это особенно заметно в разнородном сборнике эссе под названием *"Об исправлении утрийской судьбы"*, где противоположные взгляды на самые разные темы выражены с большой ловкостью.

[41] Смотрите [последнюю главу](#) этого тома.

[42] Строки из *"Африки"*, использованные в качестве девиза для этого тома, являются пророчеством эпохи Возрождения.

[43] Очень показательное влияние Петрарки в том, что современники ставили его выше, даже как автора сонетов, чем Данте. См. *Письма Колуччо де Салютати*, часть ii. стр. 57.

[44] Филиппо Виллани, *Вите д'Уomini Иллюстри Фиорентини*, Флоренция, 1826, стр. 9.

[45] Боккаччо собственноручно переписал *"Божественную комедию"* и отправил рукопись Петрарке, который в своем ответе написал так: "Inseris nominatim hanc hujus officii tui escusationem, quod tibi adolescentulo primus studiorum dux, prima fax fuerit". Балделли, стр. 133. Энтузиазм Боккаччо по отношению к Данте выгодно контрастирует с завистливым эгоизмом Петрарки.

[46] Боккаччо присутствовал в Неаполе, когда Петрарка оспаривал у короля Роберта его право на корону поэта (*Быт. Deor. xiv. 22*); но впервые он сблизился с ним как с другом во время визита Петрарки во Флоренцию в 1350 году.

[47] Салютато в письме Франческо да Броссано описывает свои беседы с Боккаччо следующим образом: "Ни один из участников конференции Франсиско (*то есть* Петрарки). In cuius laudationem adeo libenter sermones usurpabat, ut nihil avidius nihilque copiosius enarraret. Et eo magis quia tali orationis generi me prospiciebat intentum. Sufficiebat enim nobis Petrarcha solus, et omni posteritati sufficere in moralitate sermonis, in eloquentiæ soliditate atque dulcedine, in lepore prosarum et in concinnitate metrorum." *Epist. Фам.* стр. 45.

[48] *Epist. Rer. Sen.*, lib. xi. 9, стр. 887; lib. vi. 1, стр. 806; lib. v. 4, стр. 801.

[49] Письмо Петрарки Угоне ди Сан-Северино, *Epist. Rer. Sen.* lib. xi. 9, стр. 887, заслуживает прочтения, поскольку оно доказывает, что итальянские ученые в то время отчаялись получить знания греческого языка в Константинополе. Они были скорее склонны искать его в Калабрии. 'Græciam, ut olim ditissimam, sic nunc omnis longe inopem disciplinæ ... quod desperat apud Græcos, non diffidit apud Calabros inveniri posse.'

[50] *De Gen. Втор.* xv. 6, 7.

[51] *Комментарий сопры Данте, Opp. Volg.* том x. стр. 127. Приняв во внимание трудность написания греческого, произносимого итальянцем, итальянскими буквами, а также ошибки переписчика и печатника, становится ясно, что греческий ученый, который считал Мельпомену той, "кто придает постоянство медитации", Талию ту, "которая способствует росту", Полигимнию ту, "которая укрепляет и расширяет память", Эрато "открывшую сходство" и Терпсихору "восхитительное наставление", был на комично ложном пути.

[52] См. выше, [стр. 53](#), [примечание 4](#).

[53] *Жизнеописание Боккаччо*, стр. 264. Автограф, вероятно, был сожжен вместе с другими книгами Боккаччо, и некоторые из непонятных отрывков в приведенной выше цитате могут быть вызваны невежеством переписчика.

[54] *De Genealogiâ Deorum; De Casibus Virorum ac Feminarum Illustrium; De Claris Muliebribus; De Montibus, Silvis, Fontibus, &c.*

[55] 'La teologia e la poesia quasi una cosa si possono dire ... la teologia niuna altra cosa è che una poesia d'Iddio.' *Vita di Dante*, p. 59. Cf. *Comento sopra Dante*, loc. cit. p. 45. Объяснение Муз, упомянутое выше, продиктовано тем же стремлением найти философию в поэзии.

[56] Смотрите письмо Петрарки "De quibusdam fictionibus Virgilii". *Ep. Rer. Sen.* lib. iv. 4, стр. 785.

[57] Смотрите привилегию, предоставленную Петрарке римским сенатором в 1343 году, *Petr. Opp.* том. iii. стр. 6.

[58] Де Сад в своих *Воспоминаниях о Петрарке* дает интересный отчет об этом романтическом эпизоде своей жизни. См. также Петрарку, *Послание. Перев. ст.* lib. v. 6 и 7, стр. 802-806.

[59] *Epist. Rer. Sen.* lib. xiv. 14, стр. 942.

[60] *Сообщение. sine titulo*, xviii. p. 732.

[61] Смотрите исчерпывающую работу Ренана, *Аверроэса и Аверроизма*.

[62] Смотрите *Жизнь* Манетти, Mur. xx. col. 531. Другие упоминания можно найти в *Жизнеописаниях* Веспасиано. В этом монастыре хранилась библиотека Боккаччо.

[63] *Poggii Opera*, стр. 271.

[64] Письма знакомых Салютато, *Lini Coluci Pieri Salutati Epistolarum Pars Secunda*, Флоренция, MDCCXXXI., являются ценным источником информации о науке конца четырнадцатого века. Смотрите, в частности, его письмо Бенвенуто да Имолы о смерти Петрарки (стр. 32), его письмо тому же о *Африке* Петрарки (стр. 41), еще одно письмо о сохранении *Африки* (стр. 79), письмо племяннику Петрарки Франческо да Броссано о смерти Боккаччо (стр. 44) и письмо некоему Комесу Магнификусу о литературном и философском гении Петрарки (стр. 49).

[65] 'Galeacius Mediolanensium Princeps crebro auditus est dicere non tam sibi mille Florentinorum equites quam Colucii scripta nocere.' *Pii Secundi Europæ Commentarii*, p. 454.

[66] 'Costui fu de' migliori dittatori di pistole al mondo, perocchè molti quando ne potevano avere, ne toglieano copie; si piaceano a tutti gl'intendenti: e nelle corte di Re e di signori del mondo, e anchora de' cherici era di lui in questa arte maggiore fama che di alcuno altro uomo.' From the Chronicle of Luca da Scarparia. Эти послания были собраны и напечатаны Иосифом Флавием Ригаччиусом из Библиополя Флорентина Целеберримуса в 1741 году. Среди писем, написанных для синьории Флоренции, заслуживают прочтения поздравления Джану Галеаццо Висконти с убийством Бернабо (стр. 16), французским кардиналам (стр. 18), сэру Джону Хоквуду или Домино Джоанни Аукуду (стр. 107), маркизу Моравии (стр. 110) и римлянам (стр. 141).

[67] Смотрите письмо Лионардо Бруни, цитируемое в *Лини Колуччи Пьеро Салютати Эпистола*, стр. xv. Собственное письмо Колуччо, рекомендующее Лионардо Иннокентию VII., ib. стр. 5, и его многочисленные письма Поджио к знакомым, ib. стр. 13, 173 и с.

[68] 'Certe cogitabam revidere librum, et si quid, ut scribis, vel absonum, vel contra metrorum regulam intolerabile deprehendissem, curiosius eliminare et sicut Naso finxit in *Æneida*, singulos libros paucis versiculis quasi in argumenti formam brevissime resumere, et exinde pluribus sumptis exemplis, et per me ipsum correctis et diligenter revisis, unum ad Bononiense gymnasium, unum Parisiis, unum in Angliam cum meâ epistolâ de libri laudibus destinare, et unum in Florentiâ ponere in loco celebri,' &c. *Epistolæ*, part ii. p. 80.

[69] Среди других *лауреатов*, занимавших пост канцлера Флоренции, можно упомянуть наставника Данте, Брунетто Латини, Лионардо Бруни, Карло Марсуппини, Поджо Браччолини и Бенедетто Акколти, о которых подробнее ниже.

[70] *Вите д'Уomini Иллюстри*, стр. 271.

[71] Ср. письмо, цитируемое Фойгтом (стр. 130) Джакомо да Скарпария, которое демонстрирует энтузиазм Колуччо по отношению к греческому языку.

[72] Mur. xix. 920.

[73] Тирабоски, *История итальянской литературы*, том iv. стр. 42 и далее., том v. стр. 60 и далее. Большое кварто, Модена, 1787 год.

[74] См. Muratori, vol. viii. 15, 75, 372. Маттео Виллани, глава 8.

- [75] 'Hoc anno translatum est Studium Scholarium de Bononiâ Paduam.' Mur. viii. 372.
- [76] Они назывались "Exemplatores". См. Тирабощи, том iv. библиотека. i. глава. 2.
- [77] Муратори, vii. стр. 997. Amari, *Storia dei Mussulmani di Sicilia*, vol. iii. p. 706.
- [78] См. Фон Ремон, *Лоренцо де Медичи*, том i, стр. 521.
- [79] В 1320 году в Болонье было не менее 15 000 студентов.
- [80] См. Сисмонди, том iii. стр. 349.
- [81] Библиотека. i. cap. 8.
- [82] 'Volendo attrarre gente alla nostra città, e dilatarla in onore, e dare materia a' suoi cittadini d'essere scienziati e virtudiosi.'
- [83] Ср. Corio, стр. 290. Он называет имена профессоров, присутствовавших на похоронах Джана Галеаццо Висконти.
- [84] Mur. xxii. 990.
- [85] См. Фойгт, стр. 447.
- [86] Многие из самых ранних печатных изданий "Латинских поэтов" дают точное представление о том, какими должны были быть такие лекции. Текст снабжен всеобъемлющим комментарием.
- [87] Ср. Статистику Виллани во Флоренции и Корио в Милане.
- [88] Для получения юмористических, но ярких фотографий лекционного зала профессора посмотрите макаронные стихи Одасси и Фоссы, цитируемые мной в т. v. этой работы.
- [89] См. Канту, *История итальянской литературы*, стр. 105, примечание.
- [90] "Hodie Scriptores non sunt Scriptores sed Pictores", цитируется Tiraboschi, том iv. библиотека. i. глава. 4.
- [91] См. Cantù, loc. cit. стр. 104.
- [92] См. Comparetti, том i, стр. 114.
- [93] В Милане в четырнадцатом веке, когда население оценивалось примерно в 200 000 человек, город мог похвастаться всего пятьюдесятью переписчиками. Tirab. loc. cit. cap. 4.
- [94] *Об исправлении утрийской судьбы*, lib. i. dial. 43, стр. 42. Приведенный выше отрывок настолько ценен для правильного понимания гуманистического отношения к рукописям, что я перепису фрагменты оригинала: "Библиотеки солнца михи". Et errores innumeri, quidam ab impiis, alii ab indoctis editi. Illi quidem religioni ac pietati et divinis literis, hi naturæ ac justitiæ moribusque et liberalibus disciplinis seu historiæ rerumque gestarum fidei, omnes autem vero adversi; inque omnibus, et præsertim primis ubi majoribus agitur de rebus, et vera falsis immixta sunt, perdifficilis ac periculosa discretio est ... scriptorum incitiæ inertiaque, corrumpenti omnia miscentique ... ignavissima ætas hæc culinæ sollicita, literarum negligens, et coquos examinans non scriptores. Quisquis itaque pingere aliquid in membranis, manuque calamum versare didicerit,

scriptor habebitur, doctrinæ omnis ignarus, expers ingenii, artis egens ... nunc confusis exemplaribus et exemplis, unum scribere polliciti, sic aliud scribunt ut quod ipse dictaveris, non agnoscas ... accedunt et scriptores nullâ frenati lege, nullo probati examine, nullo iudicio electi; non fabris, non agricolis, non textoribus, non ulli fere artium tanta licentia est, cum sit in aliis leve periculum, in hâc grave; sine delectu tamen scribendum ruunt omnes, et cuncta vastantibus certa sunt pretia.'

[95] "Комментарий к *Божественной комедии*", ап. Muratori, *Antiq. Итал.* том i, стр. 1296.

[96] Mur. xx. 160.

[97] Петрарка в 1350 году нашел во Флоренции плохую копию. Poggio describes it thus:—'Is vero apud nos antea, Italos dico, ita laceratus erat, ita circumcisis culpâ, ut opinor, temporum, ut nulla forma, nullus habitus hominis in eo recognosceretur.'

[98] Mur. xx. 169. Ср. Элегию Ландино, цитируемую в примечаниях к "*Лоренцо*" Роско, стр. 388.

[99] Фойгт, стр. 138.

[100] Смотрите эту статью Фойгта, стр. 139.

[101] Посмотрите выразительные высказывания о Палле дельи Строцци, Козимо Медичи и Никколо де Никколи в "*Жизнеописаниях Веспасиано*". Более того, ислам, как доказывает Жизнь Плетона, был в тот период более эрудированным, чем Эллада.

[102] Я уже затрагивал эту тему в другом месте. См. *Этюды о греческих поэтах*, вторая серия, стр. 304-307. Чтобы составить представление о полном упадке византийской учености после Фотия, необходимо прочесть отрывки из писем Петрарки, где даже Калабрия выгодно сравнивается с Константинополем. В состоянии столь абсолютного невежества, как он описывает, вполне возможно, что существовали сокровища, неизвестные так называемым студентам, и, следовательно, не обнаруженные Филельфо и его коллегами по работе. Свидетельство Деметрия Халкондиласа, цитируемое Дидо, "*Альда Мануке*", стр. xiv, показывает, что греки приписывали свои потери в значительной степени злобе священников.

[103] Подробности романа Вергилия занимают первую половину второго тома Компаретти о *Вергилии в средние века*. Английскую версию этой легенды смотрите в Томах.

[104] См. выше, стр. 38-49.

[105] Гиббон, гл. lxxi.

[106] Том I., *Эпоха деспотов*, стр. 200.

[107] *Purg.* xxxiii. 58.

[108], например, на Стефано Поркари. См. Том I., *Эпоха деспотов*, стр. 296, 302.

[109] *De Capessendâ Libertate, Hortatoria*.

[110] См. *Послание Петрарки к римскому народу*, стр. 712.

[111] *Сообщение. Fat. lib. ii. 14*, стр. 605; *lib. vi. 2*, стр. 657.

[112] Почему волхвы игнари возвращаются в римское царство? *Invitus dico, nusquam minus Roma cognoscitur quam Romæ.* *Epist. Fam. lib. ii. 14*, стр. 658.

[113] "Почему мы сомневаемся в потесте, что неправомерная ошибка может привести к тому, что Рим узнает?" *Там же*.

[114] "Вель сенио рухнула палатия, в чем причина гибели вири, триумфальной арки... *indignum de vestris marmoreis columnis, de liminibus templorum, ad quæ nuper ex toto orbe concursus devotissimus fiebat, de imaginibus sepulchrorum, sub quibus patrum vestrorum venerabilis cinis erat, ut reliquas sileam, desidiosa Neapolis adornatur.*" *Ibid.* p. 536.

[115]

*'Quanta quod integræ fuit olim gloria Romæ,
Reliquiæ testantur adhuc, quas longior ætas
Frangere non valuit, non vis, aut ira cruenti
Hostis, ab egregiis franguntur civibus heu, heu.'*
Petr. Epist. Metr. lib. ii. стр. 98.

[116] Мне доставляет удовольствие созерцать твои руины, Рим, свидетельствующие среди запустения о твоём первозданном величии. Но твой народ обжигает твой мрамор ради извести, и три столетия этого святотатства уничтожат все признаки твоего благородства". Сравните письмо Альберто дельи Альберти Джованни де Медичи, цитируемое Фаброни, *Cosmi Vita*, примечание. 86. Настоящей гордостью Рима по-прежнему оставались его руины. Nicolo and Ugo da Este journeyed in 1396 to Rome, 'per vedere quelle magnificenze antiche che al presente si possono vedere in Roma.' Murat. xxiv. 845.

[117] Мои ссылки сделаны на парижское издание 1723 года. Первая книга иногда цитируется под названием *Urbis Romæ Descriptio*.

[118] *'Juxta viam Appiam, ad secundum lapidem, integrum vidi sepulchrum L. Cæciliæ Metellæ, opus egregium, et id ipsum tot sæculis intactum, ad calcem postea majori ex parte exterminatum'* (p. 19). *'Capitolio contigua forum versus superest porticus ædis Concordiæ, quam, cum primum ad urbem accessi, vidi fere integram, opere marmoreo admodum specioso; Romani postmodum, ad calcem ædem totam et porticûs partem, disjectis columnis, sunt demoliti.'* *Ibid.*

[119] Стр. 8, 9.

[120] О *Пацифике и Италии, О Четвертом Каролеме*, стр. 531.

[121] В *Диттамондо*, около 1360 года.

[122] Такие, например, как описание Боккаччо руин Байи в *Фьямметте*, строки Санназаро о руинах Кумы, заметки Энея Сильвиуса Пикколомини о древних памятниках Италии.

[123] Говорят, что Филиппо Мария Висконти назвал его самозванцем. Амброджо Траверсари упоминает о своих монетах и драгоценных камнях с недоверием. Поджо описывает его как тщеславного парня, не претендующего на эрудицию. С другой стороны, он завоевал доверие

Евгения IV и удостоился панегириков Филельфо, Барбаро, Бруни и других. См. Tiraboschi, том vi. lib. i. глава 5.

[124] В только что процитированном месте. Искушение в эту эпоху открытий, когда критика была на спаде, а любопытство неистовствовало, выдавать ученый мир за подделки, должно быть, было очень велико. Наиболее любопытный пример такого литературного обмана дает Анний из Витербо, который в 1498 году опубликовал семнадцать книг поддельных исторических сочинений, выдавая себя за утраченные произведения Манефона, Бероза, Фабия Пиктора, Архилоха, Катона и других. Был ли он сам самозванцем или простофилей, сомнительно. Некоторые из его современников осудили эти истории как явную фальсификацию. Большинство приняло их за подлинные. Их бесполезность долгое время была неоспорима. См. Tiraboschi, том vi. lib. iii. cap. 1.

[125] Веспасиано, стр. 272.

[126] Веспасиано, стр. 273.

[127] См. Фойгт, стр. 202.

[128] Веспасиано, стр. 275.

[129] Там же. стр. 276.

[130] О жестоком обращении с Альбицци и другими видными гражданами см. "Фон Роймон", том i, стр. 147-153.

[131] См. Веспасиано, стр. 283-287.

[132] Обязательства Манетти перед коммуной были увеличены путем произвольного начисления огромной суммы в 135 000 золотых флоринов. Он разорился в своем ремесле и был вынужден жить на милостыню в изгнании.

[133] См. Фон Ремон, том ii. стр. 175.

[134] Веспасиано, стр. 257.

[135] Веспасиано, стр. 257.

[136] Там же. стр. 252. Козимо приказал своим клеркам соблюдать все представленные проекты с подписью одного из главных братьев монастыря. 'Aveva ordinato al banco, che tutti i danari, che gli fussino tratti per polizza d'uno religioso de primi del convento, gli pagasse, e mettesseglì a suo conto, e fussino che somma si volessino.'

[137] Веспасиано, стр. 264, 475.

[138] Веспасиано, стр. 29, 264.

[139] Там же. стр. 34, 265.

[140] Смотрите "Жизнь Николая V." Веспасиано, стр. 26.

[141] Жизнь Козимо, стр. 254.

[142] См. Von Reumont, том i, стр. 578.

[143] *Житие Козимо*, стр. 266.

[144] Сокращенно взято из Веспасиано, стр. 258.

[145] То, что следует далее, я написал на основе книги Веспасиано "Жизнь Никколо". Надгробная речь Поджо и его письмо Карло Аретино по поводу смерти его друга Никколо направлены на тот же эффект. *Детская опера*, стр. 270, 342.

[146] Веспасиано, стр. 471. 'Le scriveva di sua mano o di lettera corsiva o formata, che dell'una lettera e dell'altra era bellissimo scrittore.'

[147] *Там же*. стр. 473.

[148] Смотрите письмо Амброджо Траверсари, цитируемое Фойгтом, стр. 155.

[149] Веспасиано, стр. 476. Поджио, стр. 271.

[150] Веспасиано, стр. 473, 478.

[151] *Там же*. стр. 478. Поджио, стр. 343.

[152] Веспасиано, стр. 477.

[153] *Там же*. стр. 479.

[154] *Там же*. стр. 474.

[155] Муратори, xix. стр. 917. 'Erat in ipso cubiculo picta Francisci Petrarchæ imago, quam ego quotidie aspiciens, incredibili ardore studiorum ejus incendebar.'

[156] См. выше, стр. 77, 80.

[157] См. Веспасиано, стр. 436.

[158] См. [Том I., Эпоха деспотов](#), стр. 216-218.

[159] Эти последние тогда считались подлинными.

[160] Веспасиано, стр. 436.

[161] *Там же. Vita di Manetti*, р. 452. Манетти сам в то время был приором.

[162] *Жизнеописание Карла д'Ареццо*, стр. 440.

[163] См. Тирабоски, том. vi. стр. 1094.

[164] См. Веспасиано, стр. 500. Тирабоски, том vi. стр. 678. [Приложение. iii. к томуу. этого труда.](#)

[165] Источниками о жизни Манетти являются Веспасиано и анонимная биография на латыни в Муратори. Помимо "Небольшой жизни Веспасиано" в его *Книге "Вите д'Уomini Иллюстри"*, я обращался к его *Комментарию к жизни Джанозо Манетти*, Турин, 1862.

[166] 'Tenne in casa dua Greci et uno Ebreo che s'era fatto Cristiano, et non voleva che il Greco parlasse con lui se non in greco, et il simile il Ebreo in ebreo.'—*Comentario*, p. 11.

[167] "В чем причина сложного течения болезни, давано и мессер Джанозо". —*Там же*. стр. 22.

[168] *Жизнеописание Джанозо Манетти*, стр. 462. Сравните Буркхардта, стр. 182. Есть еще одна история, рассказанная в *Коментарио*, о выступлении Манетти перед Альфонсо в Неаполе. Король оставался таким тихим, что даже не смахивал мух со своего лица. Стр. 30.

[169] Муратори, том хх.

[170] О репутации Пия II см. Буркхардт, стр. 182.

[171] Веспасиано, стр. 465. Муратори, хх. 600.

[172] Альфонсо назначил ему пенсию в размере 900 скуди. Он написал историю своей жизни и подвигов.

[173] Следует помнить, что Никколо де Никколи не был греком. Амброджо вставлял греческие слова в свои расшифровки латинских кодексов.

[174] Смотрите выразительные слова Полициано, процитированные Фойгтом, стр. 189, о возрождении флорентийцами угасшего эллинизма и об их беглом владении аттическим идиомом.

[175] Смотрите любопытный отрывок в *Житии Эухенио IV, Папа*, стр. 14.

[176] Большой частью фактов, представленных в этом очерке Гемистоса, я обязан книге Фрица Шульце "*Основные положения философии Возрождения*", том i.

[177] См. Шульце, стр. 53.

[178] См. Schultze, стр. 77, примечание.

[179] *Там же*. стр. 107.

[180] γεμιστός и γερίζω, Πλήθων и πλήθω. Оба означают быть полным. Однако говорят, что Платона называли Πλάτων из-за его широких плеч или широты красноречия.

[181] See the translation of Plotinus by Ficino, quoted by Schultze, p. 76: 'Magnus Cosmus, Senatûs consulto patriæ pater, quo tempore concilium inter Græcos atque Latinos sub Eugenio pontifice Florentiæ tractabatur, philosophum Græcum nomine Gemistum, cognomine Plethonem quasi Platonem alterum, de mysteriis Platoniceis disputantem frequenter audivit. E cujus ore ferventi sic afflatus est protinus, sic animatus, ut inde Academiam quandam altâ mente conceperit, hanc opportuno primum tempore pariturus.'

[182] Шульце, стр. 92. Его светское имя было Георгиос Схолариос.

[183] См. *Том I., Эпоха деспотов*, стр. 134, 135, и *Зарисовки в Италии и Греции*, статья "Римини".

[184] *Житие Паллы Нофери Строцци*, стр. 284.

[185] См. Веспасиано, стр. 486.

[186] Смотрите длинные списки иностранных и итальянских греков в Tiraboschi, том vi. стр. 812, 822-837.

[187] См. Facius, *De Viris Illustribus*, стр. 3, цитируется Фойгтом, стр. 278.

[188] См. Веспасиано, стр. 6.

[189] Он родился в Форли в 1388 году и умер в 1463 году, отец пятерых сыновей.

[190] Так Веспасиано описывает причину их высылки из Пизы. Стр. 20.

[191] Стр. 23.

[192] Веспасиано, стр. 27.

[193] Там же. стр. 33.

[194] Веспасиано, стр. 25, 27.

[195] Там же. стр. 38.

[196] Последнее предназначалось Альфонсо Неаполитанскому.

[197] Тирабосчи является авторитетом в этих деталях.

[198] Более полные сведения, которых заслуживают Валла и Декабрио, будут даны в "Истории науки Неаполя и Милана".

[199] О своем долге перед Никколо де' Никколи Поджио с большой теплотой говорит в письме по поводу своей смерти, адресованном Карло Аретино: "Кем является наш отец хабуи куи плюс дебюрим наш Николао? Hic mihi parens ab adolescentiâ, hic postmodum amicus, hic studiorum meorum adjutor atque hortator fuit, hic consilio, libris, opibus semper me ut filium et amicum fovit atque adjuvit."—*Poggii Opera, Basileæ, ex ædibus Henrici Petri, MDXXXVIII*. p. 342. На это издание работ Поджо я буду ссылаться в будущем.

[200] 'Stabat impavidus, intrepidus, mortem non contemnens solum sed appetens ut alterum Catonem dixeris.'—*Opp. Omnia*, стр. 301. Это интереснейшее письмо, адресованное Лионардо Бруни, переведено Шепардом, *Жизнь Поджо Браччолини*, стр. 78-88.

[201] *Opera Omnia*, стр. 297. Перевод этого письма Никколо де Никколи см. в Shepherd, стр. 67-76.

[202] Кардинал Бофор пригласил его в Англию.

[203] *Поджи Флорентини Фасетиарум Либеллус Уникус*, Лондини, 1798, том i, стр. 282.

[204] "mendaciorum veluti officina" - это собственное объяснение Поджио этой фразы.

[205] "Иби парсебатур немини, в заключении о том, что она не является вероятной знатью".

[206] *Жизнь Поджио*, стр. 423.

[207] *Opera Omnia*, стр. 155-164.

[208] Стр. 422.

[209] Там же. стр. 423.

[210] Смотрите переписку между Филиппо Марией и Поджио, *Opp.* стр. 333-358. Письмо Козимо, стр. 339.

[211] "Мир, заикающийся простак, Отвратительный поэт и Ничтожество". См. *Ауре Франциски, Филельфийскую поэтическую ораторию Celeberrimi Satyre*. Париж, 1508 год. Passim.

[212] *Opp. Omn.* стр. 164-187. Первая инвектива является самой ядовитой и заслуживает прочтения в оригинале. Последнее, озаглавленное "Investiva Excusatoria et Reconciliatoria", забавно из-за своего тона угрюмого и пресыщенного изнеможения.

[213] *Жизнь Поджио*, стр. 263-272, 354. *Vita di Filelfo*.

[214] Эти литературные бойцы использовали язык арены. Так, Валла в описании своего *Противоядия* описывает свое орудие нападения следующим предложением: "Он есть мое оружие нападения, безвыходный гладиатор, гладиатор огненных когтей, и его двусторонний, и утренний трезубец", стр. 9.

[215] См. Росмини, *Жизнеописание Гуарино да Верона*, том ii. стр. 96.

[216] *Poggii Opera*, стр. 365.

[217] "Подросткам нужен одитор", - говорит Валла в "*Противоядии*", стр. 2. История подробно рассказана, стр. 151. I quote from the Cologne edition of 1527: 'Laurentii Vallæ viri clarissimi in Pogium Florentinum antidoti libri quatuor: in eundem alii duo libelli in dialogo conscripti.'

[218] См. *Поджио* Шеперда, стр. 470, 471, образцы шероховатости с обеих сторон.

[219] Инвективы в адрес Валлы заполняют страницы со стр. 188 по стр. 251 собрания сочинений Поджио. Часть из них посвящена защите его собственной латиноамериканскости и критике *Элегантности* Валлы. Но, безусловно, большая часть состоит из яростных обвинений. Ересь, воровство, ложь, подлог, трусость, грязный образ жизни самого отвратительного свойства, пьянство и безумное тщеславие — таковы обвинения, подкрепленные ужасающим количеством очевидных доказательств. Как и в случае с Филельфо, Поджио не щадит отца и мать своего антагониста, но осыпает самыми гнусными оскорблениями всех, кто связан с ним. *Противоядие* Валлы написано в более сдержанном духе и более чистым латинским стилем.

[220] Шепард, *Жизнь Поджио*, стр. 474.

[221] Амброджо Траверсари, генерал Камальдозезского ордена, назвал ее "фиделиссима фемина".

[222] Тирабощи, том vi. библиотека. ii. глава. 2, раздел. 15.

[223] Веспасиано, стр. 146.

[224] Смотрите панегирик Платине, цитируемый Тирабоски, том vi. библиотека. i. глава 3, 22. Платина и Перотти были среди его итальянских *протеже*.

[225] Поразительный пример отсутствия литературного энтузиазма в Венеции.

[226] Впервые он приехал в Италию в 1430 году, исповедовал греческий язык в Ферраре с 1441 по 1450 год и умер в Кампании около 1478 года. Он перевел много работ Аристотеля. Его собственная книга по грамматике была напечатана Альдусом в 1495 году.

[227] Рафаэлло Волатеррано, цитируется Тирабоски, том vi. библиотека. iii. глава. 2, 16.

[228] См. Tiraboschi, vol. vi. lib. iii. cap. 2, 17.

[229] Смотрите мои [зарисовки в Италии и Греции](#), статья "Перуджа".

[230] Тирабоски, том vi. библиотека. iii. глава. 5, 46.

[231] Я могу сослаться на "Пассивные письма" Петрарки и на торжественное провозглашение "Африки".

[232] См. [Том I., Эпоха деспотов](#), стр. 445, 446.

[233] *Жизнь Альфонсо*, стр. 59. *Жизнь ди Манетти*, стр. 451.

[234] См. Tiraboschi, vol. vi. lib. i. cap. 2, 17.

[235] Понтано, *Де Принципи*, и Панормита, *De Dictis et Factis Alphonsi Regis*, представляют эти анекдоты.

[236] Рукопись Ливия, упомянутая выше, сейчас находится в библиотеке Холкхэма; см. "Лоренцо" Роско, стр. 389.

[237] Опубликовано в Париже в 1791 году среди *Quinque illustrium Poetarum Lusus in Venerem* снова в Кобурге в 1824 году с комментариями Ф.Г. Форберга.

[238] Мужчине около шестидесяти трех лет, отцу двенадцати законных детей.

[239] *Poggii Opera*, стр. 349-354.

[240] Поджио, заявляя о том, что осуждает скандальность этих стихотворений, пишет так: "Восхитительная сумма разнообразных повторений и элегантных версий, одновременная адмиральская сумма адео дерзких, адео неумелых, там венуста, там композиция, те дичи, атке ита мультя". объясните, что такое терпимость, но не всегда справедливая, за исключением видеозаписи, за фикту и за чужую причину, за то, что она существует, за то, что она существует сама по себе". —*Русская опера*, стр. 349.

[241] Особенно Бернардино да Сиена, Роберто да Лечче и Альберто да Сартеано. См. Примечание к стр. 353 [Том I., Эпоха деспотов](#).

[242] См. Веспасиано, *Жизнеописание Джулиано Чезарини*, стр. 134.

[243] Любопытное письмо Гуарино Беккаделли ("*Жизнь ди Гуарино*" *Росмини*, том ii, стр. 44, и примечания, стр. 171) описывает восторженный прием, оказанный публично самозванцу, который выдавал себя за автора "*Гермафродита*".

[244] *De Dictis et Factis Alphonsi Regis Memorabilibus*. Эней Сильвий написал комментарий к этому труду, в предисловии к которому он говорит: "Кто виноват, к чему стремиться, как исправить то, что не было сделано; каково это — как исправить то, что ты написал?" -*Opp. Omnia*, стр. 472. Это подтверждает репутацию Беккаделли как стилиста.

[245] То, что биографы, особенно Веспасиано, рассказывают о церемонном благочестии Альфонсо и любви к богословскому чтению, делает контраст между ним и его придворным поэтом поистине поразительным.

[246]

'Hic fæces varias Veneris moresque profanos,
Quos natura fugit, me docuisse pudet.'

[247] 'Ромам, в натуральном выражении ... ego sum ortus Romæ oriundus a Placentiâ.'

[248] Наивное удивление, с которым Веспасиано описывает факт девственности (см. Особенно "*Жизнеописание Амброджо Траверсари*" и кардинала Портогалло), показывает, насколько редкой была эта добродетель и какой таинственной честью она удостаивала мужчин, считавшихся целомудренными.

[249] Поджио и Фацио являются ответственными за этот инцидент.

[250] *О фальшивом кредите и пожертвовании Константини*.

[251] Напечатано в "*Муратори*", том xx.

[252] Однако здесь следует упомянуть о защите, распространенной на Manetti и Filelfo. Почти все современные ученые Италии посвятили Альфонсо свои работы.

[253] Выше, [стр. 78](#).

[254] 'Itaque Chrysoloras, mœrore confectus, compulsus precibus, malo coactus, filiam tibi nuptui dedit a te corruptam, quæ si extitisset integra, ne pilum quidem tibi abrasum ab illius natibus ostendisset. An tu illam unquam duxisses uxorem si virginitatem per te servare potuisset? Tibi pater illam dedisset profugo, ignobili, impuro? Primariis suæ civitatis viris servabatur virgo, non tibi, insulsæ pecudi et asello bipedali, quem ille domi alebat tanquam canem aliquem solent senio et ætate confectum.'—*Poggii Opp.* p. 167. Это всего лишь одна из историй, которыми изобилуют инвективы того времени и с которыми почти невозможно разобраться. Это может быть правдой, ибо, несомненно, Филельфо своей безнравственностью и грубостью в загробной жизни оправдал самую страшную клевету, какую только могли выдумать его враги. Тем не менее, мало что, кроме слов Поджо, доказывает это, в то время как Росмини показал, что позиция Филельфо в Византии сильно отличалась от того, что предполагает его враг. Тирабоцци признает обвинение "недоказанным", но в частном порядке он явно склоняется против Филельфо, тронутый следующим отрывком из письма Амброджо Траверсари: "Никто из Гуарино не принимает литераторов, неистовствует в судьбе, совершенной в отношении филиама Иоанниса

Хрисолора, клариссими вири является сторонником, *exterus, qui quantum libet homo bono ingenio, долгое время оставаясь верным браку импар эссет, queriturque substomachans uxorem Chrysoloræ venalem habuisse pudicitiam, mœchumque ante habuisse quam socerum*". Том vi. библиотека iii. глава v. 21. Все, что можно сказать сейчас, это то, что собственная мораль Филельфо и коррумпированность византийского общества делают историю, в которую поверили Гуарино и Траверсари и которую открыто рассказал Поджо, не такой уж невероятной.

[255] Этот список показывает, что Филельфо, по крайней мере, мог содержать большое домашнее хозяйство.

[256] Каталог его библиотеки, сообщенный им в письме Амброджо Траверсари, настолько ясно показывает, что тогда мог собрать самый неутомимый студент и всеядный читатель того времени, для которого, должно быть, были открыты все музеи и книжные лавки Византии, что я перепису его: Итальянская библиотека жестов солнца, номинантный список до скриба: алиос автем ноннуллос за примас из византийско—венецианских военно-морских сил. *Hi autem sunt Plotinus, Ælianus, Aristides, Dionysius Halicarnasseus, Strabo Geographus, Hermogenes, Aristotelis Rhetorice, Dionysius Halicarnasseus de Numeris et Characteribus, Herodotus, Dio Chrysostomus, Appollonius Pergæus, Thucydides, Plutarchi Moralia, Proclus in Platonem, Philo Judæus, Ethica Aristotelis, Ejus magna Moralia et Eudemia, et Œconomica et Politica, quædam Theophrasti Opuscula, Homeri Ilias, Odyssea, Philostrati de Vitâ Appollonii, Orationes Libanii, et aliqui Sermones Luciani, Pindarus, Aratus, Euripidis Tragœdiæ Septem, Theocritus, Hesiodus, Suidas, Phalaridis, Hippocratis, Platonis et multorum ex veteribus Philosophis Epistolæ, Demosthenes, Æschinis Orationes et Epistolæ, Pleraque Xenophontis Opera, Una Lysiæ Oratio, Orpheï Argonautica et Hymni, Callimachus, Aristoteles de Historiis Animalium, Physica, et Metaphysica, et de Animâ, de Partibus Animalium, et alia quædam, Polybius, Nonnulli Sermones Chrysostomi, Dionysiaca, et alii Poetæ plurimi. Habes qui mihi sint, et his utere æque ac tuis.*'

[257] 'Unum Philelphus audet affirmare, vel insaniente Candido, neminem esse hâc tempestate, nec fuisse unquam apud Latinos, quantum constat ex omni hominum memoriâ, qui præter se unum idem unus tenuerit exercuitque et Græcam pariter et Latinam orationem in omni dicendi genere et prosâ et versu. Tu si quidem habeas alterum, memora. Quid taces, homo miserrime?' Letter to Piero Candido Decembrio. Cf. what P.C. Decembrio wrote to Poggio in 1453:—'Dixit (*i.e.* Philelphus) enim neminem litteras scire præter ipsum, alios semilatinos et semigræcos esse, se autem principatum inter stultos obtinere.' Rosmini, vol. iii. p. 150.

[258]

'Quod si Virgilius superat me carminis ullis
Laudibus, orator ille ego sum melior.
Sin Tulli eloquio præstat facundia nostro,
Versibus ille meis cedit ubique minor.
Adde quod et linguâ possum hæc præstare Pelasgâ
Et Latîâ. Talem quem mihi des alium?'

Lib. ix., *De Jocis et Seriis*. Элегия Алессандро Сфорца. Опубликовано Росмини, том iii. стр. 149. Один образец такого хвастовства может стоить тысячи.

[259] Приглашение поступило от Никколи, Лионардо Бруни, Амброджо Траверсари и Паллы Строцци.

[260] Цитируется Cantù, стр. 128.

[261] Он оставался там с 1429 по осень 1434 года.

[262] Помолвка продлена 17 октября 1431 года на два года со стипендией в 350 секвинов; снова, в 1433 году, со стипендией в 450 секвинов.

[263] См. выше, стр. 90, 91.

[264] См. Rosmini, том i. стр. 43, 48.

[265] Там же. том i. стр. 83, о суде, пытках и признании этого bravo.

[266] Первоначальным источником информации о ссорах Филельфо с флорентийцами являются его сатиры, разделенные на десять книг или декад, каждая из которых состоит из десяти сатир или гекатостих по сто стихов в каждой. В экземпляре этой книги, напечатанном в Париже в 1508 году Робертом и Джоном Гурмонтами, эти ядовитые пасквилы названы "Божественный францисканский филофейский опус христианской сатиры". В качестве их девиза издатели приводят следующие предложения: "Finis laus Deo, Spes mea Jesus". О злоупотреблениях в адрес круга Медичи см. дек. i. Г. 5; дек. i. Г. 6; Дек. ii. Глава 1, 3, 7; Дек. iii. Глава 10; Дек. vi. 10; Дек. viii. 5. О нападении Филельфо на Козимо во время его заключения см. Дек. iv. Хек. 1. О его нападениях на Козимо по возвращении из ссылки см. Дек. iv. Хек. 9. Об апелляции к Филиппо Марии Висконти против Козимо см. Дек. против Хек. 1. Аналогичное обращение к Евгению IV см. Дек. против Хек. 2. Об эпизоде с убийцей Филиппо см. Дек. против Хек. 6. Политическая атака на Козимо, адресованная Ринальдо Альбицци содержится в дек. против Хека. 8. Яростное осуждение тирании Козимо в дек. против Хека. 9. Палла дельи Строцци, как противник Козимо, восхваляется в дек. iii. 1; Декабрь. vi. 4. В декабре. vii. 8 Филельфо обещает умерить свою ярость. В дополнение к этим источникам смотрите MS. invectives, упомянутые в Rosmini, том i, стр. 47.

[267] Его профессорская стипендия вскоре была увеличена с 500 до 700 золотых флоринов.

[268] Веспасиано говорит, что скопление людей на лекциях Карло Аретино было первой причиной междоусобиц Филельфо во Флоренции.

[269] Вот даты некоторых из этих показов:—

1440. Надгробная речь по Стефано Федерико Тодескини.

1441. Эпиталамий по случаю женитьбы Джованни Марлиани.

1442. Рассуждение об обязанностях мирового судьи.

1446. Панегирик Филиппо Марии Висконти и речь по случаю избрания Якопо Борромео на престол Павии.

1450. Приветственная речь Франческо Сфорца.

1455. Эпиталамий по случаю женитьбы Тристано Сфорца на Беатриче д'Эсте.

1458. Эпиталаминозы для Антонио Кривелли и Теодоро Пятти.

1459. Речь Пию II. о его крестовом походе.

1460. Речь по случаю избрания епископа Комо.

1464. Надгробная речь сенатора Филиппо Борромео.

1466. То же самое для Франческо Сфорца.

Вполне вероятно, что все это не было произнесено наизусть; но все они были выдержаны в неуклюжем и педантичном стиле, который в то время считался красноречием. Что касается наград, полученных в этих случаях, обратите внимание на подарок в виде серебряной чаши от Якопо Антонио Марчелло в обмен на утешительное послание. Росмини, том ii. стр. 127. Ср. стр. 197.

[270] Сатиры, собранные за десять десятилетий, каждая сатира состоит из 100 строк, были посвящены Альфонсо Неаполитанскому в 1451 году. Напечатано в Милане в 1446 году. Оды, озаглавленные *О сериусе и Радости*, были закончены в 1465 году и посвящены частично Малатесте Новелло из Чезены, частично Алессандро Сфорца. Всего было десять книг, каждая из которых содержала 1000 строк. Никогда не печаталась. Росмини, которая ознакомилась с рукописями, сообщает, что их непристойность превосходит все описания и может сравниться только с вульгарностью фантазии автора и грубостью его стиля. В дополнение к этим неопубликованным латинским стихотворениям Филельфо собрал три книги греческих элегий и эпиграмм общим объемом 2400 стихов. Примечательно, что он измерял свою поэзию строками и приучил свою музу бегать трусцой с шагом в 100 стихов.

[271], например, Послание Ладиславу Венгерскому о его победах над турками.

[272] У него было двенадцать сыновей и двенадцать дочерей. Не все они выжили.

[273] Любопытным признаком нынешних настроений является то, что Филельфо часто хвастался тем, что он τριόρχης. См. Росмини, i, стр. 15, и цитируемый стих, *ib.* стр. 113. В своем завещании он упомянул двух внебрачных детей, и у него было еще много других. Росмини, том iii. стр. 78.

[274] Rosmini, том ii. стр. 54. Возможно, вы помните, что Пьетро Аретино намекал, что хотел бы стать кардиналом.

[275] В качестве образца попрошайничества Filelfo в стиле Grub Street я переписываю следующую элегию (Rosmini, том ii, стр. 285):—

'Hæc autem altisone dum carmina celsius effert
Defecisse suo sentit ab ore tubam,
Nam quia magnifici data non est copia nummi
Cogitur huic uti carmine raucidulo.
Quod neque mireris; vocem pretiosa canoram
Esca dat, et potus excitat ingenium.
Ingenium spurco suevit languescere vino,
Humida mugitum reddere rapa solet.'

Francesco Sforza's anxiety to retain Filelfo in his service is expressed in a letter to his treasurer (*ib.* p. 295):—'Noi per niuno modo el vogliamo perdere, la qual cosa seguirebbe quando gli paresse essere deluso, e non potesse seguitare per manchamento delli dicti 250 fiorini la nobilissima opera per lui in nostra gloria comenzata nè suplire agli altri suoi bisogni.' The *tuba* and the *nobilissima opera* both refer to Filelfo's *Sforziad*.

[276] Я могу обратить особое внимание на поведение Филельфо по отношению к Пию II. — назначенная бесплатная пенсия в размере 200 флоринов (Rosmini, том ii, стр. 106), угрозы из-за того, что она не выплачивается (*ib.* стр. 115), непристойные эпиграммы на смерть папы (*ib.* стр. 321), оскорбительное письмо, адресованное Павлу II. (*ib.* стр. 136), приговор к тюремному заключению за клевету, вынесенный против него и его сына Марио (*ib.* стр. 140), последняя палинода, в которой он подло восхваляет папу, над которым он подло надругался (*ib.* стр. 146). Вся эта серия сделок позорна.

[277] Письмо Грегорио Лоллио кардиналу Павии, опубликованное Росмини (том ii. стр. 147).

[278] Вся поэма занимала шестнадцать книг. Таким образом, согласно "Искусству поэзии Филельфо", первые восемь содержали 6400 стихов.

[279] См. Rosmini, том ii. стр. 90. Греческое послание, которое он послал, напечатано, *ib.* стр. 305.

[280] Он уже давно заключил мир с Медичи.

[281] Смотрите оригинальные письма в Rosmini, том ii. стр. 411-419.

[282] Rosmini, том ii. стр. 261, примечание.

[283] *ib.* стр. 248.

[284] Я не могу допустить, чтобы это упоминание имени Антиквари осталось без упоминания о его жизни и литературных заслугах. Он родился и получил образование в Перудже, поступил на службу к папскому легату Баттисте Савелли в качестве секретаря в Болонье, а затем получил должность секретаря и дипломатического писателя в семье Сфорца в Милане. Герцог Галеаццо Мария был его первым хозяином. В Милане он играл роль любезного и утонченного Мецената, одновременно ведя переписку на латыни — которую до сих пор приятно читать — с Полициано и всеми величайшими учеными своего времени. Его биография, написанная довольно подробно, с ценными приложениями Вермильоли, была опубликована в Перудже в 1819 году.

[285] Стр. 138, 139.

[286] Grove's *Dictionary of Music and Musicians*, том i, стр. 704 б. в

[287] "О том, как в мундирах достичь совершенства, чтобы помочь чибо лаваре проконсультироваться".—Росмини, *Вита ди Витторино*, стр. 38, примечание.

[288], По-видимому, в 1422 году.

[289] *Местонахождение*. Росмини, том i, стр. 67.

[290] Стр. 111.

[291] Шестьдесят бедных ученых были обучены, накормлены, одеты и обеспечены учебными принадлежностями за его счет. Он также субсидировал их семьи, оказавшиеся в бедственном положении. Rosmini, *Vita di Vittorino*, pp. 165, 166.

[292] Росмини, *Вита ди Витторино*, стр. 165. Веспасиано, стр. 492, рассказывает историю, иллюстрирующую эти отношения между Витторино и маркизом. Ср. также, стр. 494.

[293] Стр. 492.

[294] Том I., *Эпоха деспотов*, стр. 138.

[295] Стр. 249-476.

[296] Смотрите Росмини, стр. 183, и Веспасиано, стр. 493, чтобы узнать о ее добродетелях, ее образованности и ее отказе выйти замуж за печально известного Оддо да Монтефельтро.

[297] Посмотрите "Его жизнь" Росмини, стр. 11, о блестящем приеме, оказанном ему в Венеции.

[298] Смотрите подробную информацию, собранную Rosmini, *Вита ди Гуарино*, стр. 79-87.

[299] Тимотео Маффеи, цитируется Тирабоски, том vi. библиотека iii. глава 5, 8.

[300] Он вел литературную вражду с Никколо де Никколи, Поджио, Филельфо и Георгиосом Трапезунтиосом.

[301] 'Placidis Aurispa Camœnis Deditus', сб., 5 декабря i века н.э. Валла, *Antid. in Pogium*, p. 7, describes him as 'virum suavissimum et ab omni contentione remotissimum.'

[302] Ср. Tiraboschi, vi. lib. iii. cap. 5, 58.

[303] Веспасиано, стр. 113-117, дает интересный отчет об этих образованных и воинственных принцах.

[304] См. стр. 94-99.

[305] Стр. 99.

[306] Том I., *Эпоха деспотов*, стр. 136-142.

[307] В свидетельстве о его смерти он описан как Веспасиано, Картоларо.

[308] См. Rosmini, *Vita di Filelfo*, том ii. стр. 201. "Я решил купить некоторые из тех кодексов, которые они сейчас делают, без каких-либо проблем и без пера, но с определенными так называемыми шрифтами, которые, по-видимому, являются работой опытного и точного переписчика. Тогда скажите мне, по какой цене продаются "Естественная история" Плиния, "Три десятилетия" Ливия и Авла Геллия". Письмо Никодимо Транчедино, отправленное из Сиены в Рим, датировано 25 июля 1470 года.

[309] See this passage from a panegyric quoted by Angelo Mai:—'Tu profecto in hoc nostro deteriori sæculo hebraicæ, græcæ atque latinæ linguarum, omnium voluminum dignorum memoratu notitiam, eorumque auctores memoriæ tradidisti.'—*Vite di Uomini Illustri*, preface, p. xxiii.

[310] Может быть полезно добавить скелетную родословную Медичи в этом месте:—

Козимо, Отец Мой Патриот

Piero, Il Gottoso

Lorenzo

Giuliano

Джулио, Климент VII.

Пьеро, изгнанник

Джованни, Лев X.

[311] См. [Том I](#), *Эпоха деспотов*, стр. 190.

[312] Марсилио Фичино, сын врача Козимо, родился в Фиглине в 1433 году.

[313] Так, издание "Плотина" Фичино, напечатанное за счет Лоренцо Медичи и опубликованное через месяц после его смерти, носит следующее название: "Великолепная роскошь Лаврентия патрицианского".

[314] См., однако, *книгу Дидо "Альде Мануке"*, стр. 4, где Джованни Аччиуоли приписывают эту щедрость."

[315] См. Фон Ремон, том ii. стр. 108.

[316] Прекрасное выражение этой концепции жизни было дано Альдусом в посвящении Альберто Пио из томов ii, iii, iv Аристотеля: "Нам ту миhi оптимус тестис и потиорес Геркулес эрумнас кредам, севоскские труды, и Венера, и каннис, и другие". плюмис Сарданапали. Природа нам, человеку, свойственна, труд и агендум вечный, а не сладострастие, как у беллуарума, свой грех". Последнее предложение является переводом речи Улисса в Аду—

'Considerate la vostra semenza,
Fatti non foste a viver come bruti,
Ma per seguir virtude e conoscenza.'

Ср. предисловие Альда к Грамматике Ласкариса; Ренуар, том i, стр. 7; и снова *Альд Мануке*, стр. 143, для аналогичных отрывков.

[317] Датировано Флоренцией 1485 г.; в Альдинском издании Писем Полициано, книга ix.

[318] Во введении к *Апологии* Пико можно прочитать его отчет о приобретенном им кодексе псевдо-Ездры.

[319] Греческую эпиграмму Полициано, адресованную Пико по этому поводу, можно процитировать из *"Кармина Квинке Поэтарум"*, стр. 412:—

καὶ τοῦτ' ἀστρολόγοις ἐπιμέμφομαι ἡερολέσχαῖς,
ὅττι σοφοὺς Πίκου μοι φθονέουσ' ὄαρους.
καὶ γὰρ ὁ ἐνδουκέως τούτων τὸν λῆρον ἐλέγχων
μουνάξει ἐν ἀγρῶδηρὸν ἐκὰς πόλεως.

Πῖ κε τί σοι καὶ τούτοις; οὐ σ' ἐπέοικεν ἀγύρταις
ἀντῶραι τὴν σὴν εὐτυχέα γραφίδα.

[320] *Disputationum Camaldulensium* lib. iv., посвященный Фридриху Урбинскому.

[321] Легенда об основании этого ордена хорошо известна благодаря картине Сакки в Ватикане.

[322] Родился в Колле в 1430 году.

[323] Следующие стихи об Алессандре настолько любопытны как образец греческого стиля Полициано, что я переписываю их здесь (*Carmina Quinque Illustrium Poetarum*, стр. 304):—

εὐρηχ' εὐρηχ' ἦν θέλον, ἦν ἐζήτεον αἱ εἰ ,
ἦν ἦτουν τὸν ἔρωθ', ἦν καὶ ὄνειροπόλουν·
παρθενικὴν ἦς κάλλος ἀκήρατον, ἦς ὄγε κόσμος
οὐκ εἴη τέχνης ἄλλ' ἀφελοῦς φύσεως·
παρθενικὴν γλώττησιν ἐπ' ἀμφοτέρῃσι κομῶσαν,
ἔξοχον ἔντε χοροῖς ἔξοχον ἔντε λύρα·
ἦς περὶ σωφροσύνητ' εἴη χαρίτεσσι θ' ἀμίλλα,
τῇ καὶ τῇ ταύτην ἀντιμεθελκομέναις.
εὐρηκ' οὐδ' ὄφελος, καὶ γὰρ μόλις εἰς ἐνιαυτὸν
οἱ στροῦντι φλογερῶς ἐστὶν ἅπασι δέειν.

Сатиры на Мабилля (так он называл Марулла) слишком грязны, чтобы их цитировать. Их можно прочитать в упомянутом выше сборнике, стр. 275-280.

[324] См. Кардуччи, предисловие к *Станце*, Флоренция, 1863, и Исидоро дель Лунго в *своде. История*. серия III. том II.

[325] Julius Cæsar Scaliger wrote thus about them in the *Hypercriticus*:—'Græcis vero, quæ puerum se conscripsisse dicit, ætatem minus prudenter apposuit suam; tam enim bona sunt ut ne virum quidem Latina æque bene scripsisse putem.'

[326] *Квинке Иллюстративный поэт Кармина*, стр. 299, 301. Эти эпиграммы, а также две на стр. 303, 307, важны тем, что они иллюстрируют мораль поэта. Рассказ Джовио о смерти Полициано, безусловно, был принят современниками: "*Истинный дух юности, безумная любовь, кажущаяся поверхностной в смертельном морбуме*." Однако весь рассказ является скрытой клеветой, как и многие наброски Джовио.

[327] 'Erat distortis sæpe moribus, uti facie nequaquam ingenuâ et liberali ab enormi præsertim naso, subluscoque oculo perabsurdâ.' Giovio, *Elogia*. Ср. собственные стихи Полициано к Мабиллю, начинающиеся так: —

Quod nasum mihi, quod reflexa colla
Demens objicis.
Carmina Quinque Poetarum, p. 277.

[328] Первые слова посвящения гласят: "Cum tibi superioribus diebus Laurenti Medices, nostra hæc Miscellanea" *inter equitandum recitaremus*".

[329] *Эпистолярия Анджели Политиани*, библиотека iii. изд. Альд. 1498. Письмо датировано ноябрем 1488 года.

[330] В письме Иеронимусу Донату, датированном Флоренцией, май 1480 г., *Эпистола Анджели Политиани*, lib. ii.

[331] Хорошо известный скандал вокруг смерти Полициано связан с *логией* Паулюса Юпитера — очень подозрительного авторитета. См. выше, [стр. 252](#), [примечание 2](#).

[332] Наиболее любопытные из этих элегических стихотворений приведены в *Carmina Quinque Illustrium Poetarum*, стр. 234. Возможно, что их язык не следует понимать буквально, и что они скрывали шутку, ныне утраченную.

[333] Письмо Полициано Маттиасу Корвинусу - хороший пример его самовосхваления.

[334] "Полициано лежит в этой могиле, ангел, у которого была одна голова и, что новенького, три языка. Он умер 24 сентября 1494 года в возрасте 40 лет.

[335] "Посмотрите, на что он потратил имущество Церкви Божьей!" Веспасиано добавляет, что он подарил несколько сотен томов одному из кардиналов, чьи слуги продали их за старую песню. Весп. стр. 216. Ассемани, историк Ватиканской библиотеки, напротив, утверждает, что Каликст потратил на книги 40 000 дукатов. Однако маловероятно, что Веспасиано полностью заблуждался в вопросе, который он так хорошо понимал и так много принимал близко к сердцу.

[336] Смотрите Базельское издание его собрания сочинений, 1571 год.

[337] См. [Том I., Эпоха деспотов](#), стр. 299.

[338] [Том I., Эпоха деспотов](#), стр. 302-303.

[339] П.Л. своим родным и близким, приветствие. Того, о чем ты просишь, не может быть. Прощай.

[340] См. [Том I., Эпоха деспотов](#), стр. 220, примечание.

[341] Смотрите *Причину, по которой церковное правительство выступает против прелатства*, и *готовый и простой способ создать Свободное содружество*.

[342] Из мемориала, подаренного этими печатниками Сиксту IV. в 1472 году мы выясняем некоторые факты об их промышленности. На тот момент у них было напечатано всего 12 495 томов. У них было принято выпускать по 265 экземпляров каждого издания; вдвое больше для Вергилия, отдельных работ Цицерона и богословских книг по запросу. Cantù, *Lett. Это*. стр. 112. Подробнее о самых ранних латинских книгах см. Канту, стр. 110.

[343] См. выше, [стр. 220](#).

[344] Предполагается, что самая ранняя бумажная фабрика, основанная в Италии, находилась в Фабриано. Колле, маленький городок недалеко от Вольтерры, производил бумагу с незапамятных времен; согласно акту, датированному 6 марта 1377 года, который сейчас

хранится во Флорентийском дипломатическом архиве, некий Коло да Колле арендовал там водопад с водой *et gualcheriam ad faciendas cartas* на двадцать лет. Оба города до сих пор славятся своими бумажными фабриками.

[345] Сансовино в своей книге *"Иллюстрированная семья"*, приведя сказочную родословную семьи Пио, датирует их синьориальное значение правлением Фридриха II.

[346] Выполнен для церкви Кордельеров Павлом Понтием.

[347] Эпиграмму Полициано, адресованную этим самым ранним греческим печатникам, можно процитировать здесь:

Qui colis Aonidas, Grajos quoque volve libellos;
Namque illas genuit Græcia, non Latium.
En Paravisinus quantâ hos Dionysius arte
Imprimit, en quanto cernitis ingenio!
Te quoque, Demetri, ponto circumsona Crete
Tanti operis nobis edidit artificem.
Turce, quid insultas? tu Græca volumina perdis;
Hi pariunt: hydræ nunc age colla seca!

[348] См. Книгу Дидо *"Альде Мануке"*, стр. 417, отрывок, начинающийся с "Vix credas". В латинском предисловии к *Тезаурусу "Рог изобилия и Хорти Адонидис"*, 1495, Альдо жалуется, что в течение семи лет не мог отдохнуть ни часа.

[349] 'тот illico oborta должен помочь malorumque invidiâ Эт domesticorum καὶ ταῖς τῶν κатарάτων καὶ δοῦλων δραπετευόντων ἐπιβούλαις.' Предисловие к *Poetæ христанство Ветерес*, 1501. Again in the 'monitum' of the same, 'quater jam in ædibus nostris ab operariis et stipendiariis in me conspiratum et duce malorum omnium matre avaritiâ quos Deo adjuvante sic fregi ut valde omnes pœniteat suæ perfidiæ.'

[350] Особенно хлопотали французские издатели из Лиона, Джунти из Рима и Сончино из Фано. Дидо извлек любопытную информацию об их трюках, а также о том, как Альдо их раскрыл. Стр. 167, 482-486.

[351] Смотрите, в частности, предисловие к "Аристотелю", том i. 1495; том v. 1498.

[352] Смотрите Предисловие к *Тезаурусу Рога изобилия*, цитируемому Дидо, стр. 80; и ср. стр. 210, 221, 521, чтобы получить дополнительные намеки на эгоистичных библиоманов, которые пытались скрыть свои сокровища от публики и отказали в них прессе. Альдо, как искренний любитель бесплатного обучения, а также как издатель, терпеть не может этот класс людей.

[353] Смотрите трактат Панницци о "Франческо да Болонье", опубликованный Пикерингом в 1873 году. Вероятно, это была художница Франция.

[354] В письме Марчелло Вирджилио Адриани, учителю Макиавелли, он упоминает некоторые книги "Cum aliis quibusdam communes", в отличие от других, которые были его частной собственностью. Дидо, стр. 233.

[355] О предмете патентов, привилегий и монополий см. Didot, стр. 79, 166, 189, 371, 479-481.

[356] Μουσαῖον τὸν παλαιότατον ποιητὴν ἠθέλησα προοιμιάζειν τῷτε Ἀριστοτέλει καὶ τῶν σοφῶν τοῖς ἑτέροις αὐτίκα δι' ἐμοῦ ἐντυπησομένοις. Это πρόδρομος, или предшественник, появился без даты; но он, должно быть, вышел раньше 1494 года.

[357] Джон Ласкарис отредактировал четыре пьесы Еврипида для Алопы в 1496 году. Это альдинское издание содержало восемнадцать, одно из которых, "*Геркулес Фуренс*", появилось, когда том II был в печати. "*Электра*", обнаруженная позже, была напечатана в Риме в 1545 году.

[358] *Адажиу* были впервые напечатаны в 1500 году в Париже Джоном Филиппи. После Альдинского издания одиннадцать были выпущены между 1509 и 1520 годами Мэтью Шюрером, десять - Фробеном между 1513 и 1539 годами, в то время как семь или восемь других появились в различных частях Германии.

[359] Смотрите отрывок, цитируемый Дидо, стр. 297-299.

[360] Didot, стр. 147-151, 436-470, содержит множество подробностей, касающихся основания, конституции и членов Академии Альдин.

[361] Мы можем сравнить имя Меланхтона.

[362] Уроженец Ротино на Крите (р. 1470, ум. в Риме в 1517). Он так основательно овладел латынью, что Эразм писал о нем: "Latinæ linguæ usque ad miraculum doctus, quod vix uli Græco contigit præter Theodorum Gazam et Joannem Lascarem". Джон Ласкарис был его учителем.

[363] *Этимологикон Магнум*, 1499. С Дидотом, стр. 544-578, можно ознакомиться для получения информации об этом греческом издании. Мусурус хвалится в своих хвалебных стихах, что работа была выполнена полностью критянами. ἀναλώμασι Βλαστοῦπόνωκαὶ δεξιότητι Καλλιέρου in the colophon.

[364] По поводу этого Антонио между Ренуаром и Дидо есть некоторые расхождения.

[365] "Я считаю, что мои лучшие яички мне пригодны для жизни в комитетах, в порту айунт, дельфиниуме и якорю; нам и дедушке много чего нужно, и дамусу усердно". Предисловие к "*Астрономии*", посвященной герцогу Гвидобальдо Урбинскому, 1499 год. Замечания Эразма о девизе заслуживают внимательного прочтения. См. Дидо, стр. 299.

[366] Смотрите отрывки из его писем и предисловий, процитированные и упомянутые на [стр. 239](#) выше, [примечание 2](#).

[367] Перспектива его визита в Милан в 1509 году вызвала к жизни эти милые апрельские стихи Антиквари:—

Aldus venit en, Aldus ecce venit!
Nunc, O nunc, juvenes, ubique in urbe
Flores spargite. Vere namque primo
Aldus venit en, Aldus ecce venit.

[368] Смотрите выше, [стр. 275](#), о его ненависти к βιβλιόταφοι. Он был полной противоположностью Анри Этьену младшему, который закрыл свою библиотеку от своего зятя Кейсобона.

[369] Дидо, стр. 89, 299, 423.

[370] *Присциан*, Эрфурт, 1501; *Алфавит*, *Батрахомиамахия*, Мусий, Феокрит, Грамматика Хрисолора, *Труды и дни* Гесиода, Париж, 1507; Аристотель о *гадании по снам*, Краков, 1529; Лукиан, περὶ διψάδων, Оксфорд, 1521 г., являются одними из самых ранних греческих книг, напечатанных в Италии. Грамматики греческих гуманистов часто переиздавались в первой четверти XVI века в Германии.

[371]

Namque sub Œbaliaē memini me turribus altis
Qua niger humectat flaventia culta Galesus
Corycium vidisse senem.—Virg. *Георг.* lib. iv. 125.

[372] Из "изгнания" к трактату Валериано "О безупречном литературоведении".

[373] Лилиус Гиральдус в своем диалоге "О временном пребывании поэта", *Орр.* том ii, стр. 384, упоминает критика, который был настолько глуп, что *пожелал в Понтано и его месте в Сан-Назарии христиан выступить, как настоящий варвар!*

[374] См. [Том I., Эпоха деспотов](#), стр. 145.

[375] Он занимал этот пост при Юлии II.

[376] Первая греческая книга, напечатанная в Риме, издание Пиндара Корнелиуса Бенигния, 1515 год, выпущено издательством Киджи под руководством Захарии Каллиергоса с Крита. Об этом печатнике см. Didot, *Alde Manuce*, стр. 544-578.

[377] Эпитафия Белле Империи доказывает, что титул гетеры считался почетным: "Imperia, Cortisana Romana, quædigna tanto nomine, редкий среди homines formæ экземпляр dedit. Vixit a. xxvi. d. xii. Obiit MDXI., die XV. Август." На "*Капитолийскую сопру в Гарцоне*" Берни можно сослаться во второй половине предложения.

[378] См. Tiraboschi, vii. 1, lib. i. c. 2.

[379] См. [Том I., Эпоха деспотов](#), стр. 342.

[380] Написано в 1504 году. Впервые напечатано Альдо в 1505 году.

[381] "Де Гвидо Убальдо Феретрио, дек Элизабета Гонзага Урбини Дучибус".

[382]

Nam pol quâ proavusque avusque linguâ
Sunt olim meus et tuus loquuti,
Nostræ quâque loquuntur et sorores
Et matertera nunc et ipsa mater,
Nos nescire loqui magis pudendum est,

Qui Graiæ damus et damus Latinæ
Studi tempora duplicemque curam,
Quam Graiâ simul et simul Latinâ.
Hac uti ut valeas tibi videndum est,
Ne dum marmoreas remotâ in orâ
Sumtu construis et labore villas,
Domi te calamo tegas palustri.
Carmina Quinque Illustrum Poetarum, p. 25.

[383] Его самые известные эссе носили такие названия: "Об институтах освобождения" и "О философской опоре".

[384] Его *Комментарий к Римлянам* был помещен в Указатель.

[385] Как и История Гвиччардини, она начинается с 1494 года. Она перенесена в 1547 год. Часть первого десятилетия была утеряна при разграблении Рима и никогда не переписывалась автором. Напечатано во Флоренции в 1550 году.

[386] *Elogia Virorum literis illustrium, quotquot vel nostrâ, vel avorum memoriâ vixere, and Elogia Virorum bellicâ virtute illustrium*, Basel, 1557.

[387] *Римские писцы*, Рим, 1524 год. *Ragionamento sopra i Motti e Disegni d'Arme e d'Amore*.

[388] Названия его философских работ — "О божественной студии и философии человека", "О божественной любви", "Тщательный анализ доктрины, гентиума и истинной христианской дисциплины", "О повторном опыте"— показывают, насколько точно он следовал по стопам Джованни Пико.

[389] *Joannis Francisci Pici Mirandolæ et Concordiæ Comititis Oratio ad Leon X. et Concilium Lateranense de reformandis Ecclesiæ moribus*.

[390] Ингирами, назначенный библиотекарем в 1510 году, умер в 1516 году. Бериальдо занимал этот пост два года и умер в 1518 году. Аччиуоли занимал его всего несколько месяцев. Алеандр сменил его в 1519 году.

[391] 'Язык, верующий в каламо селебрем ... dictus sui seculi Cicero,' says Erasmus. "Изобильный красноречивый поток" - это фраза Валериано.

[392] См. Буркхардт, стр. 174. "Жизнь Льва X" Роско, том i, стр. 357.

[393] См. выше, стр. 86.

[394] Ср. Джовио, закрытие *Elogia*.

[395] *Andreas Fulvius Sabinus Antiquarius, Antiquitates Urbis Romæ*, 1527. *Bartholomæus Marlianus, Eques D. Petri, Urbis Romæ Topographia*, 1534. *Jacobus Mazochius, Epigrammata antiquæ urbis Romæ*, 1521. Иоганнис Пьерий Валериани "Иероглифика Священного Египта" и др., в его собрании сочинений, 1604 г.

[396] Архитектор из Вероны, который первым отредактировал Витрувия и был нанят Лоренцо Медичи для сбора надписей для него в Риме.

[397] См. выше, [стр. 111](#).

[398] Смотрите стихи Кастильоне.

[399] *Комментарий Терцо дель Гиберти к произведению Вазари Ле Моннье*, том i, стр. xi.-xiii. Я скорее перефразировал, чем перевел оригинал, который трогателен своей наивностью.

[400] См. [Том I., Эпоха деспотов](#), стр. 17.

[401] Смотрите книгу Росмини "*Витторино да Фельтре*", стр. 63, примечание.

[402] Смотрите *Комментарий Гиберти* в "*Вазари*" Ле Монье, том i, стр. xiv.

[403] Альбери, *церковь Венеции*, серия ii. том iii. стр. 114 и др.

[404] В кратком сообщении от 27 августа 1515 г.

[405] Можно заметить, что он называет здания с круглыми арками средневековья готическими; остроконечный стиль - немецким.

[406] Когда мы размышляем о божественности этих интеллектов старого мира ... когда мы видим труп этого благородного города, матери и королевы мира, столь жалко искалеченный ... сколько понтификов допустили разрушение и порчу древних храмов, статуй, арок и других зданий, прославлявших их основателей! Сколько людей пострадали от подрыва фундаментов просто ради добычи *пуццоланы*, в результате чего за короткое время сами здания провалились под землю! Сколько извести было сделано из статуй и других старинных украшений! Я бы без колебаний сказал, что весь этот новый Рим, который сейчас предстает взору, каким бы великим и прекрасным он ни был, украшенный дворцами, церквями и другими зданиями, был зацементирован известью, изготовленной из античного мрамора".

[407]

Tot proceres Romam, tam longa struxerat ætas,
Totque hostes et tot sæcula diruerant;
Nunc Romam in Româ quærit reperitque Raphael;
Quærere magni hominis, sed reperire Dei est.
Celio Calcagnini.

Quod lacerum corpus medicâ sanaverit arte,
Hippolytum Stygiis et revocarit aquis,
Ad Stygias ipse est raptus Epidaurius undas;
Sic pretium vitæ mors fuit artificii.
Tu quoque dum toto laniatam corpore Romam
Componis miro, Raphael, ingenio,
Atque urbis lacerum ferro, igne, armisque cadaver
Ad vitam antiquum jam revocasque decus,
Movisti Superum invidiam; indignataque mors est
Te dudum extinctis reddere posse animam,
Et quod longa dies paullatim aboleverat, hoc te

Mortali spretâ lege parare iterum.
Sic miser heu primâ cadis intercepte juventâ:
Debere et morti nostraque nosque mones.
Baldassare Castiglione.

[408] См. Бенвенуто Челлини, i. 31.

[409] Том I., *Эпоха деспотов*, Приложение V.

[410] Напечатано в Венеции, 1620.

[411] "Вопрос к Римлянам, особенно в послании к омниуму злодеяний и пудендаруму предосудительных действий". Цитируется Грегоровиусом, *Stadt Rom*, vol. viii. стр. 598, примечание 3.

[412] Ср. Филельфо, цитируемый в примечании к следующей главе, который говорит: "Тосканский язык едва ли известен всем итальянцам, в то время как латынь распространена повсюду по всему миру".

[413] В этой главе я намереваюсь использовать "*Delitiae Poetarum Italorum*", две части, разделенные на 4 тома., 1608; "*Carmina Quinque Illustrium Poetarum*", Бергоми, 1753; "*Избранные итальянские поэмы*", Охонии, 1808; и "*Избранные итальянские поэмы*", аккуранте А. Поуп, Лондини, 1740.

[414] Издание произведений Альберти Бонуччи, том i. Собственное предисловие Альберти в форме письма-посвящения Лионелло д'Эсте описывает, как он пришел к написанию этой комедии и как она была выдана современниками за оригинальную пьесу Лепида Комикуса. *Ib.* стр. cxxi.-cxxiii.

[415] Смотрите выше, [стр. 254](#), о цели, достигнутой *Сильвией*.

[416] "Людам - утешение, а богам - вечная радость".

[417] "Как с небес мы видим, как со всех сторон убегают звезды, когда восходит золотой факел бога солнца, и кажется, что уменьшившаяся луна меркнет; так и своим горящим светильником Меонид заслоняет почести более ранних бардов. Его одного, когда он воспевал божественные подвиги героев и со своей лирой устраивал жестокие войны, пораженный Аполлон признал равным себе. Рядом с ним или даже выше, но из—за почтения, обусловленного возрастом, Вергилий воспевает песнь оружия и героя—Вергилия, которому со священных полей и пастбищ пастухи Аскры и Сицилии с готовностью отдают свою власть ". -*Квинке Иллюстрированный поэт Кармина*, стр. 167.

[418] "Далеко в воздушных просторах и высоко над облаками парит Пиндар, диркейский лебедь, чей нежный рот вы, нежные пчелы, кормили нектаром, в то время как мальчик давал отдых усталым конечностям, которые дышали мягким сном. Но его высмеяла дева Танагры, когда сказала ему, что он растратил впустую все свои мифы из целого мешка; и когда он осмелился сразиться с ней в песне, она забрала пальму первенства победителя, торжествуя не только эоловыми настроениями, но и своей соблазнительной красотой. Своим могучим голосом, обученным в школе Агафокла, он воспевал короны Олимпии и гирлянды, которыми покрыты Перешеек и Дельфы, а также Немейские пустоши, ложно заявившие о рожденном

луной чудовище, украшают чело атлета. Затем, подобно бурному потоку, с переполняющей душу яростью он принялся прославлять силы и добродетели богов и героев и изливал благочестивые стенания по умершим. Феб, владыка Кирры, почтил его едой и питьем со своего алтаря и сделал своим гостем за собственным столом: пастухи тоже видели Пана в уединенных пещерах, очаровывающего леса пиндарической песней. Наконец, когда он состарился и лежал, уткнувшись шеей в грудь мальчика, которого любил, успокаивая свою душу во сне, Прозерпина, все еще держа его правой рукой, подошла и увела его прямо в тень, чтобы он побродил по ароматным лугам Элизиума. Более того: долгое время спустя пламя врага, превратившее Фивы с семьей воротами в руины повсюду, эти имена не осмеливались сжигать дом столь великого поэта; и его потомки, находясь в безопасности "среди тысячи мечей, узнали, что его прах все еще был молод благодаря славе, которая живет вечно". -Кармина, & с. с. 173.

[419] Девятая среди бардов-лириков, Эолийка Сафо присоединяется к команде; та, кто у текущей воды срывает розы Пиерии для безрассудной Любви, чтобы сплести венки для собственного чела; кто своей нежной лирой воспеваешь прелести прекрасной Кирины, и Мегары, и Аттиса, и сладкой Анактории, и Телезиппа с распущенными волосами. И ты тоже, Фаон, прекрасный в расцвете юности, на тебя она смотрит, тебя она снова зовет; такую силу тебе дала Венера за ее путешествие в твоей лодке, или же трава любви. И все же в конце концов, не проявив мудрой смелости, она прыгает в амбракийские волны". *Ib.* и др., стр. 175.

[420] "Эсхил, сраженный черепахой, упавшей с воздуха у него над головой, и тот, чей триумф, справедливо одержанный в старости, убил его от избытка радости, и тот, чье тело, растерзанное разъяренными псами, скрывает почтенная земля Пеллы". —Кармина, и с. стр. 176.

[421] *Ib.* стр. 177.

[422] "И все же в этом деле чести я не обманул бы крылатого Данте, который пролетел через ад, сквозь звездные небеса и поднялся на промежуточный холм чистилища под прекрасными бровями Беатриче; и Петрарку тоже, который снова рассказывает историю триумфа Купидона; или того, кто за десять дней написал сотню историй, и обнажает семена скрытой любви: от которой исходят неизмеримая слава и имя твое, благодаря уму и богатству вдвойне могущественная, Флоренция, мать великих сыновей!" -*Ib.* стр. 178.

[423] "То, что другие люди называют учебой и тяжким трудом, для тебя будет времяпрепровождением; утомленный государственными делами, ты прибегаешь к этому и обращаешь силу своих истощенных сил к песне: благословен в своих умственных способностях, благословен в том, что можешь таким образом играть так много ролей, варьировать таким образом великие заботы твоего всевышнего". охватывающий разум и объединяющий так много разных обязанностей в одну". -Кармина и др., стр. 179.

[424] "Диалог о временной ноздре поэта". Указ. том ii. стр. 388. Базельское издание 1580 года.

[425] "Размышляя на подобные темы, я проводил часы досуга в гротах Фьезоле, на вилле Медичи, откуда святой холм смотрит вниз на меонский город и обозревает изгибы далекого Арно. Там добрый Лоренцо дает своим друзьям счастливый дом и отдых от забот; Лоренцо, не последний в славном отряде Феба; Лоренцо, надежный якорь бури Муз. Если только он дарует мне большее облегчение, вдохновение более могущественного бога возвысит мою душу; и не

только высокие леса и горные скалы отзовутся от моих слов; но ты — такую веру имею я — ты тоже когда-нибудь услышишь, моя добрая кормилица, и, может быть, не пренебрежешь моей песней, ты, Флоренция, мать имперских бардов, и ученое красноречие на трех великих языках принесут мне славу". *Кармина*, и с. с. 196.

[426] Нет, но вечно живет творчество нашего поэта, пребывает и уходит в века с опозданием. До тех пор, пока на безмолвном небосводе будут сиять звезды; до тех пор, пока день восходит из выжженной солнцем Индии; до тех пор, пока Фосфор бежит перед колесами света; до тех пор, пока мрачная зима сменяется весной, а лето - осенью; пока дыхание океана сменяется приливами и отливами, а смешанные элементы принимают свои меняющиеся формы — до тех пор, пока вечно будет сохраняться слава великого Маро, ибо вечно будут течь эти реки из его неисчерпаемого источника, ибо вечно из этих ручейков будут черпаться знания, ибо вечно на этих лугах будут расти их благоухающие цветы. , чтобы пасти священных пчел и дарить юным Грациям гирлянды для их волос". — *Кармина* и др., стр. 207.

[427] Ужин закончился; Орфей разбудил лиру и спел мелодию, соответствующую мелодии, которую он играет. Люди замолчали; ветры стихли; реки сдержали свои воды, чтобы послушать; птицы неподвижно повисли в воздухе; и дикие звери успокоились. Со скал стекают дубы, прислушиваясь, и вершина Пелиона кивает своей бесплодной головой. И вот теперь бард успокоил весь мир песней своей матери; когда он перестал петь и отложил трепещущую лиру. Этот смелый Ахилл хватает; он пробегает пальцами по струнам и восхищает необученного петь, простого мальчика. Какова была его тема? вы спросите. Он восхвалял пение нежного гостя, могучий рокот этой божественной лиры. Миньи засмеялись; но все же, как гласит сказка, даже слишком сладостным, Орфей, было почтение мальчика к тебе. Точно так же мое восхваление имени могущественного Маро, если вера не сон, доставляет радость самому Маро". — *Кармина*, & с. р. 197.

[428] Поэтому мы также с радостным почтением посвящаем ему эту гирлянду, сплетенную из цветов Пиерии, которую Амбра, прекраснейшая из нимф Кахано, подарила мне, собранную с лугов на берегах ее отца; Амбра, любовь моего Лоренцо, которого породил Умбронне, рогатый поток — Умбронне, дорожке всего своему хозяину Арно, Умбронне, который отныне никогда больше не разорит свои банки". — *Кармина*, & с. с. 224.

[429] Ср. Ювенал, *Сатира*, i. 9-14; vii. 81-87. Персий, *Сатира*, i. 79-82. И ср. Петронию Арбитру за подробное описание этих римских цитат.

[430] *Кармина* Квинкеи др. стр. 250, 272, 276.

[431] Эпитафии Джотто, Липпо Липпи, прекрасной Симонетте и другим ценны только из-за их исторического интереса, такого, как этот.

[432] Я процитирую из его *Собрания стихотворений*, Альдус, 1513.

[433] Смотрите Элегию Санназаро о сочинениях Понтана, *Избранные поэмы*, стр. 1-4, и "*Сифилис* Фракасторо", ib. стр. 72.

[434] *Итальянский поэт*, часть ii. стр. 668-712. Примеры также можно прочитать в *Избранных итальянских поэмах*, стр. 1-24.

[435] Смотрите, например, "Сказание о Гиласе", lib. v. стр. 103; "сказание о Коле Пеше", lib. iv. стр. 79; "совет богов", lib. i. стр. 18; "планета Венера", lib. i. стр. 5.

[436] Lib. v. стр. 105-108. "Для тебя я увесил дом венками; и твои сестры-близнецы разлили сирийские благовония в брачных покоях. Зачем ты оставил наши гирлянды и благовония? Дни без света, ночи без звезды, долгие бессонные ночи.

[437] "Сама Слава, восседающая у моей могилы в золотых одеждах, с могучими устами, могучим голосом, с могучими крыльями, распространит среди людей мои имена могучим звуком хвалы и пронесет сквозь века мои титулы, и с моей славой зазвучат аплодисменты небес; прославленный в вечные века Юпитер будет жить".

[438] "Лилий Гиральдус", loc. cit. стр. 384, пишет об этом эпосе "в quibus, ut sic dicam, statarius poeta videri potest. Non enim verborum volubilitate fertur, sed limatius quoddam scribendi genus consecatur, et limâ indies atterit, ut de illo non ineleganter dictum illud Apellis de Protogene Pontanus usurpare solitus esset, eum manum de tabulâ tollere nescire."

[439] См. "Итальянский поэт", вторая часть, стр. 713-761. Отмечается следующее двустишие, посвященное смерти Чезаре Борджиа:—

Aut nihil aut Cæsar vult dici Borgia; quidni?
Cum simul et Cæsar possit et esse nihil.

[440] "Когда Нептун узрел Венецию, расположенную в водах Адриатики и дающую законы всему океану, "Теперь насмехайся надо мной, Юпитер, Тарпейской скалой и этими стенами твоего сына Марса!" - воскликнул он. "Если ты предпочитаешь Тибр морю, посмотри на оба города; ты скажешь, что один был построен людьми, другой - богами".

[441] См. выше, [стр. 288](#).

[442] *Bombycum; Libri duo. Scacchia, Ludus; Liber unus*. Папская итальянская поэма, том i. стр. 103-130; стр. 190-210. Первое стихотворение адресовано Изабелле Гонзага, урожденной д'Эсте.

[443] *Избранные поэмы*, стр. 207-266. Следует помнить, что Франциск I после Павии отдал двух своих сыновей в заложники Карлу V.

[444] "Ты, Фрэнсис, первый, кто откликнулся на мой призыв. Не презирай священных Муз, отпрысков царского рода, к которым перейдет скипетр королей Галлии в должное время зрелости. Их нежность даже сейчас принесет тебе некоторое утешение, изгнанным из дома и отчизны по воле судьбы на испанском берегу, тебе и твоему брату Генри. Так распорядилась судьба твоего великодушного отца, обреченного бороться с неравной судьбой. Но побереги свои слезы: возможно, суровая судьба смягчится, и, наконец, наступит день высшей радости, когда после твоего печального изгнания, вновь отданного твоему народу, ты увидишь радость своей страны и услышишь крики всех ее городов и звонкие песни счастья, а матери исполнят свои обеты в честь твоего возвращения. Тем временем позволь девам Пиерии сопровождать тебя; и, взяв меня в проводники, поднимись в рощи высокого Парнаса".

[445]

tibi digna supellex

Verborum rerumque paranda est, proque videnda
Instant multa prius, quorum vatū indiget usus.
Poemata Selecta, p. 209.

[446] После упоминания о славе Вергилия Вайда добавляет:—

Sperare nefas sit vatibus ultra.
Nulla mora, ex illo in pejus ruere omnia visa,
Degenerare animi, atque retro res lapsa referri.
Hic namque ingenio confisus posthabet artem;
Ille fuit strepitu, tenditque æquare tubarum
Voce sonos, versusque tonat sine more per omnes;
Dant alii cantus vacuos, et inania verba
Incassum, solâ capti dulcedine vocis.

Избранная поэма, стр. 213. Ср. совет (стр. 214) не следовать никому, кроме Вергилия: —

Ergo ipsum ante alios animo venerare Maronem,
Atque unum sequere, utque potes, vestigia serva.

[447]

Dona deûm Musæ: vulgus procul este profanum.

Избранные поэмы, стр. 224; и снова, *ib.* стр. 226:—

Tu Jovis ambrosiis das nos accumbere mensis;
Tu nos diis æquas superis, &c.

[448] Вы, коренные боги Рима! и ты, Аполлон, основатель Трои! тот, кто вознес нашу расу на небеса! пусть, по крайней мере, эта слава не будет отнята у детей Лация: пусть Италия вечно удерживает высоты искусства и учености, а прекраснейший Рим наставляет народы; пусть все успехи в военном деле будут утрачены, настолько велик разлад между итальянскими князьями. Да, друг против друга мы обнажаем окровавленные мечи и не испытываем никакого стыда, призывая чужеземных тиранов на нашу собственную землю". — *Избранные поэмы*, стр. 245.

[449] "Приветствую тебя, свет Италии, ярчайший из бардов!" Тебе мы поклоняемся, тебе мы поклоняемся венками, ладаном, алтарями; тебе, как велит долг, вечно будем мы петь наши святыне гимны. Приветствуй, посвященный бард! Хвала не увеличивает твою славу, и она не нуждается в нашем голосе. Будь рядом и посмотри на своих приверженцев; приди, отец, и всели свой пыл в наши целомудренные сердца и посели себя в наших душах". — *Избранные поэмы*, стр. 266.

[450] См. *Том I., Эпоха деспотов*, стр. 433, примечание.

[451]

quoniam in primis ostendere multos

Possumus, attactu qui nullius hanc tamen ipsam
Sponte suâ sentire luem, primique tulere.
Poemata Selecta, p. 67.

[452]

Quumque animadvertas, tam vastæ semina labis
Esse nec in terræ gremio, nec in æquore posse,
Haud dubie tecum statuas reputesque necesse est,
Principium sedemque mali consistere in ipso
Aëre, qui terras circum diffunditur omnes.
Ibid. p. 69.

[453] Там же. стр. 79, 80.

[454] Там же. стр. 95, 96.

[455] Эти фразы он находит для охотничьего ружья:-

Cava terrificis horrentia bombis
Aera, et flammiferum tormenta imitantia fulmen.
Poemata Selecta, p. 101.

[456] Ср. отрывок о путешествиях Алессандро Фарнезе—

Matre deâ comitante et iter monstrante nepoti—

и реформация в Германии. *Poemata Selecta*, p. 125. Вся идиллия, обращенная к Юлию III, *ib.* стр. 130-135, невообразимо груба.

[457] Кармина Квинке *Иллюстрированный поэт*, стр. 4 и 9-11.

[458] *Ib.* стр. 18-23.

[459] Кармина Квинке *Иллюстрированный поэт*, стр. 7.

[460] *Ib.* стр. 23.

[461]

Ничего из этого он не пробовал; а только подбежал,
И обхватил разгневанного мужчину своими нежными руками;
Повис у него на шее, осыпал поцелуями, которым Небеса
позавидовали, эти алые губы дарованы смертным;
Их было столько, сколько спелых колосьев румяной кукурузы,
Или цветов, рожденных дыханием апреля.
Все еще сомневаешься, Максимус? Поменяйся со мной местом:
Я бы с радостью вынес такую неверность.

[462] Кармина Квинке *Иллюстрированный поэт*, стр. 26-34.

[463] *Ib.* стр. 38.

[464] "Когда Лоренцо был мертв, и Смерть с триумфом пронеслась мимо, влекомая своими черными конями, ее взгляд упал на того, кто безумно бил по аккордам, в то время как вздохи сотрясали его грудь. Она повернулась и остановила машину; он бушует и взывает ко всем богам за Лоренцо, смешивая слезы с молитвами, а печаль - со своими слезами, в то время как печаль наводит на мысль о более дикой свободе. Смерть рассмеялась; вспомнив свою старую обиду, когда Орфей отправился в ад, она воскликнула: "Смотрите, он тоже стремится отменить наши законы и посягает на мои права!" Больше никаких проволочек; она ударила поэта, когда он плакал, и порвала струны его сердца посреди вздоха. Увы! так был ты отнят у нас, плененный суровой судьбой, Политиан, мастер итальянской лиры!"

[465] Обратите особое внимание на "Thyrsidis vota Veneri", "Приглашение к любовному источнику", "Левкиппемским друзьям, приглашающим к себе", "Вота Венери у любимого человека" и "In Almonem".—*Карминаи др.* стр. 52, 53, 54, 55.

[466] Паоло Джовио обратил на это внимание; в своей *Элогии* он пишет: "*Эпиграммата без ложных остроумных выводов, написанная тенером иллом и прадульци приском, учтивым клаудебатом.*"

[467] "Могущественная мать, ты, создающая все сущее, чтобы дышать жидким воздухом, сияющая в своем расписном одеянии из разнообразных зарождающихся жизней, ты, кто из своей изобильной груди дает пищу деревьям и прорастающим травам во всех регионах земли, возьми к себе теряющего сознание мальчика, лелей его умирающие конечности и сделай так, чтобы он жил вечно с твоей помощью. Да, он будет жить; и эта его белая прелесть каждый год с возвращением весны будет расцветать снежным цветком". — *Карминаи др.*, стр. 57.

[468] "Ad Gelliam rusticantem", *Кармина*, и с. стр. 64-66. "Иолы", *ib.* стр. 66-68.

[469] "Приветствую тебя, любимец богов, ты самое счастливое место на земле! приветствую избранное пристанище королевы красоты! Какую радость я испытываю, снова видя вас такой и ступая по вашим берегам после стольких трудов, перенесенных разумом и душой! Как из моего сердца твоим безвозмездным подарком я выбрасываю все тревожные заботы!" — *Карминаи др.*, стр. 84.

[470] Смотрите Двусложные тексты Иоганна Маттеуса, *Карминаи др.*, стр. 86.

[471] Базилиус Занхиус, *Кармина*, и с. стр. 85.

[472] М. Антоний Фламиниус, *ib.* стр. 85.

[473] *Избранные стихи*, стр. 203-206. С ней можно сравнить элегию, написанную Янусом Этруском, "Поуповские *итальянские поэмы*", том ii. стр. 25, на аналогичную тему, хотя и сильно уступающую Молсе.

[474] "Я не прошу памятника из кованого мрамора, провозглашающего мои титулы: пусть эти кости будут в вазе из обожженной глины. Пусть земля, тишайшее из мест упокоения, примет их к себе и спасет от посягательств хищных волков. И пусть бегущий ручей делит свои воды вокруг моей могилы, влекомый звуками музыки со склона горы. Маленькой таблички, вырезанной простыми буквами, будет достаточно, чтобы отметить это место и сохранить мое имя: "Здесь лежит Молса, убитый до своего дня изнурительной болезнью: трижды посыпь его пылью и иди своей дорогой, кроткий пастырь". Может быть, через много лет я превращусь в податливую

глину, и моя могила украсится цветами; или, что еще лучше, из моих ветвей вырастет белый тополь, и в его прекрасной листве я поднимусь к небесному свету. Я надеюсь, что в это место придет какая-нибудь прелестная девушка в сопровождении хозяина стада; и она будет танцевать над моими костями и двигать ногами в такт ритмичной музыке".

[475] На фотографию девушки, танцующей на могиле возлюбленного, ср. Омар Хайям. Ср. также метафору травы Уолта Уитмена — "прекрасные нестриженные волосы могил".

[476] "Алкон, любимец Феба и Муз; Алкон, часть моей собственной души; Алкон, величайшая часть моего собственного сердца". — *Кармина Квинке Поэтарум*, стр. 89.

[477] 'Увы! бедный юноша, уведенный от нас злой судьбой. Никогда больше я не увижу тебя, пока пастухи стоят вокруг, выигрывая призы твоими летящими стрелами или копьями, или борясь за корону; никогда больше, когда ты лежишь в тени, я весь летний день буду избегать солнца. Твоя свирель больше не будет успокаивать соседние холмы, долины не будут повторять твои искусные песни. Больше не будет твоей Ликорис, чье имя, начертанное тобою, помнят леса, и моя Галатея услышит, как мы оба воспеваем нашу любовь. Ибо до сих пор мы, как братья, жили своей жизнью с младенчества: мы переносили жару и холод, дни и ночи; наши стада росли в совместном труде и заботе. Эти мои поля были и твоими: мы жили одной общей жизнью. Почему же тогда, когда ты должен умереть, я все еще остаюсь жить? Увы! в недобрый час гнев Небес отозвал меня с моей родной земли и не позволил мне закрыть твои веки руками друга!" — *Карминаи др.*, стр. 91.

[478] *Ib.* стр. 100.

[479] "Отвратительны их лица, их оскаленный рот, их угрожающие глаза, а их грубые конечности покрыты жесткой змеиной чешуей; их борода длинная и широкая, нечесаная, заросшая морскими водорослями и зеленой тиной, а их темные волосы сильно пахнут морской водой". -*Ib.* стр. 103.

[480] "Де Элизабетта Гонзага каненте", *Кармина*, и т.п. стр. 97. Ср. "Ad Lucretiam Borgiam" Бембо, *ib.* стр. 14, на аналогичную тему.

[481] *Ib.* стр. 95.

[482] "О отец, о пастырь народов, о великий владыка мира, правящий всем человеческим родом, податель справедливости, мира и безмятежного покоя; ты, кому одному вверена жизнь и спасение людей, кого Сам Бог сделал владыкой ада и небес, чтобы каждое царство могло открыться по твоему кивку".

[483] "Я не виню тебя за то, что ты откладываешь свое возвращение, поскольку человеку небезопасно и нехорошо пренебрегать Божьим повелением; и все же, говорят, доброта Льва так велика, что он с готовностью прислушивается к человеческим молитвам". — *Ib.* стр. 102.

[484] "Поэтому все наши пастухи будут воздавать тебе божественные почести, как Пану или Фебусу, в установленные дни, великий Отец; и долго ты будешь прославляться в наших лесах. Твою хвалу, Юлий Великий, будут повторять утесы, скалы, полые долины и лесное эхо. Где бы в наших рощах ни рос дуб, когда весна и лето приносят цветы, его ветви будут увешаны венками, на его стволе будет начертано твое благоприятное имя. Всякий раз, когда наши пастухи уводят стада в поле или приводят их с пастбища домой, каждый из них, помня, что он делает это под

твоей защитой, должен возливать тебе парное молоко и выращивать тебе нежных ягнят для жертвоприношения. Нет, если ты не отвергнешь деревенских молитв, то перед всеми богами мы призовем тебя в наших мольбах. Я сам построю и посвящу тебе два алтаря и посажу для тебя две рощи священного дуба и вечнозеленого лавра". — *Карминаи* др. стр. 58, 59.

[485] "Ты, кому повинуются Рим, и царственный Тибр, обладающий на земле властью Громовержца, чья задача — запирать и отворять врата рая". — *Ib.* стр. 260.

[486] "На этой горе Господней будут пасти стада, тучные от вечных пастбищ и златорунные. Изолются и живые воды, от которых у коз набухнет вымя, а заодно и у коров". — *Избранные поэмы*, стр. 132.

[487] "Его бессмертными стихами поэты вознесут до небес и назовут героем, богом и спасителем". — *Ib.* стр. 133.

[488] См. выше, стр. 312, 317.

[489] См. *Carmina Quinque Poetarum*, стр. 318-336.

[490] Дидактическая поэма в трех книгах; Папская *итальянская поэма*, том i. стр. 211-270. Описание Воскресения, Страшного суда и входа блаженных в Рай, составляющее завершение последней книги, является превосходным образцом *стиля барокко* и пафоса. Вергилий писал: "*Ite domum pasti, si quis pudor, ite juvenci!*" Палеарио заставляет Судью обращаться к проклятым душам так: "*Ite domum in tristem, si quis pudor, ite ruentes*" и т. Д. Насколько близок был путь Мильтона к худшим ошибкам в поэзии и как чудесно он избежал их, можно легко вычислить, изучив такие стихи, как этот.

[491] Эта эпиграмма на Савонаролу демонстрирует симпатии Фламинио к проповедникам чистого учения:—

Dum fera flamma tuos, Hieronyme, pascitur artus,
Relligio, sacras dilaniata comas,
Flevit, et o, dixit, crudeles parcite flammæ,
Parcite, sunt isto viscera nostra rogo.

[492] "Ad Agellum suum".—*Избранные поэмы*, стр. 155, 156, 177.

[493] "Теперь я увижу тебя еще раз; теперь я буду иметь радость смотреть на деревья, посаженные моим отцом, и погружаться в нежный сон в своей маленькой комнате".

[494] "Девушки Геликона, которые любят фонтаны и прекрасные поля, поскольку вы для меня дороже светлого света, сжальтесь теперь над своим просителем, заберите меня из суматохи шумного города и поселите на моей тихой ферме".

[495] "Я, бедняга, нахожусь в заключении в шумном городе. Добрый Юпитер позволяет вам, уединившись на вашей далекой ферме, наслаждаться радостями покоя среди сократических книг, среди нимф и сатиров, не обращая внимания на легкие почести вульгарной толпы". — "Ad Honoratam Fascitellum", *Избранные поэмы*, стр. 178.

[496] *Избранные поэмы*, стр. 153, 169, 173.

[497] "Затем, когда сон опустится на твои глаза, мой лучший друг, я отведу тебя в пещеру, увитую желтыми гроздьями блуждающего плюща, под которыми шелестят своими нежно колышущимися листьями лавровый лист. Не бойтесь лихорадки или тупой головной боли. Место безопасное. Поэтому, когда вы отдохнете, мы прочитаем деревенские песни Вергилия или Феокрита; более милых и очаровательных стихов я не знаю; а когда дневная жара спадет, мы прогуляемся по какой-нибудь зеленой долине. За этим последует легкий ужин, а затем вы вернетесь в город". — *ib.* стр. 174.

[498] 'Ad Christophorum Longolium', *ib.*

[499] *Избранные поэмы*, стр. 163.

[500] "Как только я покинул отравленный воздух Рима ради чистых ручьев и целебных лесов моей родной земли, силы вернулись в мои истощенные члены; мое тело утратило бледность и истощенность болезни, и сладкий сон напал на мои бодрствующие глаза, какого раньше не вызывали ни капли воды, падающие со звоном, ни маки Леты".

[501] *Избранные поэмы*, стр. 162.

[502] Платон, величайший из мудрецов, однажды описал в своих длинных томах наилучшую форму государства; но такого от начала мира до наших дней никто еще не видел и впоследствии не увидит ни в одном городе. Контарини в своей небольшой книге доказал, что лучшее содружество — это то, которое вот уже более тысячи лет процветает в Адриатическом море благодаря миру, литературе и богатству". - *Избранные поэмы*, стр. 162.

[503] "Ad Hieronymum Turrianum", *ib.* стр. 168. "Ее ум был чист, ее манеры безупречны; ее добродетель жива, в ее вежливости не было ни капли земного; ее интеллект был неземным, ее ученость редкой; ее слова слаще нектара; ее благородство в высшей степени; ее черты лица прекрасны в своем величии; ее богатство щедро доступно хорошим людям".

[504] "Хорошо и счастливо жил ты, отец мой; ни беден, ни богат; достаточно образован и красноречив; крепок телом и здоров духом; приятен своим друзьям и в своем благочестии не имеет себе равных. Теперь, после завершения шестнадцати люстр, ты отправляешься в обители благословенных. Иди, отец, и поскорее поприветствуй своего сына, чтобы он пребывал с тобой на высоком небесном престоле". — "Ad Patrem morientem", *Избранная поэма*, стр. 157.

[505] *Избранные стихи*, стр. 166. "Я представляю вам этих самых изящных поэтов, отпрысков наших слишком, слишком счастливых времен, которые произвели на свет своего Катулла и своего Горация, своего Тибулла и своего Маро. Кто бы мог подумать, что после стольких веков такой тьмы и всех тех разрушений, которые обрушились на Италию, столько огней могло возникнуть в одну эпоху в одном маленьком районе земли над рекой По? Их одних достаточно, чтобы рассеять мрак варварства и восстановить его античную славу и собственное великолепие латинской литературы". После этого он добавляет, что эти поэты придадут Италии вечный блеск. Не только северные народы Европы, но и Америка начали изучать латынь; и народы другого полушария почерпнут свою культуру с этих страниц. Кардиналу наконец напоминают, что в их восхвалениях его ждет бессмертие славы.

[506] "Там бреви Транспаданского региона".

[507] Ср. *Benacus* Бембо, *Gazani Vici Descriptio* Бонфадио, *Ad Franciscum Turrianum Veronensem Фракасторои* др.

[508] "Грек эзуриентес". Жизнеописания, написанные Филостратом.

[509] Аристофан., *Облака*, *Речи Логоса Дикая*; Хен., *Об охоте*, глава. xiii.

[510] *Литературная прогимназия противника. Полное собрание сочинений*, Базель, 1582, том ii.

[511] 'Pudet me, Pice, pigetque id de literatis afferre quod omnium tamen est in ore, nullos esse cum omnium vitiorum etiam nefandissimorum genere inquinatos magis, tum iis præcipue, quæ præter naturam dicuntur,' &c.—*Progymnasma adversus Literatos*, p. 431.

[512] Строки 22-129.

[513] *Квинкт Иллюстрированного поэта Лусуса в Венеции*, Париж, 1791, стр. 107.

[514] См. Выше, [стр. 185](#), [примечание 4](#).

[515] См. Выше, [глава II](#).

[516] "Совершенный нос, императорский нос, божественный нос, нос, который будет благословен среди всех носов; и да будет благословенна грудь, которая сделала тебя с таким величественным носом, и да будет благословенно все, к чему ты прикладываешь свой нос!" Приведенное выше цитируется из *Истории итальянской литературы Канту*. Я не видел настоящего адреса.

[517] Фраза восхвалительно использована Ф. Виллани в его *Жизни Колуччо Салютато*.

[518] См. Muratori, vol. xx. 442, 453.

[519] *Сообщение. Rer. Senil.* xv. 1. 'Styli hujus per Italiam non auctor quidem, sed instaurator ipse mihi videor, quo cum uti inciperem, adolescens a coætaneis irridebar, qui in hoc ipso certatim me postea sunt secuti.'

[520] См. Выше, [стр. 76-78](#).

[521] Джан Мария Филельфо, сын знаменитого профессора, опубликовал *Эпистолярный* такого рода.

[522] Франческо Филельфо, цитируемый в книге "Жизнь Росмини", том ii. стр. 304, 282, 448, пишет: "Никто не должен копировать, никто не должен копировать всю гроссолану". "Nos autem scribendi more utimur in rebus quarum memoriam nolumus transferre ad posteros". . Et ethrusca quidem lingua vix toti Italia nota est, на латиноамериканской оратории, продолжающейся до конца в соответствии с *universum orbem est diffusa*". ("То, что я не хочу копировать, я всегда списываю в вульгарном виде. Этот стиль я использую для таких вещей, которые не хочу передавать потомкам. Тосканский, конечно, едва ли известен всем итальянцам, в то время как латынь широко распространена по всему миру".)

[523] См. Фойгт, стр. 421, 422, чтобы ознакомиться с письмами Филельфо, Траверсари, Барбаро и Бруни.

[524] См. Том I., *Эпоха деспотов*, стр. 216, 217 и выше, стр. 377.

[525] См. выше, стр. 321.

[526] Смотрите отрывки, цитируемые Тирабоски, том vi. библиотека. iii. глава. v. 71.

Список ошибок Переписчика

Страница 8: "Лионарди" должно быть "Лионардо".

Страница 97: "или дверь или ключ", вероятно, должно быть "дверью или ключом".

Страница 295: "общие положения", вероятно, должны быть "поколениями".

Сноска 22: после "найдено" следует "в".